

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕЛА

3/2017

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 3/2017

**Нью-Йорк
2017**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2017 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call 917-922-4153 и 646 -270-9615
or send an email to lbm28w@aol.com и guydmf@yahoo.com

All rights reserved

ISBN: 978-1547215683

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Ирина БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
Марк ВЕЙЦМАН	(Израиль)
Геннадий КАЦОВ	(США)
Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
Семен РЕЗНИК	(США)
Михаил РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
Евсей ЦЕЙТЛИН	(США)
Ларс ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
Эллайда ТРУБЕЦКАЯ	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Страна, принесенная в жертву революции7

ПРОЗА

АНДРЕЙ ОБОЛЕНСКИЙ

Комната смеха10

ЕКАТЕРИНА САЛМАНОВА

Мисс Вудкок идет ва-банк39

ЛЕОН МИХЛИН

Перевоплощение66

ГЕОРГИЙ ДЕМИДОВ

«И случилось не только со мной...»92

ЮРИЙ ОКУНЕВ

В немилости у природы108

ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР БАТШЕВ79

ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ123

ГАЛИНА КЛИМОВА195

ЛИЧНОСТИ

ЮРИЙ СОЛОДКИН Памяти Иона Дегена.	131
---	-----

СТРАНИЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВИКТОР НОРД Символ Бродвея Дэвид Меррик	136
--	-----

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЛИАНА АЛАВЕРДОВА Разговор тридцать лет спустя	149
--	-----

БЫЛОЕ И ДУМЫ

ВЛАДИМИР ФРУМКИН Придворные музы.	170
---	-----

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ЭМИЛЬ ДРЕЙЦЕР Маленькая железная дверь в стене.	202
---	-----

ИМЕНА В ИСКУССТВЕ

ЛЕОНИД ГОЛЬДИН Слава и Слава.	218
---------------------------------------	-----

ПЕРЕВОДЫ

АЛЬДО НИКОЛАИ Монологи	233
---------------------------------	-----

СМЕЯТЬСЯ, ПРАВО, НЕ ГРЕШНО...

НАТАЛЬЯ РЕЗНИК

Одностишия, многостишия и проза267

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.....277

Слово к читателям

СТРАНА, ПРИНЕСЕННАЯ В ЖЕРТВУ РЕВОЛЮЦИИ

Некоторые круглые даты вызывают радость и гордость, некоторые – ужас и отторжение. Близящееся столетие Октябрьской революции в России относится ко второй категории.

Трудно перечислить все беды, несчастья и трагедии, выпавшие на долю страны, где власть узурпировали большевики. Надежды и чаяния поверивших в кардинальные перемены к лучшему были развеемы и пущены по ветру.

Почему же так легко удалось обмануть, оболванить народ, купить фальшивыми лозунгами и посулами? К слову сказать, большевиков в пору Октябрьского переворота было в три раза меньше, чем эсеров.

Ответ напрашивается. Он, скажем, в откровении пророка Иеремии – читайте Библию. «Между народом Моим находятся нечестивые, сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. И народ Мой любит это. Слушай, земля: вот Я приведу на народ сей пагубу, плод помыслов их». *Плод помыслов их.*

А вот Бунин, «Окаянные дни». «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой...» Как любил рычать это Горький! А и сон-то весь только в том, чтобы проломить голову фабриканту, вывернуть его карманы и стать стервой еще худшей, чем этот фабрикант».

Бердяев писал: «Революция... всегда болезненное и тяжелое, вызванное накоплением старого зла. Когда у какого-нибудь человека лопается гнойный нарыв, то странно было бы признать это явление самым светлым и божественным в человеке, подменить самого человека этим моментом развития болезненного в нем процесса. Но у нас именно это и происходит в отношении к революции, которая есть лишь вскрытие гнойного нарыва... Прежде Россия подменялась династией, которой она приносилась в жертву; теперь Россия под-

меняется революцией, которой она также приносится в жертву... Мы уже находимся в самом страшном рабстве у лжи. Неисчислимым количеством лжи отравлено сознание народа, сердце простых, темных людей, малых сих, и затуманен ум их... Демагогия есть ложь, возведенная в принцип, в руководящее начало жизни. Демагог считает дозволенной всякую ложь для достижения своих целей, для соблазнения масс...»

Последствия революции обошлись России во многие десятки миллионов погубленных жизней. Жизней народа, принявшего большевизм, не отринувшего, не уничтожившего, как *пагубу*. Гражданская война, коллективизация, Голодомор, Большой террор, война, в развязывании которой вина Сталина не меньше, чем Гитлера, мрачные послевоенные годы с редкими «оттепелями», быстро превращавшимися в мороз... Связанные с перестройкой надежды, вновь не оправдавшиеся, ельцинский период робкого либерализма – и пришедший на смену путинизм со всеми отвратительными чертами: тотальной ложью, имперской отрыжкой, агрессивностью, превращением телевидения в пропагандистские войска, зомбированием населения...

...Существует расхожее мнение, укрепляемое писателями и историками-юдофобами, что революцию устроили евреи. Тема эта слишком обширная, чтобы осветить ее несколькими фразами. Да это и не цель нашего обращения к читателям. Тем не менее, напомним факт: 90% еврейской элиты восприняли большевистский переворот как катастрофу и активно выступили против него... Из 15 ораторов, выступивших на первом и единственном заседании Учредительного собрания против большевиков, 14 были евреями. Неравноправное положение евреев в царской России неизбежно толкало определенную их часть в ряды революционеров; наряду с ожидаемым равенством, столь же неизбежно Октябрь должен был принести российскому еврейству неисчислимые бедствия. Это был тупик, понимание этого пришло, к сожалению, слишком поздно.

Этот номер журнала «Времена» в определенной степени посвящен 100-летию *общероссийской трагедии* – иначе не назовешь. Трагедии тем более отчетливой, если принять во внимание отношение нынешнего поколения к вурдалаку, пролившему море крови. Одо-

брение Сталина достигло исторического максимума за 16 путинских лет, следует из данных социологов Левада-центра. Ему симпатизируют 46 процентов опрошенных. Лишь 21 процент относится к нему с «неприятностью», «страхом», «отвращением», «ненавистью».

Поистине, если имеется подходящий народ, можно сделаться вождем народа...

Это относится и к нынешнему властителю. Для Путина величайшая геополитическая катастрофа века – распад Советского Союза. Про революцию и ее чудовищные последствия он как-то позабыл...

Но вернемся к этому номеру журнала. Несколько художественных и публицистических текстов напрямую касаются последствий Октября, реалий социалистического государства. Это и рассказ замечательного писателя Георгия Демидова, отсидевшего немало лет в ГУЛАГе, не увидевшего при жизни ни одной своей напечатанной строчки, и фрагмент романа Юрия Окунева о судьбах ленинградских ученых и инженеров в застойные годы, и эссе Владимира Фрумкина «Придворные музы», и очерк Леонида Гольдина о Рихтере и Ростроповиче... Эти произведения охватывают разные периоды жизни страны, характеризуют, в частности, покровительственно-подозрительное отношение власти к творческой интеллигенции и наоборот – стремление этой самой интеллигенции приспособиться, получать от власти всевозможные коврижки как плату за покорность. Выход для многих – или смириться, или эмигрировать, преодолев массу препон и унижений, о чем рассказывает Эмиль Дрейцер в своих воспоминаниях.

Продолжение темы столетия революции вы, уважаемые читатели, сможете найти и в следующем, четвертом выпуске нашего журнала за этот год.

А пока читайте, вспоминайте, сопереживайте. Ведь мы все *оттуда*...

Леон Михлин, издатель
Давид Гай, редактор

P.S. Редакция благодарит члена редсовета Марину Тюрину-Оберландер за помощь в подготовке этого номера.

Андрей ОБОЛЕНСКИЙ

КОМНАТА СМЕХА

Психоделическая фантасмагория

Окончание. Начало в № 2 (2017)

Зорин отпихнул Мишу ногой, вышел из закутка и, бросив безразличный взгляд на мертво шагающих людей, двинулся дальше, в освещенный лишь неяркими, дающими лунно-белый свет лампами пустой коридор, несколько более широкий, чем остальные. В нем царил полнейший беспорядок, как после погрома: зеркала, в которых вообще ничего не отражалось, висели косо; черная ткань, обтягивающая стены, местами протерлась до дыр, местами свисала клочьями, обнажая деревянную стену. На полу валялись скомканные листы бумаги, рваная одежда, исковерканные сотовые телефоны, георгиевские ленточки, мятые бейсболки, использованные шприцы и много всякого другого мусора.

Внимание Зорина привлекли разбросанные там и сям папки для бумаг, в основном пухлые, но и пустые тоже. Среди папок Зорин разглядел несколько уголовных дел с четко написанными датами годов недавних и одно дело, датированное маем две тысячи тридцать третьего. На обложке последнего, заключенного в красивую пластиковую папку с голограммой, значилось имя какого-то Аллана Джерри Маккоула. Зорин, всегда испытывавший недоверие к иностранцам, решил, что Аллана Джерри осудили за шпионаж. Но больше Зорина заинтересовало то, что стены коридора были сплошь покрыты приклеенными к ткани бумажками, маленькими записочками. Он видел нечто подобное, когда ездил в турпоездку по Европе, в каком-то итальянском городке, где был еще дом Джульетты. Но название забылось, он помнил только, что к балкону Джульетты и памятнику вел сводчатый проход, а записки с признаниями в любви

были приклеены или держались на скотче, как, впрочем, и здешние.

Зорин дернул одну записочку, та легко отклеилась, и он с удивлением прочитал написанные собственным, разве что гораздо более разборчивым, чем теперь, почерком амурные стихи, датированные семьдесят шестым годом. Зорин вспомнил, что адресовал их надменной однокласснице, колени которой приводили Зорина-подростка в дивный трепет. Он прилепил листок на место, попытался припомнить лицо своей давней любви и ее коленки, не смог, оторвал еще несколько записочек, бегло проглядел их. Они несли в себе подобные, но уже чужие глупости. Интерес к ним пропал, и Зорин медленно побрел дальше.

Нельзя сказать, что в зеркальном лабиринте стояла полная тишина – наподобие той, вязкой, которая удивила Зорина, вошедшего в странную избу в начале сегодняшнего, такого длинного дня. Один раз, перед самым первым зеркалом, он даже услышал собственный голос. Негромкие звуки сопровождали доктора всю дорогу по лабиринту, но откуда они исходили, оставалось тайной. Если Зорин останавливался, чтобы прислушаться, звуки пропадали, как было и с шуршанием множества людей в круглой зале. Но стоило Зорину продолжить движение по лабиринту, звуки возникали вновь, были они едва уловимы и разнообразны: шорохи, скрипы, неявные голоса и легкое эхо, трескучие вскрики, хлопки выстрелов, шум воды, обрывки старых, хорошо знакомых Зорину мелодий, исполняемых на неизвестных инструментах, и таких, о которых он никогда не слышал; последние были неприятны и тревожны.

Пора бы выбираться, решил доктор, внезапно почувствовав себя неуютно. Но, во-первых, он не знал, как это сделать, а во-вторых, понимал, что любопытство не позволит ему, доведет до конца. Интересно, до конца чего?..

Он ускорил шаг, заметив, что беспорядок исчез, коридор приобрел аккуратный вид. Ближайшее зеркало, на которое он обратил внимание, было заключено в дивную помпезную раму «рококо» и сильно отличалось от предыдущих. «К чему тут рама?» – забеспокоился Зорин, несколько опасаясь глянуть в старинное, покрытое сероватыми трещинами стекло. Но ничего страшного он там не заметил, наоборот, отразилось нечто пока еще не виданное в «Комнате смеха». Не отдельная сцена, а этакий клип, складывающийся

эпизоды зоринской жизни во вроде как единое целое, но похожее на пластиковую игрушечную цепь, которая издали выглядит почти как настоящая, но непрочно, что становится ясным, если приглядеться. Каждый эпизод в довольно резвом темпе разворачивался перед Зориным и был связан с одной из его женщин. А их обнаружилось немало. Многие сцены оказались весьма фривольны, некоторые – откровенно неприличны. Иных дам Зорин не помнил вовсе, но большую часть припоминал – в основном медсестер, уж больно старательные были. Эпизоды же, взятые из длительных отношений, выглядели куда спокойнее, некоторые даже предсказуемо и занудно. Перед глазами доктора проходила длинная череда его любовных приключений, интрижек, связей и серьезных увлечений. Зорин не без оснований считал себя ловеласом, способным покорить любую даму, находя в этом удовольствие и известную гордость, но сейчас, глядя на свои любовные приключения, он видел всего лишь незнакомца со своим лицом, нагловатого и развязного, с выставленной далеко вперед грудью и несколько откляченным задом, отчего походка его выглядела неестественной и нарочитой, что по идее должно было придавать фигуре независимость и изящество, а на самом деле превращало его в полноценного хлыща. Каждую минуту в глазах явственно мелькала похоть, чуть покрытая флером романтики и притворного восхищения. Флер рвался, клочья отлетали и уносились прочь, а сквозь дыры пауком прорывалась похоть, мимикрирующая, меняющая цвета с черного на серые и даже с красноватым отливом, не меняясь в своей сути. Животное начало явственно обнажалось, демонстрировало свои длинные уши и хвосты, бешеную светливость спаривающихся кроликов.

Зорин никогда раньше в отношениях с дамами не задумывался о высоких материях. Конечно, в глубине души он любовался собой, умению придать глазам выражение безумной влюбленности и печали, и дамы легко велись, и все выходило одинаково, ни на толику не отличаясь. «Ты у меня одна, словно в ночи луна», – Зорина эта песня всегда веселила, но вот теперь он чувствовал дурноту от собственного вида в зеркале — показалось, что отражение вот-вот заживет одной жизнью с ним самим и на свет выйдет новый, совсем иной человек, а какой – и подумать страшно.

Но вот в зеркале показалась фигура бывшей жены Лики, впро-

чем, сразу исчезнув, и снова замелькали всякие непотребства. Зорин задохнулся от испуга, быстро шагнув от зеркала прочь, услышал длинный, с придыханием, стон, успев заметить, как рама, изменяя форму, превратилась в прогнувшийся эллипс, растягивая ставшее эластичным зеркало, на мгновение застыла в похабном оргазменном изгибе, содрогнулась и приняла через секунду прежний свой вид.

Зорин совершенно серьезно подумал, что Лика не успела его заметить, и перевел дух. Дальше по коридору зеркал не виделось, доктор медленно побрел вперед, пока не заметил слева очередную высокую дверь; дальше коридор уходил вправо. На двери блестела уже знакомая своей фактурой табличка. Зорин подошел ближе и прочитал: «Министерство культуры СССР. Атракцион "Комната смеха". Музей восковых фигур». Ниже мелкими буквами в скобках пояснялось: «Паноптикум».

Зорин не любил таких мест, даже не посетил в Лондоне музей мадам Тюссо. Хотел пройти мимо и тут, но решил после кратких раздумий все же завернуть – если уж смотреть, то все, тем более что во второй раз возможность попасть сюда вряд ли появится. Потому толкнул рукой дверь и оказался в большом зале, действительно наполненным восковыми фигурами. Они во множестве располагались тут без видимого порядка, сидели, лежали, стояли, некоторые абсолютно в неестественных позах. Одно объединяло их – каждая фигура держала в руках зеркало. Издалека разглядеть что-либо в этих зеркалах не представлялось возможным, они казались черными. Одной из стен уходящего куда-то вдаль большого зала не было видно. Судя по тому, что полумрак рассеивался, а воздух был свеж, где-то вдалеке находился выход в открытое пространство.

Тут стояла полная тишина, даже те звуки, которые преследовали Зорина во время хождения по коридорам, пропали, зато появилось множество запахов, они сменяли друг друга, не перемешиваясь, будто выключали один и включали следующий. Сперва Зорин ощутил запах шашлыка на углях, потом запахло горячим асфальтом, потом – какой-то тухлятиной, потом коньяком, старой деревянной избой, подвалом, водорослями, мокрой собакой, нарциссом, чем-то еще... Запахи менялись так быстро, что через какое-то время он уже просто не успевал понять, чем пахнет в данную секунду. Наконец

смесь устоялась одним ароматом, ни на что не похожим. Он был довольно приятным и не мешал.

Зорин покрутил головой и двинулся через зал по направлению к свету. Он шел между восковыми фигурами, и они становились отчетливо, во всех мельчайших деталях видны только в тот момент, когда Зорин к ним приближался, будто начинали светиться изнутри. Зорину даже показалось, что, приближаясь к фигуре, он оживляет ее, удаляясь же – будто убивает. Знакомых лиц Зорин не приметил – в зале стояли, сидели и лежали совершеннейшие незнакомцы и незнакомки в одеждах разных времен, начиная с советского периода: там были крестьяне с жиденькими бороденками, крепкие налитые молодухи-крестьянки, жирные батюшки в рясах и такие же толстые гаишники в форме, киношные красавицы в шляпках и вечерних туалетах, чиновники, одетые с иголки, офицеры НКВД и КГБ. Армейские генералы и солдаты, домохозяйки, железнодорожники и моряки в форме, доярки в белых халатах и путеукладчицы в ватниках, бледные офисные юноши, отцы семейств, множество разнокалиберных детишек, – кого там только не было... Все фигуры при близком рассмотрении были замечательно похожи на живых людей, даже те, кто замер в неестественной позе, будто какая-то сила в мгновение облекла человека в воск. Все без исключений они казались симпатичными, милыми, у большинства на губах застыла улыбка. Живые глаза смотрели по-доброму, в них не было ни грана тайны, надменности, глупости или безразличия. Тем не менее, среди этих улыбок и лучистых глаз Зорин ощущал нарастающий дискомфорт, почти физический, до боли в висках и груди. И чем более частым становился лес восковых фигур, тем сильнее этот дискомфорт давил на него.

Поначалу Зорин привычно заглядывал во все зеркала, но они были темны или отражали только фигуру неподалеку. Лишь в одном зеркале он краем глаза заметил движение. Зеркало держал на коленях сидевший в кресле старичок явно профессорского вида, одетый в аккуратный костюм, при галстукe и в шляпе. Пухлые румяные щеки, закругленная ухоженная борода, круглые очки – все это напоминало фотографию какого-то ученого, кажется, академика Павлова. Зорин присел на корточки перед академиком и внезапно увидел в зеркале яркую и отчетливую живую картину, резанувшую

по глазам необыкновенной реальностью, особенно впечатляющей после искусственной, но несомненно существующей жизни Паноптикума. Перед ним была большая поляна, окруженная со всех сторон давно погибшим сосновым лесом – гладкими деревьями без коры, заживо поеденными каким-то жуком или вредителем. Стволы ко всему были еще и изуродованы, изранены, некоторые – расщеплены сверху и до середины словно спички, веером раскрыты в разные стороны, некоторые – упавшие или накренившиеся, готовые к падению. На самой поляне лежало несколько растерзанных туш крупных животных, буйволов или, может быть, зубров. Над тушами кружили грифы – Зорин узнал птиц только потому, что помнил картинку в учебнике зоологии. Всплыло почему-то в памяти, что эти птицы, питающиеся падалью, весьма чистоплотны и обожают купаться в любой встреченной на пути яме с водой или реке. На картине в зеркале крупная птица опустила на растерзанную тушу, дергая головой, оторвала кусок серого мяса и взлетела. А за ней падали вниз еще и еще...

Зорин содрогнулся от отвращения и хотел уже было идти дальше, но остановился как вкопанный: одна из пикирующих птиц, будто заметив его, выпустила из клюва кусок мяса, сделала резкий поворот в воздухе и, расправив неподвижные крылья, стала планировать с высоты в направлении непрошеного гостя. Зорин на секунду крупно увидел уродливую голову с крючковатым клювом, измазанную какой-то серой массой, успел заметить, что голова становится человеческой, меняя лица, каждое из которых легко узнаваемо, знакомо, многократно видено на фотографиях в книгах, учебниках и газетах, только вот вспомнить их с ходу было невозможно, уж слишком быстро они сменялись. Но вот смена лиц замедлилась, потом прекратилась совсем, и Зорин увидел совсем близко свое собственное лицо, безмятежное, улыбающееся, потому нелепое на покрытой перьями голове большой птицы. Гриф с зоринским лицом вплотную подлетел к обратной стороне зеркала, пытаясь проникнуть сквозь него наружу, надвигаясь на Зорина, становясь все больше и больше. Доктор замер, не зная, что ему делать, но зеркало неожиданно скатилось с колен воскового человека и разбилось вдребезги. Птица же с человеческим лицом в те короткие секунды, пока зеркало падало, легко выпорхнула из него, взмыла вверх, за-

стыла на секунду где-то высоко и, в одно мгновение превратившись в восковую, рухнула на пол под ноги Зорину, растекаясь на дощатом полу застывшим пятном. Зорин шарахнулся, налетел на какую-то фигуру, указывающую в пустоту вздетой вперед рукой, успел увидеть, что рука отвалилась и упала на осколки зеркала, заскользила по ним, будто по льду, к мирной фигуре мальчика в очках, сидевшего на табуретке и читающего книгу, неожиданно, словно живая, оттолкнулась от пола и, сложив ладонь в кулак, сбила с мальчишки очки. Фигура мальчика пошатнулась, тоже упала, увлекая за собой стоящие поблизости фигуры. Возник внезапный шум; Зорину показалось, что обитатели паноптикума ожили, зашевелились, не покидая, впрочем, своих мест. Он метнулся в сторону и, лавируя между фигурами, ринулся к свечению.

Оказавшись ближе к свету, Зорин быстро успокоился. Фигур тут почти не было, а если и были, то, за редким исключением, все какие-то некрасивые и нереалистичные, будто сделанные наспех.

Теперь он мог разглядеть, что же являло собой видимое изда-лека свечение. Зал тут и заканчивался, только выглядело все довольно интересно. Зорин оказался на возвышении; вперед и в стороны, сколько хватало глаз, расстилалась равнина, покрытая редкими островками леса. Зорин оглянулся и увидел неподалеку восковую фигуру чеченского полевого командира в камуфляже, с автоматом, биноклем на шее. Зорин подошел к фигуре, осторожно потрогал бинокль – тот, как и разбившееся зеркало, оказался не восковым, а настоящим, большим и тяжелым. Зорин осторожно снял бинокль с шеи чеченца, ему показалось даже, что камуфляжная фигура немного нагнулась, чтобы ему было сподручнее. Прильнул к окулярам и начал рассматривать пейзаж.

Сначала он увидел сначала только расплывчатые пятна. Подкрутил колесико – изображение стало четким, но заметалось между небом и землей. Однако Зорин вскоре приспособился, поняв после многократного приближения, что и где находится, и зафиксировал бинокль, стараясь вести его плавно, не рывками. Увидел дорогу, без оптики казавшуюся лишь темной полоской. При близком рассмотрении дорога оказалась рябой от рытвин и ям, вспухала треснувшими пузырями асфальта и непонятно зачем устроенными тут высокими «лежачими полицейскими», обозначенными свежи-

ми белыми полосами. Широкая и тоже неровная обочина виделась сплошной полосой грязи, перемешанной с растекшимися картонными коробками, большими пластиковыми мешками, изломанными деревянными ящиками и металлическими ошметками. Судя по всему, там стояла поздняя осень или ранняя весна. Зорин поднял бинокль чуть выше. Солнце не пробивалось сквозь густые, ровные, как цементный потолок, облака, а пейзаж вдоль дороги напоминал Зону Стругацких. Снег, выпавший, вероятно, вчера, почти стаял, но еще тонким, зернистым слоем покрывал желтую, давно умершую траву, торчащую из земли клоками, останки ржавых машин, будто упавших из иной реальности, спутанные клубки проволоки, разбитые бетонные конструкции. Большой кусок стены, оставшийся от давно исчезнувшего дома, стекал к земле обломками серого кирпича, заманивая в серую бесформенность большого дверного проема, сквозь который был виден только туман с мутными абрисами скользких, низкорослых деревьев на краю дальнего леса. Диагональ тракторной колеи разрезала поляну полосой вывороченной ядовито-оранжевой глины и растворялась вдали у переломанных, бурых перелесков в грязных волосах мелкого спутанного кустарника. Виделось, что и воздух над землей оранжево-черного цвета. На траве кое-где сидели большие птицы, растрепанные и мокрые, казавшиеся лопнувшими пузырями на изуродованной ожогом обугленной человеческой коже. Неба не существовало, оно казалось лишь отсветом земли, серостью и бессмыслицей. Пространство протекало, словно вода из дырявой трубы, концентрируясь рваными пятнами, беспорядочно мигрирующими повсюду. Ничто не имело своего места, не искало его, находя постоянство в хаосе. Зорин невольно вспомнил увиденное в начале путешествия по «Комнате» поле боя.

Заметив вдали быстро надвигающуюся полосу дождя, он повел биноклем влево и обнаружил будто игрушечный, волшебной красоты домик-замок, огороженный красивым забором. Хозяйственные постройки тоже были симпатичны. Домик располагался на краю густого, словно искусственно высаженного идеально-квадратного кусочка леса, за которым снова виделись хилые перелески с разбросанным там и сям крупным строительным мусором.

Зорин опустил бинокль и заметил, что находится довольно высоко над землей, и прямо от деревянного помоста, на котором он сто-

ит, внизу тянется метров на сто вперед каменная гряда, состоящая из будто бы специально разложенных остроконечных камней. Все, что Зорин видел в бинокль, начиналось от этой каменной гряды. Кто сложил ее и для чего, было неясно, поскольку попытка перебраться через это нагромождение камней заняла бы много времени и сил. Громкий шорох за спиной заставил его обернуться, и Зорин увидел, что восковой чеченец в камуфляже теперь стоит почти у края помоста. Чеченец внезапно снова сдвинулся, будто шагнул еще ближе к краю, наклонился вперед и полетел вниз. Зорин успел заметить, что во время полета тело его перестало быть восковым, ожило и изогнулось, упав на острые чернеющие внизу камни. Какое-то время тело еще дергалось, выгибалось, потом замерло, снова стало восковым, вместе с одеждой распалось на куски, проваливающиеся в глубокие щели между камнями, только голова нанизалась на острие одного из камней. Крови Зорин не заметил.

Зрелище показалось доктору крайне неаппетитным, он в последний раз глянул на голову, успевшую разломиться на две части, и стал выбираться из Паноптикума. Количество фигур в зале почему-то значительно уменьшилось, так что путь назад оказался недолгим. Зорин потянул на себя высокую дверь и очутился в знакомом коридоре. Там ничего не изменилось за время его отсутствия. Он прислонился к стене и перевел дух. Следовало взять тайм-аут и хотя бы немного поразмыслить о том, что, собственно, происходит.

Он не имел ни малейшего понятия, сколько времени провел в этих коридорах и залах, уже не помнил, в какое количество зеркал заглянул. Почему он попал сюда – вроде бы узнал от «ответчицы», а вот что происходит и какова его роль во всех этих странных перипетиях, этими вопросами, вероятно, задаться стоило прямо сейчас.

Итак, что же?.. Может быть, он проживает жизнь по второму разу, но не полностью, а, так сказать, сокращенно, квинтэссенцию, выжимку самого важного? Но откуда тогда повылезало нечто чужое, никак не связанное с его прежним земным существованием? Отпадает... Следующая идея – разделение прожитого на две части, сознательную и бессознательную. Тогда эпизоды извне вполне объяснимы — этакie игры подсознания. Но раздвоение всегда означает болезнь, значит ему, Зорину, все это видится в болезненном состоянии, а сам он заперт в палате на жесткой койке с нечистым бельем...

Что ж, возможно, но закавыка в том, что он может ясно мыслить и в категориях «Комнаты», и в категориях того, что происходит за ее пределами. А у шизофреников так не бывает, они обязательно путаются в своей раздвоенности... Что еще? Да ничего. Почему бы не предположить, что эта изба упала из другого мира, параллельного пространства, космоса, еще откуда-то, а он, Зорин, познает доселе неведомое никому. Эту гипотезу доктор с радостью принял как рабочую, за ней – решение не сомневаться, потянулся, присел три раза, разминая ноги, и двинулся дальше, сразу, как уже повелось тут, забыв о своих размышлениях.

Зеркало, висевшее на стене следующим, имело вид весьма затрапезный. Будто попало сюда из ванной комнаты перенаселенной коммуналки советских времен... или, того хуже, общественного туалета времен тех же. Зорин сразу вспомнил, что нечто похожее висело в сортире у институтского одnogруппника Влада Косачева в общежитии. Зорин нередко сбегал к нему на несколько дней из дома, поругавшись с отцом, проректором сопредельного Первого медицинского института. Раз в месяц отец лично звонил на кафедру, где в тот момент Зорин постигал знания, и с пристрастием допрашивал кого-нибудь из доцентов на предмет сыновних успехов. На этой почве иногда возникали ссоры с односторонним бойкотом и временным лишением материальной помощи. Вот тогда Зорин, имевший на такой случай заготовленный, сбегал к другу Косачеву в общежитие. Косачев проживал в комнате-двушке, регулярно платя коменданту, чтобы тот никого не подсеял, благо отсутствием денег не страдал: косачевский папаша был главным врачом подшефной институту Егорьевской районной больницы.

Вот в этой обшарпанной, с некоторыми претензиями на убогий мужской уют комнате, Зорин увидел себя и Косачева в состоянии уже изрядного подпития. На колченогом столе все перемешалось: обрезки колбасы, корки хлеба, смятые, пропитанные соком крупно нарезанных рыночных помидоров салфетки, вывалившиеся из переполненной пепельницы окурки. Но тоски в глазах приятелей не виделось, поскольку над бардаком стола гордо возвышались две непочатые бутылки литрового вермута по два-двадцать с криво наклеенными этикетками. Зорин увидел, как он, совсем молодой, гладко выбритый юноша, наливает в стакан бормотуху, которой в нынеш-

ние времена красили бы заборы, выпивает, скривив лицо. Чувствуется, что напиток на какое-то время комом встает в желудке, чтобы вскоре растечься по организму, принося приятное безразличие и желание говорить доброе дураку Косачеву. Косачев же, приложившись прямо к горлышку бутылки, закусывает размазанным в пальцах помидором, облизывает пальцы, вытирает их о треники и берет гитару. Собственно, из-за нее, гитары, не гнали его из института. Не было сессии, на которой Косачев не завалил бы экзамена; папаша часами сидел в приемной декана, но спасал сына не только папа, но и гитара. Замечательно пел Косачев про виноградную косточку и скованных одной цепью, да так, что заслушаешься. Выступал на смотрах художественной самодеятельности, пел патриотические песни, принося ощутимую пользу альма-матер. За это, а также брезгливо внимая мольбам папы, деканат прощал Косачеву прогулы, слабое знание предметов и пьяные дебоши в общеаге. Умер Косачев в начале девяностых. Умер мучительно, в полном сознании, понимая, что умрет, потому что таких как он, опившихся купленного в палатке паленого спирта, тогда и не лечили вовсе — нечем было, даже капельниц не хватало. Папа помочь уже не мог, поскольку раньше намеченного срока стал пенсионером, не успев обеспечить с помощью денежной должности собственную старость. Он не приехал к пропащему сыну в больницу, поскольку занят был посадкой картошки на шести сотках, даденных много лет назад егорьевским горздравом. А если бы и приехал, то вряд ли застал бы живым. Быстро умер сын, на которого столько надежд возлагал когда-то Косачев рёге, хозяин большой больницы, отправленный в отставку задолго до срока.

Умер-то Косачев, почти забытый Зориним, а вот сейчас образовался в зеркале напротив, перебирая гитарные струны. Зорин смотрел на приятеля с неожиданной грустью, а на самого себя — равнодушно, не узнавая, с чем за время экскурсии по веселому аттракциону уже смирился. Смотрел и видел, что похож на клоуна, которого больно стукнули по физиономии невесомой поролоновой палкой, видел свои лишённые эмоций глаза, изломанную, неестественную позу. Видел, как лезет обниматься к Косачеву, слюнявя его красные от помидорного сока щеки, пошатнувшись, задевает неустойчивый столик, с которого закуска сыплется на пол, но бутылки волшебным образом оказываются в руках Косачева, хотя обречены

разбиться. Зорин так увлекся зрелищем, что даже вздохнул с облегчением, увидев в зеркале, что бутылки целы. Потом они снова обнимались с Косачевым, и тот, зачем-то грассируя, пел окуджавовское про парижского спаниеля, частя в словах и привирая в мелодии. Посередине изысканной песни появились две разгульные девки с первого курса. Косачев бросил гитару и потащил одну из девиц на койку, опрокидывая на себя, ее задница заголилась, и Зорин не стал досматривать, что было дальше. Червяк отворачивания не к себе, к миру, зашевелившийся в самом начале, рос и неприятно бултыхался в организме. Частью в желудке, частью – в голове.

Зорин отошел в сторону, увидел стоящий у стены на некотором отдалении от зеркала ободранный, канцелярского вида стул. Он оказался очень кстати. Зорин присел на жесткое сиденье, покрытое потрескавшимся кожаменителем. Ноги гудели от усталости. Жаль Косачева. Ведь одни преуспевают, хоть и глупы, другие пробиваются трудом, не имея особых талантов, третьи трепыхаются, как сам Зорин, но у всех есть выбор. Это и страшно. Вот здесь, в «Комнате», выбора нет, потому размышлять особенно не тянет, эмоции не отвлекают, а мысли, если и появляются, их будто кто-то обрубают в самом зародыше. Косачев был бесспорно талантлив, но его поедом ело убеждение, что музыкальная школа, приличный голос и несомненные актерские данные не могут быть основой для безбедного существования, а значит и счастливой и полноценной жизни. Ведь поют многие, да только нищенствуют, а вот врач, даже самый заурядный, разве ж без куска хлеба останется? Ломал себя Косачев, пусть и не отдавая отчета в этом, как ломает себя почти каждый, оказавшись перед надуманной или навязанной дилеммой. Они, эти дилеммы, неизбежно появляются, и хуже всего, когда незадолго до конца, который невозможно отодвинуть, и уже неинтересно, что там дальше, и остается жить воспоминаниями, если они есть. А если нет – совсем худо...

Под влиянием необъяснимого импульса Зорин встал и вернулся к зеркалу. Себя там он уже не увидел. Пьяненький, но еще живой Косачев закончил валять по постели непотребную девку, поднялся, сделал несколько шагов — и вдруг легко спрыгнул из зазеркалья на вытертый паркет коридора. Он стоял молча, слегка улыбаясь, и смотрел на Зорина.

– Привет, – неуверенно произнес Зорин и не придумал ничего умнее: – Ты как?..

Косачев молчал. Из самой глубины веселых от девки и вермута глаз, нарушая гармонию, созданную крепкой девкиной грудью и потребленным напитком, выглянули неуверенность и страх перед будущим, которые редко селятся в молодых головах. Косачев смотрел на Зорина долго, приложил палец к губам, покачал головой и, кряхтя, полез обратно в зеркало, показав зад, обтянутый купленными в «Березке» джинсами «Lee». Джинсы заметно разъехались по шву, так как были малы размером – в «Березках» брали что дают. Косачев добрался до постели, по пути захватив со стола томик «макулатурного» Дрюона, зачем-то положил его под подушку, устроился поудобнее и захрапел, улыбаясь во сне.

Зорин вздохнул и вернулся на свой стул, чтобы посидеть еще. Это показалось странным: работа на «скорой» отучила уставать и хотеть спать. Неужели этот дурацкий аттракцион так действует... состаривает, может? Он же фикция, мираж, пердимонюкль какой-то...

На мудреном французском слове (Зорин лишь примерно знал, что оно означает, но ему нравилось его двусмысленное звучание) мысли снова обрубались. Надо было идти. Стало ясно почему-то, что если пойти назад, придешь в эту же точку, снова увидишь Косачева, и тогда круг замкнется.

Зорин побрел по пустому коридору, который завихлял, то расширяясь до величины приличного по размерам зала, то сужаясь и становясь низким настолько, что приходилось нагибаться. Наконец Зорин вышел в очередной зал, который, в отличие от остальных, был увешан разного размера зеркалами, вполне обычными – в них Зорин видел только себя. Засмотревшись на свои изображения, он не сразу заметил сидящего на табуретке около одного из зеркал человека. Человек не шевелился и глядел в пол. Зорин подошел ближе и понял, что это инвалид: костыли были прислонены к стене, ампутированная выше колена нога в зашитой грубыми черными нитками брючине торчала вперед. Кое-где нитки разъехались, приоткрывая розовую гладкую кожу и выпуклый шов. На полу стояла невысокая картонная коробка с кучей мелочи и несколькими бумажками. Одет инвалид был в потрепанную гимнастерку с темными прямоугольниками на месте споротых петлиц и погон.

Услышав шаги, инвалид поднял голову и посмотрел на Зорина, а тот сразу узнал его, да и мог ли не узнать, если виделся с ним всего лишь несколько часов назад.

– Ну, здравствуй, – устало сказал Зорин. – Этого следовало ожидать. Снова ты, Валентин Забелин... Солдат...

– Откуда знаешь, дяденька? – инвалид прищурил глаза, они стали холодными, режущими. – Что надо? Хочешь денег дать – давай, а нет – гребни дальше.

– Мы встречались, – Зорин достал из кармана так и не разменянные пятьдесят рублей и, наклонившись, положил в коробку.

Холод в глазах солдата растаял, они округлились от удивления.

– Ты что, дядя, этот... как его... Рокфеллер? Да и где мы могли встречаться?

– Здесь и встречались, в «Комнате смеха». Один раз во время войны и один – между войнами. Всего два. Снова забыл?

На лице солдата выразилось напряжение.

– Нет, не помню. Знаешь, сколько тут разных околачивается... Однако благодарствую, я ведь с утра сижую, оголодал. Ходить ходят, а не подают ни шиша. Наверное, опять снаружи что-то произошло, там все время то так, то этак... А у меня – то густо, то пусто. В иной день столько отваливают, что неделю можно о еде не думать, я тогда в Дегунино у деревянной церкви воздухом дышу, там садик есть заброшенный. Народу мало, только прислуга в мясную лавку купца Сомова бегают, через садик-то по тропинке корочке. А в последнее время совсем плохо – просто не замечают меня, а то и паразитом обзовут и плюнут в мою сторону. Говорят, знаем мы вас, нищих, доходный у вас биз... бизенс. Как звать-то тебя?

– Леонидом.

– А я... ну, ты знаешь... Валентин.

Зорин присел на стул, опять, как нарочно, оказавшийся рядом. Снова захотелось отдохнуть, а еще вдруг показалось интересным со знакомцем поговорить.

– А что, Валентин, тебя из солдат выгнали, что ли? В прошлую встречу ты жизнью доволен был. А сейчас... уж прости... и поставил сильно.

– И что ж... оно, конечно, года идут, – Валентин охотно поддерживал разговор. — Демобилизовали. А демобилизованный солдат

стареет — оглянуться не успеешь. Ногу потерял на афганской... сначала вернули, потом снова забрали... решили, что такому как я — без надобности.

— Почему? И какому — такому? Ты ведь своей службой горд был.

— А я и сейчас горд. Потому как для Рассеи много сделал. Только вот в последнее время думать пристрастился, а это как табак нюхать, не отвяжешься. Поэтому погорел и нищенствую. Меньше бы мысли жевал да сброд всякий слушал, до сих пор бы служил.

— Расскажи... — Зорину стало и правда интересно, хотя он понимал, что интерес скоро пропадет, как постоянно тут случалось.

— Да чего особенного рассказывать... — Забелин вздохнул. — Один я, что ли, такой... Но зла у меня на Рассею нет... и у товарищей моих нет. Она нас не забыла, помнит, только у страны великой и задачи огромные. Рассее о себе надо думать, не о нас, ведь существовать ей вечно, даже если народишко весь до одного повымрет, сохрани Господь, — Забелин перекрестился и снова вздохнул.

— Так что с тобой случилось? С пафосом вроде говоришь, а вздыхаешь. Сам сказал, что солдаты всегда нужны.

— Сказал. И повторю. Только настоящий солдат думать не должен, а я, получается, ненастоящий, потому как мыслей в избытке появилось. А все он, сука...

— Кто — он?

— Да полковник Копейкин, чтоб его... Говорила мне мамаша — не водись, сынок, с черными людьми... а мне откуда было знать, что он черный, хуже сажи печной. Я в людях плохо разбираюсь, да мне и без надобности.

— Да расскажи ты по порядку!

— А что, расскажу... Если б интересу не имел, не спрашивал бы, дяденька.

— Какой я тебе дяденька? Ровесники мы теперь. Леонид я, Ленюка, понял?

— Да по мне — хоть Васька. Значит... это... потерял я ногу на афганской. Не в бою, по своей дурости. Девку ихнюю поймали, шпионку, видать, красивую... Конечно, выпили крепко, как без этого... и передрались... ну-у... кому ее... это... первым... прежде чем начальству докладывать. Взялись за автоматы... дальше я ни хрена не помню, очнулся в госпитале. Прострелили мне ногу, да так, что и

штопать не решились, ампутировали сразу. Разбираться не стали, эвакуировали, а ногу, как положено, новую дали. Сказали, знаем, откуда у тебя ранения такие, но ты солдат образцовый, а нам шухер не нужен. Определили на краткий отдых в Вечную дивизию, а через месяц Горбачев контингент из Афгана и вывел. А я остался в Вечной дивизии служить. Служба непыльная – по школам разъезжать, на собраниях да митингах выступать. Знай о своих подвигах рассказывай... и нету других забот. Я, хоть и скучал, но нравилось, а лекции свои рассказывал согласно личным впечатлениям и многократным беседам с батальонными священниками и политруками. Говорун из меня получился – куда там Троцкому-иуде! Чаше приглашать начали, особенно в суворовские училища: говорят – нам Забелина подайте, он интереснее всех рассказывает. А в школах были такие «уроки мужества» – может, помнишь... И вот тогда познакомился я с этим треклятым Копейкиным.

– И что же? – нетерпеливо спросил Зорин.

– А вот то же! – солдат, кажется, разошелся ни на шутку. – Бухарик он был, Копейкин, а подружились мы с ним крепко. Бухать в Вечной дивизии не то чтобы дозволялось, но сквозь пальцы на это смотрели – только с утра не похмеляйся, будь в форме и по казармам пьяный не шатайся. Вот мы с Копейкиным каждый вечер в каптерке при медчасти и располагались... Доктор там был по имени Антон, он всегда нас пускал, хотя сам непьющий и интеллигентный, пенсне еще носил старорежимное, споры наши всегда слушал, но не встречал. Пить-то мы с Копейкиным умеем... чтоб до поросычьего визгу – всего пару раз, когда чуть не переругались в пылу. Вот тогда он меня с пути истинного и сбил.

– Чем же полковник тебя, солдата, сбить мог?

– Разговорами, вот чем! Хуже разговоров вредных ничего на свете нет, это я теперь понимаю, а тогда крючок копейкинский до кишок заглотил.

– Да что ты все вокруг да около, Валентин! – Зорин начал терять терпение.

– А у тебя выпить есть? – вдруг хитро улыбнувшись, спросил солдат. – Нету? И ладно. А говорил мне Копейкин, что все не так было, а то, что так – все не то. Книжек приносил множество, я вот одну запомнил, про Отечественную, атлас называется. Там только

карты сражений разных, так на одну черную стрелку немецкую – пять-шесть красных. Копейкин мне объяснил, что это значит, хотя я и сам понимал, не совсем лапоть все-таки...

– Так ты ж мне говорил, что солдаты – мелкие монеты, страна их тратить должна.

– Верно, говорил. Только когда рубль платишь, помнишь следует, что в нем сто копеек, а не тыща. Копеек-то всегда хватает, а вот рубли закончиться могут. Об этом мы с Копейкиным и спорили. С Копейкиным – о копейках! – Забелин улыбнулся. – Я всегда над его фамилией смеялся, а он в обиду, хоть и старался вида не подавать. Да еще водка эта...

– А водка-то что?

– Странное дело... Мне от пьянки ежедневной вдруг казаться стало, будто мы с ним – одно и то же. Не одинаковые люди, не близнецы какие, а просто одно и то же. А что оно такое есть, это самое «одно и то же», не понять. Не человек, не зверь, не ангел небесный, не черт с рогами... Да как тебе объяснить... Ну, понимаешь, вот дерево большое с раздвоенным стволом... корни общие, а где-то высоко расходимся, но неважно это – земельными-то соками одними питаемся. А если соки одни, то и листья тоже, одинаково распускаемся, одинаково желтеем и опадаем в одно время... Наваждение какое-то со мной произошло... поверил ему, проникся. Только на Копейкина быстро глаз положили, полковник как-никак, да на людях балакать любил, как заведется – не остановишь. Вот его скоренько из Вечной дивизии и выгнали, наград лишили, стигнул он, не знаю где. Тут его не видел, хотя «Комната» многих привечает, отказу не дает.

– И тебе не отказала? Ты-то как здесь очутился?

– Когда Копейкин пропал, сам не знаю, что со мной случилось. Будто помешался на том, что он мне натрепать успел. Все думал – правда или врет напропалую? А если правда, почему ж я сам не замечал, ведь не меньше его повидал, чего только не прошел? Даже мысли дурацкие появлялись... вроде того, что мы в каких-то разных Рассеях жили. И стал на мероприятиях всяких молодым о своих сомнениях рассказывать. Не хотел, противился желанию, а вот заставляло что-то. Говорю же, наваждение. Дальше – больше: в библиотеки пошел, дневал и ночевал там, все правду искал, но так и нашел, потому что если бы правда простым хождением по библио-

текам раскрывалась, мир сгинул бы. Зная всю правду, жить нельзя. Вот и выкладывал безусым мальчишкам и тем, кто не воевал никогда, свои новые мысли о том, как события происходили. По моему новому разумению. Но никому это не нравилось, на лекции посылать перестали, строевой подготовкой заняли, дни напролет на плацу гоняли. Прапорщик там один был, ретивый такой, Бледищев по фамилии. Он из дворян, вроде как этот... Радищев. Гордился своей фамилией донельзя, говорил, что при графе Дибище третьим адъютантом состоял, а потом у Бонч-Бруевича служил. Гонял меня этот прапор на плацу без продыху, так что думы мои реакционные сами собой испаряться начали. Но этого мало показалось, вдруг приказ пришел — ногу у меня назад забрать и в Вечный лагерь перевести, в канцелярию.

– Что, прямо без ноги?

– Ну да. Зачем нога в Вечном лагере? Там увечных или слабых здоровьем хоть пруд пруди. Но люди хорошие. Генералов, а то и, бери выше, маршалов жуть сколько! Штатских тоже много, я от них отвык, а люди, оказывается, приличные. Одно время они тоже с лекциями выступали, а дальше прекратилось это, да и вообще... Вечный лагерь в упадок пришел. Довольствия меньше выделять стали, в газетах и в книжках о нем писать мода прошла, так вот и пошло-поехало...

– А что за Вечный лагерь? Санаторий, что ли?

– Ага, санаторий... Тебя бы, Леня, в такой санаторий. Они там все до одного прощенные преступники, вон оно как. Но... ненастоящие какие-то. Служили родине... как могли, на разных должностях, а кто и вовсе без должностей. Многие в чести были, награды имели, Рассея довольна была. А потом... бац – и вся служба их неправильной открывалась. Вредной. Рассея им за это ремнем по задницам, да так, что полосы кровавые на всю жизнь оставались. Но некоторые и с полосами этими дальше служили — и военные, и штатские. Они родину любили не меньше меня, только вот не повезло им. Рассея-то наша частенько вспыльчива бывает.

– Да будет тебе про Рассею, сам знаю все, родился тут. Ты о себе расскажи, – Зорин всерьез заинтересовался жизнью солдата, но главным образом потому, что хотел понять, встретит ли он его еще раз, а если встретит, то какой эта встреча окажется.

– А я уже все рассказал... ну... почти все, – Забелин вдруг зевнул, перекрестив рот. – Давно столько не говорил, притомился. А тебе-то все ж какой интерес?

– Не знаю, – честно ответил Зорин. – Может, потому интересуюсь, что в третий раз встречаемся, а там... кто знает, что предстоит.

– Никто не знает, – Забелин посерьезнел. – Ну ладно, дорасскажу, да и немного расскажу-то осталось. Сокращать стали Вечный лагерь. И меня сократили, оказался я нигде — пенсия мне не положена, потому что на тех, кто в Вечном лагере хоть сколько пробыл, благорасположение Рассеи по новым правилам больше не распространяется. Хотя чего я там пробыл, года два всего... Объяснял, да кто слушать станет... Вот и вернулся по старой памяти сюда. Дали мне закуток на складе старых зеркал. Ох и интересные вещи там можно увидеть! Так и тянет думать начать, но я держусь, теперь ни-ни! — Забелин погрозил в пространство пальцем. – Вдруг еще хуже станет... Опыт-то есть. Там ночую, а днем — здесь, людей добрых все-таки немало проходит мимо, вот хоть и ты. Но пора мне. До магазина доковыляю, жрать охота, а после – спать. Такая вот жизнь моя теперь.

Зорин отчего-то растрогался, погладил солдата по шершавому рукаву шинели.

– Ты... это... прости меня, – неожиданно сказал он, – прости, Валька Забелин. Это хорошо, что мы встретились.

– Прощаю, – серьезно ответил солдат, не спросив – за что.

– Может, свидимся еще...

– Нет, – ответил солдат, лицо его вдруг посуровело, углы губ опустились, глаза потемнели, зрачки стали почти неразличимы — весь он изменился, перед Зориным сидел совсем другой человек. – Не свидимся. Все изменилось слишком быстро. А я – прежний. Ты будешь идти своей дорогой, а мне придется теперь служить не стране, а ее отражению, где-то здесь есть такое зеркало. Приказ есть приказ, я солдат. В конце концов, какая разница – отражается же Рассея, а не берег турецкий, не Африка и не Америка, тьфу на них. Своя земля отражается. Вот ожидаю, когда мне покажут правильное зеркало, чтобы я не ошибся и служил... кому следует. А ты, Ленька, может, когда и увидишь меня. Мною в солдатиков с внуком поиграешь. Или на картинке какой мое лицо встретишь, не могу знать. А может,

ничего такого и не будет... о войнах надо забывать, не надо помнить о войнах, грязное и подлое это для всех дело, неважно, кто защищает, кто нападает. Когда воюешь, жизнь сном становится, люди в этом одинаковые все. А помнить надо о другом... только сказал мне Копейкин однажды, что другого почти нет, вот память и ссыхается, уменьшается в размерах, игрушечной становится, плюшевой, да еще нынче и денег стала стоить. Но это ладно. Лишь бы не пропала настоящая память совсем, одна моя надежда, вот потому и служить буду, куда б ни поставили. Но ты иди, путь твой еще немалый, а я жрать хочу. Прощай.

– Прощай, Валентин, – пробормотал Зорин.

Он понял: какая-то часть его экскурсии закончилась, и делать ему рядом с солдатом больше нечего. Повернулся и медленно двинулся в очередной коридор. Сколько их еще, этих коридоров... Но выход только впереди. Позади его нет. А если бы и был, черт знает, сколько туда идти. Вперед все равно будет короче... Зорин махнул солдату рукой и вошел в полумрак.

Дальше зеркала попадались все чаще и чаще, но были пусты – Зорин ничего не мог увидеть в чистейших, вообще ничего не отражавших стеклах, как ни старался. «Наверное, это время я еще не прожил, — предположил он, – вот и пустота одна. Хотя и там, где прожил, тоже пустоты хватает. А может, это смесь моей жизни с чьей-то чужой создает вакуум... или подкорка временно отключилась... Да и пропади оно все пропадом, так и свихнуться можно! Тем, что нельзя объяснить, но можно видеть или ощущать, надо пользоваться. Для общего развития хотя бы. Я не стар еще, развитие на пользу пойдет». Зорин быстро обрел хладнокровие и пошел дальше... наблюдать необъяснимое.

Перед ним довольно скоро опять возникла белая дверь с типовой табличкой. Зорин не стал читать написанное сверху мелкими буквами, а вот надпись посередине его удивила: «Исполнение последнего желания». Ниже дополнительно сообщалось: «Безопасно для жизни и здоровья. Одобрено Минздравом». Сбоку висел маленький плакат с изображением симпатичных и румяных, вполне

довольных старичка со старушкой. Они заключили друг друга в объятия и с оптимизмом смотрели на Зорина. Внизу плаката располагалась лукавая надпись: «Они ждут исполнения последнего желания. Счастье близко».

Зорин задумался. Последнее желание... хм-м, интересно... Это для приговоренных к смерти, что ли? Так ведь написали: «жизни и здоровью не угрожает». А есть у него желания?.. Кажется, есть. Несколько. Но ведь если какое и сбудется, то после него может новых не оказаться... Что за жизнь тогда наступит... Черт, снова его запутали! Вот возьмет и пойдет всем назло!.. Нет, не всем. Себе. А что?.. Делать что-то себе назло, кажется, ему еще не доводилось...

С этой мыслью он толкнул дверь и очутился в небольшой и симпатичной, хорошо обставленной комнате. Несколько мягких кресел, большой телевизор на стене, красивые абстрактные картины, везде высокие горшки с ухоженными цветами. Посередине стоял стол, на котором лежала большого формата тетрадь в кожаном переплете. Еще – тяжелая старинная чернильница и красивый стаканчик с перьевыми, тоже явно старинными, ручками.

Зорин сел на стул и посмотрел на обложку тетради. Золотым тиснением было выведено: «Книга учета последних желаний». Ниже, фломастером прямо по бежевой коже, знакомым детским почерком без знаков препинания: «Последнее желание только одно если два три сто вот увидишь случится с тобой большая фигня».

Зорин усмехнулся и открыл тетрадь. Увидел множество учтенных желаний, наскоро просмотрел некоторые – большинство касались неразделенной любви, несметных богатств и долгих лет жизни. Попадались, правда, и оригинальные. Зорин прочитал, что кто-то хочет жить при коммунизме, получить в колхозе лишние трудовые, высказать в глаза богу все, что о нем думает, родиться сверчком, уничтожить сексуальность в людях, тем самым позволив им наконец свободно мыслить, научиться играть на дудуке, править миром и петь в церковном хоре. Чтение быстро наскучило, он откинулся на спинку стула и стал размышлять над последним желанием. Очевидно, что последним его назвали потому, что оно самое важное в жизни. Он вспомнил прочитанные глупости, усмехнулся – каждому свое. Но что же пожелать себе – он не знал. Шутить почему-то не хотелось, в голову лезла всякая ерунда.

Зорин закрыл глаза. Ему стало вдруг спокойно, он ощутил себя дома, накануне выходного дня. И вот тогда где-то глубоко зашевелилось, будто отражение в зеркале, мучительное желание. Мгновенно осознав его и внутренне сформулировав для себя, Зорин решил, что нельзя терять ни секунды, схватил ручку, окунул ее в чернильницу и, царапая пером на бумаге, быстро написал короткую фразу. Закрыв после этого тетрадь, он будто бы провалился в глубокий и короткий сон, но почти сразу пришел в себя, почувствовав вдруг бодрость, ясность мысли и кураж. Оглядел комнату, встал, прошелся по ней, привычно потягиваясь и разминая тело. Подошел к окну, отдернул штору – и, конечно же, увидел вместо окна зеркало, в котором отражался сам, веселый, с игривым взглядом. И вдруг ясно осознал, что не помнит, чего написал в тетрадке, позволяющей исполнить последнее желание. Он напрягся, но ответа не нашел. Тогда Зорин вернулся к столу, взял со стола тетрадь... и застонал от разочарования: она чуть не выпала из его рук, став скользкой, оказавшись теперь целиком из воска. Муляж был выполнен с потрясающей точностью. Это уже ни в какие ворота не лезло, что за шуточки! Он кинул бесполезный кусок воска на стол, тот проехался по полированной столешнице и улетел на пол. Зорин бросился в кресло.

Ну и ладно, ну и черт с ним, все равно это розыгрыш... но ведь желание откуда-то появилось, он же сразу понял, что если оно исполнится, то и вправду станет последним, потому что ничего в жизни ему уже не будет нужно... А что пожелал – об этом он теперь никогда не узнает.

Зорин расстроился так, что на глаза навернулись слезы. Пора уходить отсюда, ему все порядком осточертело: зеркала, отражения, фигуры странные, солдаты, друзья, родня — каша какая-то... Все это интересно, конечно, но сколько ж можно...

Поскольку в комнате имелись две двери, Зорин, привыкнув здесь к послушанию, открыл ту, на которой висела табличка «Выход». Новый коридор отличался от предыдущих, он был более светлым, длинным и прямым, а его стены и потолок сходились в бесконечно далекой светящейся точке. Зорин даже забеспокоился – это ж сколько ему идти, кошмар какой! А в понедельник, между прочим, на работу...

Но ничего другого не оставалось, и Зорин пошел. Появились

зеркала в строгих темных рамах, они висели близко друг к другу, но были пусты, в них мелькали лишь бесформенные блики, отражающиеся в зеркалах противоположной стены. Вероятно, из-за этого возникал интересный эффект световых цепочек, движущихся, словно трассирующие пули, и во множестве пересекающих затемненный коридор. Зорину поначалу показалось интересным пробираться сквозь рваные нити света, рисующие на нем, словно на киноэкране, нечеткие изображения – он заметил несколько таких на рукаве, остановился даже, чтобы рассмотреть, но картинки сразу исчезли.

Скоро ему надоело однообразие, он начал осматриваться в надежде уловить в пустых стеклах что-то необычное, и это ему сразу удалось: сначала в зеркалах стали беспорядочно возникать расплывчатые и плохо различимые женские лица, профили. Они быстро исчезали; после появились женские фигуры в странно знакомых платьях или даже просто в майках и джинсах. Они не задерживались надолго, сменялись другими, быстро перемещались в соседние зеркала. Чтобы настигнуть их, Зорин пошел быстрее. Это помогло – фигуры теперь выглядели отчетливее, будто Зорин и правда их догонял. Тогда он еще ускорил шаг, потом почти побежал, наконец обнаружив, что женщина во всех зеркалах одна и та же. И тут он неожиданно достиг конца коридора, той самой светящейся точки перспективы, и уперся в большое, кристально-чистое зеркало с этой недостижимой женщиной. Перед ним была Ли́ка, его бывшая жена, которую он не видел много лет и на которую теперь, боясь пошевелиться, смотрел.

Не веря себе, Зорин протянул руку и коснулся стекла. Это будто послужило сигналом, и сцена, открывшаяся в зеркале, ожила и стала объемной, реальной — реальнее, чем в жизни, если такое может быть даже в таинственной «Комнате смеха». Боясь смотреть, Зорин крепко сжал веки, в надежде, что изображение пропадет и не нужно будет будоражить старое, давно, как ему казалось, завершенное. Но это не помогло: действие в зеркале медленно начало разворачиваться, и Зорин понял, что ему не убежать, во-первых, потому что он сам этого не хочет, а во-вторых, потому что некуда – впереди был тупик, а вокруг никаких дверей больше не было заметно.

И тут Зорин понял, что перед ним, словно на сцене, вечер того самого субботнего дня, когда в последний раз был с Ликой, и

он видит его точно таким, каким помнит. До сих пор, оказывается, помнит.

Она сидела на краешке стула, сторбившись, небрежно причесанная, будто уставшая, только пальцы энергично и сильно терли виски. Плаща она не сняла, газовый шарфик, купленный давным-давно в комиссионке, некрасиво выбивался из-под воротника. Она перестала тереть виски, начала растягивать и мять кожаные перчатки, поглядывая то вниз, то куда-то вбок, все время мимо Зорина. Бросила перчатки на пол, побелевшим кулачком несколько раз стукнула по коленке и закрыла руками лицо, опустив голову, замерев так.

Сам Зорин в зеркале стоял спиной к себе настоящему, и эта спина казалась ему отвратительной, хотя ничего такого в ней не было, спина как спина. Лица подняла голову, руки безвольно упали вниз, и Зорин крупно увидел ее зареванное лицо. Странно, не помнил, чтобы она тогда плакала, он вообще никогда не видел ее плачущей. Но в ее лице вдруг отразилась вся его уже почти прошедшая жизнь. Почему? Зорин никогда не считал время, проведенное рядом с Ликой, самым важным для себя, бывали годы и интереснее, и веселее, и теплее. Почему же теперь они, все эти годы, превратились в восковые глыбы и разбились о темные острые камни Паноптикума, оставляя усталому пятидесятилетнему мужчине только одну картину?..

Лица подняла голову и заговорила о чем-то, нервно жестикулируя, — он не мог слышать, о чем именно. Зорин подумал, что его в зеркале, собственно, и нет, есть только спина, плоская и, как уже было сказано, отвратительная. Неживая. Или весь он был неживой тогда, не только спина? Или не живой сейчас?.. Зорин понял, что растекается, словно снеговик в первый теплый день зимы, оползает, теряет форму, а заодно и остатки содержания. А поскольку он умел владеть своими эмоциями, то послал себе указание собраться и думать ясно.

Почему они расстались? Он не знал тогда, не знал и теперь, впервые за многие годы разглядывая ее неброское лицо. Однажды Лица сказала ему, он не понял, шутя или серьезно:

– Ты, Леня, человек-тупик. Выход из тебя там же, где и вход. Внутри тебя интересно, потому как не представляешь, с чем предстоит столкнуться, познаешь незнаемое, но в какой-то момент ста-

новится страшно: познание бесконечно, а окончание жизни ближе и ближе. Чувствуешь, что надо бежать, что всему есть предел, но ведь выход и есть вход... Вот и не знаю, как жить с этим софизмом, а избавиться от него не могу, – добавила она, улыбнувшись.

Зорин вспомнил эти ее слова и понял, что поэтому, наверное, они и разошлись: она всегда требовала чуть больше того, что есть. Это неправильно, надо подстраивать себя под обстоятельства и не желать лишнего, хотя кому же доподлинно известно, что лишнее, а что необходимое... Да никому, но нужны принципы, ими можно поступаться... иногда, но их надо иметь. Вот он и имеет, а необходимости идти им поперек как-то у него не возникало. Но почему же тогда он думает о ней?..

Он взглянул последний раз на Ликино лицо, мысленно позвал ее, надеясь, что, быть может, она выйдет хоть на секунду, ведь вышел же Косачев. Но она не вышла, потому, может быть, что никогда не пила крепленых вин, зато всегда знала что делает, и не умела импровизировать.

Лица, поднявшись, подошла к Зорину – тому, зазеркальному, и вся она стала ближе к... к кому? К Зорину в зеркале или к тому Зорину, который смотрел на свою собственную спину?..

Терпение кончилось. Зорин сделал шаг вперед, ударил по стеклу как раз в то место, где была спина, ушиб руку. Но в изображении ничего не изменилось, только спина Зорина в зеркале закрыла фигуру Лики так, что он совсем перестал видеть ее.

Зорин вдруг понял, что эта сцена, с участием всех троих, безобразна, что он просто обязан прервать ее. Накатила необъяснимая паника; казалось, что, заглянув во множество зеркал, пора бы привыкнуть к невероятному, но... Зорин беспомощно оглянулся и вдруг увидел здоровенный молоток, почти кувалду, лежавшую в углу. Он схватился за истертую до блеска ручку, крепко охватил ее ладонью. Поглядел в зеркало – стоявший там спиной Зорин совсем закрыл Лику, махал руками, будто сердясь, на секунду посмотрел через плечо, и Зорин здешний увидел горящие ненавистью глаза и искаженный в злобной улыбке рот. Тогда он, крепко вцепившись пальцами в скользкую рукоятку молотка, сильно ударил по стеклу. Последнее, что Зорин отчетливо увидел, это лицо Лики, вдруг показавшееся из-за спины в зеркале...

Стекло разбилось ненатурально: сначала покрылось тонкой сеточкой, потом вдруг осыпалось мельчайшей стеклянной трухой, улегшейся на полу двумя горками идеальной формы. Зорин, отбросив молоток в угол, ощутил внезапное облегчение. Ему показалось, что он совершил самый правильный и важный поступок в своей жизни, прервав возмутительную сцену. Мешало лишь смутное ощущение, что все произошло не совсем так как следовало, ведь он целился в свою собственную спину, закрывающую, защищающую Лику, но зеркальный Зорин в последний момент, наверное, сделал шаг в сторону, иначе почему тогда Ликино лицо стало видно, да еще так близко... Но все уже произошло. На месте разбитого зеркала белела знакомая дверь с привычными табличками «Выход» и «Входа нет». И тут же Зорин отчетливо вспомнил записанное в тетради последнее желание: «Хочу вернуть Лику; как угодно, но хочу», – написал он. Но теперь это показалось ему ненужным, пустым и нелепым. Вернуть Лику... Зачем она ему? И так хорошо, отлично даже, вон какую долгую жизнь предсказали. Голландец этот, правда... но мир быстро меняется... может, это будет естественным и обыденным к тому времени. Но он твердо решил Лике сегодня же позвонить, сказать ей что-нибудь простое, но важное, чего не смог озвучить за все их годы, может, попросить прощения... хотя неправы в те давние времена были оба поровну. Еще он подумал, что нельзя вот так всю жизнь провести на расстоянии, ведь сколько лет были не чужие...

С этой мыслью он и толкнул дверь, оказавшись в знакомом предбаннике.

Окошечко кассы было плотно закрыто. Ольга Витальевна сидела со спицами в руках, опустив голову к вязанию и, кажется, задумывая. Зорин подошел ближе; учительница подняла голову на шум, и Зорин поразился произошедшей в ней перемене: перед ним сидела семидесятилетняя старуха, в облике которой лишь отдаленно угадывались черты когда-то молодой учительницы.

— А, вот и ты, Леня, — приветливо сказала она. — Шел все прямо, никуда не сворачивал, решил не любопытствовать и не прятаться. Кроме тебя трое моих учеников тут побывали, ни один не пришел назад. Нашли себе укрытие. Я и тебя не ожидала увидеть, ты в четвертом классе самым пытливым был, все иные тропинки искал, хотя в те времена это не поощрялось...

– А что с вами, Ольга Витальевна? – изумленно спросил Зорин.
– Почему...

– Что такое? – испуганно спросила учительница и быстро вытаскала из сумочки зеркало. – Тушь потекла? – Вздохнула облегченно:
– Ах, это... Это, Леня, случается. Нам всем свойственно меняться, просто у разных людей это происходит по-разному. Комната смеха почему-то обладает способностью нарушать последовательность изменений. И не разберешь что и когда...

– Ольга Витальевна, – Зорин вдруг снова почувствовал себя солидным доктором и тоном заговорил соответствующим, – у меня к вам только один вопрос. Скажите, а что все это значит?

– Что – все?

Зорин почувствовал раздражение.

– Ну, жизнь в зеркалах, комната последнего желания, остальное прочее...

– Ты видел в зеркалах жизнь? Правда? Как интересно... Вероятно, ты ошибся, в зеркалах не бывает жизни, ты же материалист, должен понимать. А комната последнего желания – ее недавно оборудовали, чтобы интереснее было. У нас администрация инициативная. Я, как всякая женщина, пожелала вечной молодости, посчитав, что если она будет у меня, то ни в каких желаниях потом надобности не возникнет. Что удивительно, я ошиблась, и меня втащило в круг повторяющихся событий. Работаю билетершей... и буду работать довольно долго, потому что если для меня на двери написано «Входа нет», я туда войти не смогу, ну вот никак. Кроме того, последнее желание бывает только одно. Как правило.

– Как правило?..

– Да, как правило. Но всегда имеются более или менее частые исключения... вспомни, про исключения мы проходили в четвертом классе и по русскому языку, и по математике.

– Ну а зеркала-то, зеркала?.. – раздражение Зорина нарастало.

– А что зеркала? Обычное дело. Никому не известно, что они отражают. И отражают ли вообще что-нибудь. Но если все-таки отражают, в каком из них, кривом, прямом, а может, в ряби озера или в стоячей луже все точно? Может, нигде, а может, в каждом отражении. Сложно все, Леня... А ведь есть еще запахи, звуки, прикосновения, слова, наконец... Пойдем-ка лучше с нами ужинать, Елизавета

приготовила. Она шепнула мне, что ты ей понравился. Представительный мужчина какой, сказала.

– Спасибо, Ольга Витальевна. Домой я пойду. Вот жене бывшей хочю позвонить, десять лет не виделись.

– А вот это зря! – голос учительницы посуровел. – Ее теперь на свете-то и нет... вон к Елизавете бы подкатил, она девка правильная, на выданье, – речь учительницы вдруг изменилась, она заговорила словно деревенская старуха.

– Почему это Лики на свете нет, что вы такое говорите?.. – удивился Зорин.

– А вот то и говорю, – учительница по-старушечьи поджала губы. – Ты ее сам и пришил молотком, аккурат в лоб попал. Сам от себя защитить не смог, чуть что — цап за молоток, как анархист какой, прости господи. И зеркала нечего рушить, многим говорила: не вами поставлены, не вам и рушить. Так ведь не слушают, умные все нынче...

– Вы с ума сошли, – побелевшими губами зашептал Зорин, – я и желание загадал последнее, чтобы... чтобы она вернулась... Чего мне еще надо... один останусь, в шуршащую толпу попаду... по кругу ходить...

– Ах ты, господи! – Ольга Витальевна разошлась не на шутку. – Желание он загадал! Жди! Раньше думать надо было, а не выеживаться! Все, что есть, все не так... забыл? Отныне помнить это будешь долго, милок! Потому как вдовец ты теперь... Тебе точно Лизавета не по нраву? – тон учительницы вдруг стал противно-елейным.

Зорин не услышал ее вопроса, думая о своем. Ольга Витальевна помолчала и ворчливо продолжила:

– Вот хотела тебя покушать пригласить, а не стану. Будем вдвоем с Лизой... этот... режим питания соблюдать, а не то язва будет, как у твоей бабки чокнутой. И ты иди, коль Лизавету не хочешь. Коль нету серьезных намерений, значит и продукты на тебя переводить – баловство одно. Расход, опять же... Все. Перерыв у нас на ужин. Иди, запру за тобой, надясь шантрапу какую-то занесло, из рабочих аль кочегаров со станции, насилиу выгнали. Запираю...

Зорин вышел на улицу, спустился с крыльца избышки, постоял немного. Совсем стемнело и похолодало. «Осень скоро. Жаль. Жить бы у моря... Лику хотела, помню...»

Подул ветер, резко, будто ударил в спину. Зорин оглянулся. Увидел, что избушки на месте уже нет, есть только прежняя песочница и качели. Трава на том месте, где стояла избушка, даже не примялась, исчез и мусор. Жаль, подумал он, стоило лампу керосиновую прихватить, раритетная вещь. С другой стороны, хорош бы он был у кассы с керосиновой лампой.

Пошел мелкий колючий дождь, как и обещала «ответчица». Зорин вспомнил, что с утра ничего не ел, но в магазин идти не хотелось, да и аппетита не было никакого. Он поднял воротник спортивного костюма и двинулся к подъезду. Лифт почему-то не работал, пришлось подниматься по лестнице. Преодолев последний этаж, Зорин порылся в провисшем кармане старых штанов, достал ключи и поднял глаза.

На двери его собственной квартиры, освещенной мерцающей лампой дневного света, блестела капитальная новенькая табличка внушительного размера, на которой крупными буквами было выведено одно только слово:

«Вход».

Андрей Оболенский живет и работает в Москве. Окончил 2-й Московский медицинский институт, практикующий врач.

Пишет прозу. Имеет около сорока журнальных публикаций, в том числе в США.

Два рассказа вошли в шорт-лист Волошинского Конкурса 2014.

Призер Четвертого Конкурса им. В.Г. Короленко Санкт-Петербургского союза литераторов.

Екатерина САЛМАНОВА

МИСС ВУДКОК ИДЕТ ВА-БАНК

Секс и ложь в американском колледже

Фрагменты романа

Обвинение в изнасиловании, выдвинутое секретаршей против своего босса, высокопоставленного чиновника нью-йоркского колледжа, выглядело бы банальным, если бы не некоторые загадочные детали. Адвокат Стив Бернштейн, только что приехавший в Нью-Йорк, берется за расследование этого запутанного дела. Его карьера зависит от того, удастся ли ему спасти репутацию колледжа. В поисках нужных улик Бернштейн открывает неожиданные стороны университетской жизни, темные секреты. Обнадеживает его лишь то, что чем больше он узнает о соблазнительной секретарше, тем меньше она напоминает жертву...

Книга адресована широкому кругу читателей – как любителям жанра психологического триллера, так и тем, кому интересно заглянуть за кулисы современного университетского мира Америки. Даже тот, кто далек от связанных с этим миром проблем, найдет в романе близкие себе темы. Ведь «Мисс Вудкок идет ва-банк» – это прежде всего роман о вечных человеческих ценностях, о долге учителя перед своими учениками, о мужестве, о любви.

Роман основан на реальных событиях.

1

«Съюзан Вудкок против Логан колледжа и лично Рэймонда Кента, администратора университета».

Помощник Генерального прокурора Стив Бернштейн неохотно раскрыл лежащую перед ним толстую папку.

Дел об изнасилованиях Бернстайн не любил. Здесь редко удавалось расставить точки над «и». Улики как правило бывали лишь косвенные, свидетели давали конфликтные показания: ни на что толком не опереться, не выстроить красивой защиты. Вот нарушение трудового договора, взяточничество, несоблюдение рабочего кодекса – с этим работать гораздо приятнее.

Но Сэм именно ему решил поручить это дело. И Бернстайну, лишь недавно занявшему этот офис в центре Манхэттена, в холевой, уходящей в небо многоэтажке, ничего другого не оставалось, как засучить рукава. Ему было тридцать лет. На карте стояла его карьера.

– Сара, – Стив нажал кнопку интеркома, – логановский адвокат подтвердила встречу?

– Да, Энн Морган вас ждет, – раздался голос его секретарши. Интерком придавал голосу Сары насморочную тональность.

– Отлично.

Бернстайн отпустил кнопку. Он все еще не мог привыкнуть к тому, что секретарша принадлежит ему безраздельно. В его прежней конторе в Сент-Луисе на четверых работала одна нерасторопная, вечно сонная Таня.

Он покидал Сент-Луис с таким нетерпением, что захватил из офиса лишь свой диплом и их с Мэг свадебную фотографию, удручающе похожую на все те, что фотографии выставляют в своих витринах. И сейчас, так же как и в Сент-Луисе, это фото Мэг лишь усиливало официальную атмосферу его кабинета вместо того, чтобы ее разрядить.

Скользнув рассеянным взглядом по портрету жены в белом атласе, Бернстайн вновь обратился к иску.

«Рэймонд Кент принуждал свою подчиненную к сексуальным контактам, обещая ей взамен постоянное место в штате, а также запугивал, унижал, оскорблял физически и вербально». Судя по утверждениям ее адвокатов, эта Вудкок неоднократно направляла в администрацию Логана жалобы и «призывы о помощи». «Вместо того, чтобы наказать виновных, ответчики подвергали ее все новым издевательствам», – писали «Алиано и Слейд». «В настоящее время мисс Вудкок находится под наблюдением врача общего профиля и психотерапевта».

На интеркоме снова вспыхнула красная кнопка:

– Мистер Бернстайн, встреча с Энн Морган в пять. До Логана ехать тридцать минут. Как вы знаете, в это время уже могут быть пробки.

Взглянув на часы, Стив сдернул с кресла светло-серый пиджак. Застегнул манжеты голубой, от Brooks Brothers, рубашки. Распахнул дверь в «предбанник».

– Сара, я еду. Ты сегодня прекрасно выглядишь. И совершенно не обязательно говорить со мной так сурово.

«...Я шла по знакомым дорожкам между зданий, где провела столько дней, где встретила с вами, и вы приняли меня в свой круг, за что я останусь вам благодарной навсегда. Я смотрела на эти стены и башни, думая, какую радость дарила мне совместная с вами работа, и что мой труд для Логана, его преподавателей и студентов не был напрасен. Я шла, и огромные клены шелестели в такт моим шагам: тебя больше здесь нет, тебя больше здесь нет... Цветы азалий пронизаны были солнечным светом, вишни цвели... На тропинку у моих ног приземлилась большая черная птица. Я опустилась перед ней на колени. Птица не улетала, а смотрела на меня своими круглыми глазами, словно знала, что я прощаюсь с этим кампусом навсегда... И я подумала – вот частица души, которую я здесь оставляю, лети, живи, пой...»

– Стив Бернстайн. Вам обо мне звонили.

Дюжий охранник поднял шлагбаум, и Стив въехал на территорию кампуса.

Описание Вудкок при всей его экзальтированности было достаточно верным. Вот они, здания. Новодел, псевдоготика, но живописны и, судя по всему, функциональны. Вот так она и направлялась – от здания театра до библиотеки, мимо спортзала со стеклянным куполом над бассейном, мимо студенческой столовой – к лекционным корпусам, в одном из которых, в Беннет Холле, было ее рабочее место.

И азалии, и японские вишни, впрочем, успели уже приобрести свой нищенский, неприглядный вид. Сентябрь еще только заканчивался, но августовская засуха рано скукожила листву.

Административный корпус находился на отшибе, в отдалении от остальных зданий. Перед ним, посередине внушительной клумбы развевался высоко на флагштоке государственный флаг.

Стив предъявил удостоверение и ступил на застланную ковровой дорожкой лестницу.

Кабинет Энн Морган странно напомнил ему его собственный офис – тем же сытым казенным достатком. Весь подоконник приемной, впрочем, был заставлен цветочными горшками с разнокалиберными блюдцами. Кроме того, над столом секретарши Морган, которая его приветствовала, развернулась целая фотогалерея. По обилию снимков можно было заключить, что у секретарши – весьма многочисленная родня.

Стив успел окинуть приемную лишь беглым взглядом, поскольку тут же из двери напротив возникла женщина средних лет: круглые очки, круглый подбородок, круглые локти.

Несмотря на свою корпулентность женщина двигалась ловко и энергично.

– Как вам понравился кампус? – коротким жестом она пригласила Бернстайна к себе.

– Я был приятно удивлен, – честно признался Стив.

– Да-да. И администрация все время делает что-то для его улучшения. Построили ясли для студентов с детьми. У нас, вы знаете, таких много.

– Хорошо, что город может себе это позволить.

– Строительство – особая, «благополучная» статья бюджета.

– А это что? – Стив указал на видневшийся из окна новый оранжевый корпус.

– Это – химическая лаборатория. Открылась в прошлом году.

– В том письме, которое вы мне переслали, описание кампуса дается достаточно... живо.

Энн Морган выразительно округлила глаза и качнула пару раз головой.

– Это письмо Вудкок разослала многим сотрудникам в день окончания своего контракта. Тон... вы понимаете. Да, мы все были ее коллегами, но не более... Я, например, не знала, как реагировать на эту депешу. Мне показалось... – Морган понизила голос до конфиденциального: – что это письмо может быть вам полезным. По

крайней мере, по нему видно, что условия работы не были настолько «непереносимы», как она заявляет. Вы понимаете?

Стив неопределенно кивнул.

– Сумма, которую требуют ее адвокаты...

– Три миллиона.

Морган развела руками.

– Это дело может обернуться грандиозным скандалом не только для нас, но и для всего университета, для города, если хотите. Наше руководство в отчаянии. Конечно, у нас имеются некоторые фонды для разрешения подобных проблем... но три миллиона! То, что произошло, несколько превышает наши возможности. Да и мою компетенцию: я, знаете ли, занимаюсь урегулированием конфликтов внутренних, местных, связанных в основном с претензиями профсоюзов... Поэтому университет и решил обратиться за помощью в Канцелярию Генерального прокурора. Вы понимаете?

Стив слушал, кивал.

– Где же наш главный фигурант? – он взглянул на часы. – Опаздывает?

– Кимберли, ты напомнила доктору Кенту?

Секретарша повернулась на кресле-вертушке:

– У доктора Кента только что закончилось заседание. Он должен быть с минуты на минуту.

– Мне неудобно вас задерживать, мистер Бернстайн, но университетская жизнь, вы знаете – очень трудно соблюдать точное расписание, вечно что-то мешает.

Стив расстегнул пиджак и расположился на красном казенном диване.

– Но лекции-то у вас начинаются вовремя?

– Лекции – да. Это – конечно. Преподаватели очень стараются. Случается, конечно, что и опаздывают. Хотите чаю?

– Нет, благодарю.

Теперь и она кинула озабоченный взгляд на круглые настенные часы. Все в этом офисе состояло, казалось, из кругов и овалов.

– Сегодня раньше шести не уйдешь. Добираться придется в час пик. Вы где живете?

– В Манхэттене. В верхней части, на западе.

– Ах вот как? Мы с мужем живем в Нью-Джерси. Ездить через

мост каждый день – такая морока, вы себе не представляете. Но – что делать.

– Рэймонд Кент, – доложила Кимберли из приемной.

Стив встал навстречу высокому худощавому человеку с тонкими губами и коротко стриженными, горчичными волосами.

– Стивен Бернстайн. Помощник генерального прокурора.

Рука, которую тот протянул для пожатия, поразила Бернстайна своей изысканной формой. Длинные пальцы, сухое запястье. Пожатый, эта рука и была самой выразительной чертой Кента. Тем, что сразу бросалось в глаза.

В остальном: костюм куплен в Мэйсиз (или вроде того). Заляпанная грязью ботинки; ступает, чуть припадая на левую ногу. Взгляд умный, настороженный, но настороженность пытается скрыть.

– Рад познакомиться. Рэй Кент. Очень жаль, что пришлось вас беспокоить.

– Ваша должность – заведующий учебно-академическими программами – я правильно формулирую?

– Да.

– В Логане вы?..

– Двадцать пять лет.

– Доктор Кент один из наших самых опытных сотрудников, – вставила Энн Морган.

– К судебной ответственности не привлекались. Служебных выговоров не имели.

– Нет.

Кент отвечал с готовностью, хранил свое дружелюбное выражение.

– Вы знакомы с предъявленными вам обвинениями?

– Да, я получил копию иска. Вообразите себе, такая нелепица оказаться втянутым в эту тяжбу. Просто абсурд какой-то.

– Этот абсурд может стоить колледжу изрядной суммы, – сдержанно ответил Бернстайн. – Надеюсь, вы понимаете серьезность ситуации.

– Еще как!

– Университет обвиняется в дискриминации, а вы – в сексуальных домогательствах и многочисленных изнасилованиях своей се-

кретарши. Вы осознаете, что это значит? Как для университета, так и для вас лично?

– Это абсурд, повторяю вам...

Стив жестом призвал его замолчать и раскрыл дело.

– «Желанная Съюзи, я опять видел тебя во сне, и мое тело отвечало на этот сон, и ты во сне поддавалась моей твердости и была прекрасна», – процитировал он. – Вы писали?

Тот не отвечал, казалось, поставленный в тупик самой нелепостью такого предположения.

Стив продолжил:

– «Как бы я хотел отшлепать тебя за непослушание...»

Он хотел увидеть его реакцию.

– Разумеется, нет, – прервал Кент. Его щеки покрылись слабым румянцем.

– Ладно. А это: «Единственное, что я могу обещать, это мое желание постоянно держать тебя возле себя, обнимать тебя и ласкать. Раскрыть навстречу тебе мое сердце. Ты знаешь, как я стремлюсь удержать тебя рядом постоянным положением в Логане... В конце концов, если я не оправдаю твоих ожиданий как любовник, у тебя останется эта работа».

Стив оторвался от чтения и снова посмотрел на своего подзащитного.

– Писали?

– Повторяю вам...

– Если эти послания сфабрикованы, как вы объясните тогда, что все они были отправлены с вашего аккаунта? Из вашей личной почты?

– Не знаю.

– Но вы обещали ей штатную единицу?

– Мне дали понять, что такая единица будет.

– Вудкок утверждает, что вы насильовали ее в машине.

Кент кашлянул, вытер руки бумажным платком.

– Все ее утверждения ложны.

– Допустим. Но вы подвозили ее до метро?

– Да.

– Сколько раз?

– Точно не помню. Довольно часто. Она сама об этом просила.

– Понятно. Давали ей деньги в долг?

Глаза его теперь откровенно выдавали тревогу.

– Несколько раз, когда ее зарплату задерживали...

– Сколько?

– Сто... двести долларов... Я не помню.

Улыбка наконец сползла с его лица.

Стив смотрел на него сверху вниз, что было возможно только потому, что Кент, более высокий чем он, продолжал сидеть, словно его пригвоздили.

– Хорошо, доктор Кент. Для начала напишите мне свою версию событий. Мне нужны даты, детали, все, что свидетельствовало бы в вашу пользу. Напрягите как следует память. Старайтесь не поддаваться эмоциям. Обвинения достаточно серьезны. Мне нужны факты. Как можно больше фактов, противоречащих всему, что рассказывает Вудкок.

Дверь за Кентом закрылась.

– Каково ваше первое впечатление? – спросила Энн Морган после короткой паузы, словно выжидая, чтобы Кент отошел по коридору на достаточное расстояние.

Стив помолчал, глядя в окно на новый оранжевый корпус. Мимо него тянулась из детского центра пестрой гусеницей малышня. Гусеница то растягивалась, то сокращалась без всякого ритма, словно была навеселе.

Люди всегда хотели получить от него ответ – определенный и сразу. И, как всегда, он предпочел уйти от чего-либо определенного.

– Есть над чем поработать.

2

«Вы ей писали?»

Нырнув под стрелку шлагбаума, Кент выехал с университетской парковки.

«Приглашали в ресторан за пределами кампуса?»

Ушлый «Фордик» подрезал его, вынырнув неизвестно откуда, и Кент что есть силы нажал на гудок.

Дома темного кирпича с черными решетками, все как один. Светофор. Внезапно из пустоты на шоссе материализовалась жен-

щина с ребенком. У «Доджа» взвизгнули тормоза, Кента качнуло вперед, так что ремень впился в плечо. Женщина отпрянула, закричала. Неужели он проехал на красный?!

Когда его минивэн встал наконец подле ухоженной «Субару» жены, лоб Кента был весь в испарине. Выходя, он дернул опять боковую дверь «Доджа». Тщетно.

Просторный холл из поддельного мрамора.

– Привет, Миранда. Почты нет?

Затянутый в китель бюст Миранды налегает на стойку.

– Ваша жена взяла.

Войдя в лифт, Кент придержал дверь тучной женщине в резиновых сапогах.

– Благослови вас Бог, – женщина тяжело дышала, сжимая в руках гроздья мешков. – Подумайте, снова дождь!

Дождь? Он и не заметил.

Захлопнув за собой дверь в квартиру, Кент постоял, не выпуская портфеля из рук. Всю дорогу ему казалось, что он от кого-то бежит, и только сейчас почувствовал, что может наконец перевести дух.

– Ты? – донесся из кухни глуховатый голос жены. – Как ты долго!

Он медленно стянул мокрый плащ.

– В «Додже» опять дверь заклинило.

– Сдай наконец в ремонт.

Она вышла, вытирая мокрые руки.

– Ничего, само как-нибудь растрясется.

– Само ничего никогда не растрясется. У тебя неприятности? – спросила жена, видя, что Рэй направился напрямиком к мини-бару.

– Да так... все то же.

– Что «то же»?

Под неодобрительным взглядом Крис Рэй налил себе виски.

– С утра приходили из мэрии. Трое из пятерых стажеров, что мы к ним направили, пишут так безграмотно, что чиновники не понимают ни служебных записок, ни уведомлений, ни рапортов. Спрашивали, какая у нас процедура возвращения практикантов.

Крис отвернулась. Ее профиль, как и лет двадцать назад, все так же походил на камею: эллинский нос, волосы высоко подняты, лоб открыт.

– Что еще тебе рассказать? – спросил он. – Про то, что ассистентка Эммы опять рыдала у меня все утро, потому что та обещала ее выгнать? Про совещание у Дэмпси, где все наперебой вопили и никто никого не слушал?

– Какая же это новость...

– Естественно. Для тебя новостей нет.

Рэй медленно допил то, что оставалось в стакане, и налил еще.

– Потом разговор с адвокатом.

– С Морган?

– Нет. То есть Морган там тоже была. С другим, Бернштейном, из офиса Генерального прокурора.

– Я не знала, что встреча сегодня.

– Я не думал, что тебе это важно.

– Ну, разумеется. Что он за тип?

– Деловитый.

– И что?

– Ничего. Будет «составлять мой портрет». Опрашивать всех, кто меня знает.

– Понятно, – сказала она. – А портрет твоей секретарши? Он тоже будет его «составлять»?

Рэй не успел ответить: в кармане ожил мобильник.

– Да. Собрание? Как всегда... бардак, но что-то же надо делать.

– Рэй заходил от стены к стене. – Что? Что ты сказала? Когда?..

Пока он слушал, Крис сидела, быстро покачивая узкой ступней. Смотрела как за большим черным окном двигался вверх по реке сотканый из огоньков силуэт баржи.

– Эмма? – спросила, едва Рэй положил трубку.

– Да. У Тины Дэвидсон повторный инфаркт.

– Боже, когда? – повторила Крис вслед за ним.

Почему всегда так важно знать время и место?

– Сегодня утром. Ее увезли в Mount Sinai.

– Поедешь? – И ответила за него, не дожидаясь: – Поедешь...

Кент направился в кабинет.

– Будешь еще работать? – спросила жена ему вслед.

– Бернштейн попросил написать официальное опровержение.

Надо хотя бы начать.

Крис стояла, накручивая на палец выбившуюся светлую прядь.

- Что?
- Да так. Ничего.
- Не волнуйся. – Он выдавил на лице улыбку. – Все образуется, вот увидишь. Для этого Бернстайна и наняли.
- Я знаю. Спокойной ночи.
- Спокойной ночи, Крис.

Кабинетом Кенту служила самая маленькая комната в их квартире с двумя спальнями, даже не комната, а тупичок, который Кент сам отгородил фанерной стеной от гостиной. Узкий стол был завален бумагами, папками всех цветов и размеров. На полках – стопки журналов и книг. Оставшееся место занимали коробки с карандашами и скрепками, блокноты, сумки из дешевой клеенки, аляповатые кружки – все то, чем неизменно наделяют участников научных семинаров и конференций.

Почту Крис сложила на единственный незанятый пятак: стул. Сверху Рэй увидел большой лиловый конверт: приглашение на ежегодный благотворительный банкет, который Логан устраивал для администрации среднего и высшего эшелона. Билет, стоивший полтысячи долларов, Кент бросил в стопку предназначенных к оплате счетов.

Глаза у него пощипывало. Лечь бы сейчас. Ни о чем больше не думать. Чтобы кончился наконец этот день.

Он выбросил нераспечатанный почтовый мусор в корзину и сел. Холодно ожил экран.

За двадцать лет, проведенные в колледже, Кент набил руку на составлении разного рода бумаг. Но документ, за который ему предстояло взяться, являл для него нечто новое. Как озаглавить его? «Опровержение?» Опровержение чего?

«Я никогда и ни под каким предлогом не приглашал Вудкок домой...» – начал он было писать и остановился. Нет. Так не годится.

Посидел, подперев подбородок, уставившись в монитор.

Стер и написал заголовок: «Вудкок: исполнение служебных обязанностей и общая манера поведения на служебном месте».

Постепенно профессионал брал в нем верх над подследственным, находящимся – как это сформулировал сегодня Бернстайн? – в состоянии эмоционального стресса.

«Последние пять лет я, Реймонд Кент, занимаю в Логан колледже должность директора академических программ. Вудкок приступила к работе 21-го апреля 20... в качестве моего исполнительного секретаря».

Перед глазами мелькнули длинные рыжие волосы, округлые белые плечи, что-то пестрое, взлетающее при каждом шаге.

«Вудкок начала работу на временной ставке. Создать эту ставку с адекватной зарплатой позволило соединение двух других (он вписал их названия), частичных. Эту временную комбинированную ставку, согласно моему пониманию, предполагалось в будущем превратить в полноценную штатную единицу. О том, что такая единица будет мне предоставлена, между мной и администрацией Логана существовала крепкая договоренность...»

Кент откинулся в кресле. Так ли это?

Он напряг память, пытаясь во всех подробностях восстановить тот разговор с Пересом.

Разговор состоялся вслед за первым инфарктом Тины, на другой день после того как та, прямо у Кента в офисе, внезапно пожаловалась на сильную боль в груди и отключилась.

В ту осень это был один из последних действительно жарких дней. Реймонд помнил, как шел через кампус, закатав рукава рубашки. Оставил в офисе пиджак, спохватился, когда уже поздно было, да и потому только, что в Кинг Холле работали со звериной силой кондиционеры.

Потом, все время разговора с Фернандо он чувствовал, как рубашка холодно липла к спине.

– Очередной кризис? – голос президента прозвучал озабоченно.

По дружбе он принял Кента по первой же просьбе, в обход всех правил и сейчас нет-нет да и поглядывал на часы.

– У Тины инфаркт. Ее стабилизировали, но состояние очень тяжелое.

Перес – невысокий, коренастый, одетый по всей форме в синий двубортный костюм, нахмурился.

– Фернандо, мне одному не потянуть базу данных.

– Ты же знаешь, это наш приоритетный проект.

– Знаю. Но на мне академические сетки, сметы, курсы для молодых лекторов.

Перес положил руку ему на плечо:

– Да, я в курсе... Но сам знаешь, бюджет опять в минусе. Если сможешь найти почасовика...

В Логане почасовики везли на себе лошадиную долю работ. Получали ровно половину того, что штатники. Халтурили, мотались из университета в университет, чтобы как-то прожить, набирали бессчетное количество лекций.

– Нет, Фернандо, почасовику здесь не справиться.

Сказал он это, или только подумал? Вероятно, сказал, потому что тогда Перес ему и ответил: «Ладно, посмотрим, что можно сделать». Кент хорошо это помнил.

– Как дочь, жена? – кажется, спросил его еще тогда Перес. – Глядишь, и лето прошло. Мы с семьей провели десять дней у родни, в Сан-Хуане. А ты, как обычно, мотался на север? У тебя ведь дача где-то в Мейне? Не могу, хоть убей, понять это пристрастие к высоким широтам...

Он помнил, как был благодарен тогда Фернандо за эту неофициальную ноту в конце разговора. И все же важнее всего сейчас были эти слова: «можно сделать». Кент мог бы поклясться, что Перес их произнес. Да и мог ли Фернандо сказать что-то другое? Они с Кентом пришли в Логан почти в одно время. За двадцать лет, что пролетели с тех пор, вице-президенты, деканы, мелкая административная сошка сменяли друг друга, используя маленький Логан как своеобразный трамплин. Фернандо и Рэй оставались, вместе пуд соли съели. Знали, что чего стоит.

Вот если бы еще найти какое-нибудь письменное подтверждение, официальное обязательство, обещание...

3

Вернувшись домой, Бернстайн застал жену полулежащей на диване в халате. Ее короткие пальцы с маленькими ногтями лениво перебирали клавиши «Apple».

Углы рта Мэг были опущены. В этом изгибе Бернстайн неприятно угадал черты своей тещи, которую не любил.

– Что-то не так?

– Ничего. – Мэг отвела челку со лба. – Нездоровится.

– Бедняга.

– Зато у тебя, я вижу, все хорошо.

Его жена опять находилась не в духе – какой он нередко видел ее в последнее время.

Стив собрал со стола невымытые чашки с тарелками, составил в посудомойку.

– Что все-таки случилось?

– Ничего особенного. Просто новый отказ. Теперь – из «Саймон маркетинга». У этих хотя бы хватило вежливости сообщить мне, что я им не подхожу.

– Вот как? Я думал, у тебя там все отлично прошло.

– Я тоже так думала.

Стив стянул галстук, бросил на кресло.

– Они же наговорили тебе комплиментов.

– Не разбрасывай свои вещи, пожалуйста.

– Очень расстроена, дуся?

Он вымыл руки, бросил в корзину голубую рубашку, обнажив узкую, впалую грудь.

– Что за дурацкое слово «дуся»? – послышался из гостиной голос Мэг. – Ты же знаешь, я его не выношу.

Стив достал из буфета бутылку «Бордо».

– Не расстраивайся. Кто ищет – тот найдет, вот увидишь.

Мэг провела пальцем по кромке бокала:

– Мы покупали их в Сент-Луисе, помнишь? В том большом магазине...

Магазин находился через дорогу от офиса, где работала начальником отдела маркетинга Мэг.

– Не бери в голову. Не такая уж это фирма, «Саймон маркетинг».

– Не такая. Просто я вот уже три месяца ничего не могу найти. Это уже четвертое собеседование, четвертый отказ. – Мэг поставила вино обратно на стол, так и не прикоснувшись. – До этого был «Гилберт Консалтинг.» Я уже начинаю думать, что это со мной что-то не так.

– Разумеется, с тобой все нормально. Ты потрясающий специалист. Но чтобы найти что-то стоящее, нужно время. Это же Нью-Йорк, Мэг. Здесь правила жестче. – Он взял ее за руки, заставил выпить вино. – Ну а теперь – как насчет ужина в «Скарапелли»?

В ресторане Стив и Мэг привычно окунулись в мягкий полумрак, теплый чесночно-томатный запах, нежное позвякивание приборов.

Они открыли для себя это место случайно, едва перебравшись в «Big Apple». Мэг нравилась тяжелая деревянная мебель и абстракции, необычно оживлявшие стены; Стиву – rigatoni под водочным соусом. Приятным сюрпризом для обоих оказалось пианино, спрятанное в глубине, на котором ссутуленный тапер отрешенно наигрывал мелодии прошлого века.

– «I have got the world on a string...» Как там дальше? – Стив развернул накрахмаленную салфетку.

Мэг пожалла обтянутыми черным кашемиром плечами.

– Я, кстати, с утра не ел. – Стив старался не обращать внимания на ее кислый вид. – Занимался общественным просвещением. Мотался в колледж в Бронксе.

Ему хотелось поговорить о сегодняшнем дне, о начатом новом деле.

– Какой еще колледж? – вяло спросила Мэг.

– Логан. Секретарша подала иск. Заявляет, что ее принуждал к сожительству босс.

– Ну и что?

– Видел его сегодня. Преподаватель в прошлом, директор каких-то там программ, словом, идеальный послужной список. Нервный, задерганный, но улыбается, даже слишком. Говорит книжными фразами. И руки у него, знаешь... – Стив кивнул в сторону сцены: – Ему бы на пианино играть.

– А вместо этого он лапал свою секретаршу.

Бернстайн разломил теплую булочку.

– Колледж обвиняют в бездействии. Дело было бы довольно банальным, не обладай истица определенным литературным талантом. Придется попотеть, доказывая, что ее рассказы – весьма цветистые, кстати – продиктованы лишь гиперактивным воображением. Пока велел этому Кенту собрать всю свою служебную переписку, все ведомости, платежки...

– Я вот все думаю, было ли это правильное решение, – внезапно перебила Мэг.

– Что? – не понял Бернстайн.

– Наш переезд.

– Какой переезд?

– Я не знаю, правильно ли мы сделали, что уехали из Сент-Луиса, – раздельно повторила его жена.

– Вот как? Это уже что-то новое. – Он почувствовал, как в нем поднимается раздражение. – Ты что же, не хотела в Нью-Йорк?

– Естественно, я хотела!

– Тогда в чем же дело?

– Востребованность и перспективы. Возможность делать то, что умеешь, – упрямо повторила она. – Не только у тебя есть призвание, Стив.

– Мэг, говорю тебе, наберись терпения.

– Я знаю все, что ты скажешь.

– Разве ты не хотела стабильности? Работой мы теперь обеспечены до конца жизни.

– Ты обеспечен, – парировала она.

– Вспомни, я ни к чему тебя не принуждал. – Бернстайн уже едва сдерживался. – Мы обсудили, ты согласилась.

Она опустила голову совсем низко; под упавшей челкой он не видел больше ее глаз, только упрямо сжатые губы.

– Тебе очень идет этот свитер, – сделав над собой усилие, мягко произнес Бернстайн, накрывая ее руку своей.

– Стив... Звонил Майкл, мой двоюродный брат. Ты его должен помнить по Филадельфии.

– Разумеется, помню. Забияка, тиранит свою затюканную жену.

– Прекрати. – Мэг высвободила руку. – Их новый отдел в GSK ищет маркетингового консультанта.

– Вот как? Фармацевтическая фирма? Британская, кажется?

– С отделением в Филадельфии.

– Неплохая компания. Жаль, что они там, а ты здесь.

Маленькие глаза под челкой блеснули. Крепкий подбородок приподнялся.

– Да, жаль.

– Ничего, Мэг, не расстраивайся. – Он поднял бокал: – За тебя. За наш дом. За будущее.

4

Стоя у окна, Крис Кент смотрела на реку. Туман придавал Гудзону матовый желтоватый оттенок. Непонятно было, движется течение вниз или вверх, повинаясь приливу. В доме было тихо: Рэй умчался ни свет ни заря на работу.

Она глотнула остывший кофе.

«А что если это все-таки правда? Можно ли ручаться за кого-либо целиком? Даже за человека, с которым прожил вдвоем двадцать лет? Как мерзко. Ты дрянь, Крис, ты – гадина. Но если даже в тебе как черви шевелятся подобные мысли, то что говорить о других? А Лиз? Разве нет этих мыслей у нее? Дочь как подменили. Молчит, взгляд беспокойный, потерянный, словно что-то ищет, чего-то боится. Что делать, что?..»

Крис одевалась медленно: чулки весят несколько фунтов, блузка давит на плечи, узел волос на макушке тяжелый, тянет голову вниз.

И все-таки надо поторопиться.

На север машин шло мало, в этот час большинство еще двигалось в город, на юг. На парковке возле музея пахло мокрой землей, ветер доносил слабый запах реки. Мягкий камень ступеней был стерт, продавлен множеством ног.

В сумрачном мраморном холле Крис увидела Фила. Тот стоял большой, расплывшийся.

– Привет, Фил.

– Уф... – Фил снял фуражку, промокнул лоб. – Фил младший всю ночь жизни давал. Орал – хоть святых выноси. Лихорадка вроде.

– Говорят со вторым легче, чем с первым.

– Только не с этим, это уж точно. Лейла к врачу его повезла. Я старшего в школу. Только это уж наверняка – если один чего подхватит, второй враз за ним. – Фил помотал бычьей головой. – Дженет тебя искала.

– Зачем?

– Откуда мне знать? Что-то там с группами снова напутали.

Из кабинета Дженет – бывшей лакейской – было видно, как возле теплиц Кэвин и Соня пересаживали что-то колючее в большие горшки.

– Беда прямо! – раскрасневшаяся Дженет ткнула пальцем в экскурсионную разрядку. – Группа на четыре часа словно с неба свалилась. Я бы вызвала Джоша, но он как назло уехал.

– Нет, Дженет. И не проси. Дочь приезжает.

– Крис! – начальница молитвенно сложила руки. – Я сама мать. Все понимаю. Но ситуация совершенно безвыходная.

Из холла донеслось шарканье ног по мрамору и приглушенный гул голосов. Кристина глянула в зеркало. Поправила волосы и, так ничего и не ответив Дженет, быстрым шагом вышла навстречу прибывшим.

Шестеро пожилых дам в кроссовках и два джентльмена, струсившись у фонтана, разглядывали группу танцующих купидонов.

– Добро пожаловать в особняк Соломона Бека. Мы находимся в главном холле... – Начав говорить, Крис как всегда почувствовала, что все прочее отступает назад, будто покрывается дымкой. – Именно здесь хозяин обычно встречает гостей-банкиров, политиков, первых людей Нью-Йорка.

Поднимаясь по лестнице, эти посетители – как и сотни до них – деликатно не решались касаться витых с позолотой перил.

– Вот гостиная. Обстановка продумана хозяином до мельчайших деталей. Его страсть – старинная бронза. Возможно, он также хочет показать собравшимся свое последнее приобретение – две китайские вазы, сделавшие сюда путь из Китая через Европу. Его гости, такие же как и он, филантропы и меценаты, смогут их по достоинству оценить.

Из гостиной в столовую они проходят сквозь картинную галерею.

– Сын хозяина, Эндрю, как и отец, страстный коллекционер. Его, впрочем, больше интересует живопись, полотна европейских художников. Эндрю – человек взрывной, темпераментный. Его отец – наоборот, всегда отлично владеет собой, дела ведет продуманно, взвешенно. Они дополняют друг друга как половинки единого целого.

В столовой при виде посуды группа слегка оживляется. Оживление сохраняется и на третьем этаже, пока рассматривают ванны и спальни.

– На этой фотографии – сын перед отъездом в Европу в 1917 году. На бюро под стеклом – письмо отцу с фронта: «Папа, я часто

думаю о том, как приеду на Новый год, о нашем доме. Звонил ли Агастус? Он обещал мне Тернера, но война все перевернула вверх дном...»

После гибели сына званые обеды в особняке прекращаются. Сам хозяин теперь принимает пищу в буфетной, один. Часто еду уносят нетронутой. Соломон Бек винит себя в том, что не уберет своего мальчика...

Иногда она проговаривает текст как машина.

Иногда все вдруг видится заново, словно впервые. И маленький овальный стол, и пожелтевший листок. В последнее время Кристине кажется, что в этом чужом жилище она «дома» больше, чем у себя в «гудзонской» квартире.

Вошла, запыхавшись, и сразу увидела: куртка дочки на вешалке.

– Здравствуй, ребенок. – Обняла ее, поцеловала. Неужели Лиз еще похудела? Все ребра можно пересчитать. Носик остренький, си-нева под глазами.

– Здравствуй, мама. Что там у вас снова случилось?

Рэй в костюме, даже галстук не успел снять – значит, тоже только вошел.

– Дженет напутала опять с группами. – Крис с облегчением скинула «шпильки». – Пришлось брать последнюю, на четыре часа. И Джош как назло на озеро с палаткой уехал.

– Джош – это ваш хиппи?

– Джош – студент-аспирант. Подрабатывает. Ты голодная?

– Нет...

Накрыли на стол, достали любимую глиняную посуду.

– Я и забыла, как здесь на верхотуре ветер воет, – говорит Лиз.

– Как там у вас в общежитии? Тепло, чисто?

– Не беспокойся ни о чем, мама.

– Как девочки?

– Нормально.

– Что твои курсы? – спрашивает Рэй. – Тоже можно не волноваться?

– По картографии курс скучный, – отвечает дочь заученно, как по учебнику. – Но сам препод не злостный, всем ставит пятерки, безотносительно.

– А что ваш Гарт? Все свирепствует?

– Как всегда.

– И по-прежнему тебе нравится?

Лиз неопределенно пожала плечами.

– Как подруга твоя, гимнастка? – Кристина пытается улыбнуться, поймать ее взгляд.

– Аманда? Бегает по утрам.

– А ты?

– Я – нет.

– А твой бойфренд, – Рэй старается попасть в тон жене. – Энтони, кажется?

– Что – Энтони?

– Да нет, ничего. Честолюбивый парень. Неглупый.

– А отца могут уволить? – вдруг спрашивает Элизабет, обращаясь к матери.

– Разумеется, нет, – опережает Кристину Рэй. – Почему ты спрашиваешь? Из госуниверситета так просто не увольняют. Можете жить спокойно.

После ужина Лиз – шасть в свою бывшую комнату.

Рэй едва успел манатки забрать: компьютер, белье. Диван разложил в гостиной, бросил туда одеяло, подушку.

Крис в спальне легла. Хотя Крис в спальне давно одна, ложится всегда на своей стороне как когда-то. Занимает ровно свою половину.

В гостиной свет погас около двух. Теперь почти каждую ночь так. Сидит, пишет то, что называет «опровержением». Господи, что он там пишет?

В три часа Крис встала, налила на кухне воды.

В соседнем корпусе светится только одно окно. Зато луна над крышей огромная, белая.

...Лиз об Энтони толком ничего не сказала – перевела разговор. Напрягалась, когда Рэй спросил. Что там у них происходит? Не очень-то Крис нравится этот Энтони. Да, честолюбивый, неглупый. И все вроде гладко, и воспитание, и манеры. Но инстинкт подсказывает – не то.

Кристина поежилась, запахнула халат.

Возле окна на стене – сделанный Рэем когда-то фотоколлаж: Лиз, мать Кристины и сама Крис. Крис и мать на фото – как две сестры. Лиз тоже – словно сестра, только помладше. Получается – будто все они одного возраста. Хотя когда Крис и Рэй поженились, матери Кристины уже семь лет как не было.

Отец, литовец, у них на свадьбе напился. А Рэй все равно: «Нельзя оставлять Густава одного. Будет жить с нами». Крис в ту минуту была ему благодарна. Зато потом, с рождением Лиз, с той же силой все прокляла. Эти запои – хватала ребенка в охапку, и – из дома, только чтобы девочка не видела этих налившихся кровью глаз, не слышала этой бессвязной речи.

Как-то вернулись – посуда вся перебита, Рэй собирает осколки.

– Где он?

– Спит.

– Как проснется, пусть идет вон из квартиры.

– Крис... остынь. Куда он пойдет?

Лиз была впечатлительным ребенком, с «подвижной психикой», как говорили врачи. Тут только гляди. Но смогла, справилась – запоев деда Лиз почти не помнила, в памяти осталось лишь то, как тот мастерил ей кораблики из спичечных коробков, как рассказывал сказки на ночь. Рассказывал по-литовски, и она понимала.

Крис спросила ее потом, много после:

– Ты совсем забыла литовский?

Смерти деда Лиз тоже не помнила. Крис увезла Лиз к знакомой, приехала за ней через несколько дней, после кладбища.

Все сделала, все сумела.

А вот теперь, похоже, – не знает, что происходит с девочкой. Скорее догадывается – возникли проблемы с бойфрендом.

Темно. На реке спит, подсвеченная огоньками, баржа с буксиром. Сколько же силы нужно, чтобы толкать этакое вверх по течению!

В тумбочке в спальне таблетки, снотворное – но нельзя, на часах четыре почти. Выпьешь – и в голове полдня будет вата. А надо быть в форме.

Скрипнула дверь.

Рэй в пижаме, босой.

- Не спишь?
- А ты?
- Я храпел? Разбудил тебя? Что, даже сквозь стенку слышно?
- Нет.
- Прости.

Ветер навалился на стекло крутым боком, дохнул с присвистом и откатился.

- Лиз сказала, что отвыкла от этого воя.
- Да.
- Кажется, с курсами у нее все нормально. Много, конечно, мусора, но есть и приличные. И с подругами она ладит... И даже Энтони этот, похоже, неплохой парень.

В темноте она не видит его лица, но ей и не нужно: она знает это его выражение, когда он ищет у нее подтверждения, что все хорошо, все в порядке. Чтобы потом можно было ни о чем не думать, заниматься своим.

- Иди спать, Рэй.

5

Устроившись на следующий день в удобном кресле коньячного цвета, Бернштейн снова раскрыл иск против Логана.

«В сентябре 20... года мисс Вудкок обратилась за помощью к Эмме Блум, зав. сектором по студенческим делам.»

«Эмма Блум», написал Стив. «Зав. сектором.»

Солнце било в тонированные стекла небоскреба напротив, отражаясь от них и слепя. Он встал, опустил жалюзи.

«В конце сентября, передавая Вудкок пакет материалов для Кента, Блум спросила, откуда у нее синяки на руках. «Кент хватал меня за плечи», – призналась Вудкок. – «Он пригласил меня в офис под предлогом диктовки, запер дверь на проволочный крючок, который принес из дома, и начал меня раздевать. Я пыталась вырваться, но безуспешно. На другой день я заболела... Кент позвонил мне домой и сказал, что стоит у меня под окнами. Что приехал специально, чтобы занести лекарства.»

«И что вы ответили?» – спросила Блум.

«Я ответила, что лежу.»

«А он?»

Сказал, что то, что я уже в постели, сэкономит нам время.»

– Сара, что, кофе у нас не осталось? – позвал Стив в полуоткрытую дверь. Молчание.

Он вернулся к тексту.

«В октябре Сьюзан Вудкок попросила господина Горелика, зав. кафедрой философии, встретиться с ней».

Ниже прилагалось письмо, посланное Вудкок Горелику накануне:

«Найдется ли у вас четверть часа? Мое дело личного и весьма деликатного толка, но мне кажется, что я могу Вам довериться. И если зав. кафедрой не сочтет ниже своего достоинства выслушать скромную секретаршу – мы встретимся.»

Горелик, в ответ: «Приходите в офис, там нам будет удобно».

Вудкок: «Да-да, у Вас в офисе нам не помешают. Обычно после работы Рэй подвозит меня до метро. Я скажу ему в среду, что должна задержаться, чтобы закончить рассылку писем. Я очень нервничаю... Вы – последняя надежда, посланная мне Богом, я чувствую это всем сердцем, а ведь я отнюдь не религиозна.»

– Сара! Как там насчет кофе? – Стив откинулся в кресле как можно дальше и вытянул шею. Но даже из такого положения не увидел ничего, кроме кактуса на краю стола своей секретарши. Куда это Сара запропастилась?

«Выслушав Вудкок, Горелик выказал ее словам недоверие, и, как и Блум, уклонился от каких-либо действий, сославшись на служебные отношения, связывающие его с ответчиком. Отчаявшись найти помощь у Блум и Горелика, истица обратилась в ОК, где ее принял заведующий, Мигель Санчес.»

Стив помотал головой, сделав несколько вращательных движений плечами. Рабочий день шел к концу, и мышцы у него затекли, а в голове установилась плотная взвесь из имен, дат, разрозненных фактов.

– Сара!

Тишина.

Бернстайн встал и вышел в предбанник.

– Значит, кофе у нас все-таки есть?

Его секретарша сидела за столом как ни в чем не бывало и что-то сосредоточенно «отстукивала».

– Ты что, не слышишь?

– Почему? – Она не обернулась. – Дверь же открыта.

Бернштейн сделал жалобное лицо:

– Я бы умер от кофеиновой ломки, а ты бы не шевельнулась.

– Но вы же не умерли.

Она не отрывалась от экрана, быстро бегая по клавишам пальцами с вишневыми ногтями.

– Ладно. – Стив протянул ей список. – Узнай кто такие. Договоришься с каждым о встрече. Чем раньше, тем лучше. Дело срочное.

– Во вторник в 12 у вас предварительное слушание, – напомнила Сара, скосив на список глаза. – В среду и четверг целый день арбитраж.

– Значит, втисни куда-нибудь между.

Сара досталась Стиву от его предшественника вместе с неудобным креслом и ящиком скверных канцелярских принадлежностей.

Держалась Сара всегда сдержано и подчеркнуто официально. Весь его шарм не мог растопить этой ровной учтивости. Чем больше он старался, тем больше в глубине ее глаз читалась ирония. И это выводило Бернштейна из себя.

Привыкнув к ее манере, Стив, однако, теперь все чаще ловил себя на том, что вежливая невозмутимость Сары действует на него успокаивающе. Он даже стал испытывать нечто вроде зависимости: присутствие Сары за стенкой помогало ему восстановить утраченное равновесие или просто прочистить голову от оседавшего в ней хлама. Когда она в первый раз села перед ним с блокнотом, он невольно обратил внимание на ее ноги: о таких говорят, «от шеи растут», с узкими коленями, обутые в остроносые туфли...

– Я сделаю все возможное. – Отложив список, Сара кивнула, отчего ее пружинистая грива пришла в движение. – Когда это нужно?

– Завтра с утра я у шефа, оттуда сразу же в профсоюз. Значит – к вечеру.

– Я не ослышалась? – спросила она. – Вы сказали – к завтрашнему вечеру?

– Никто не справился бы в такой срок. Только ты.

Секретарша поморщилась. Нет, такими комплиментами Сару не купишь.

– Я на сегодня закончил. – Стив взглянул на часы. – Ты тоже можешь идти.

– До свиданья, мистер Бернстайн.

– Стив. Мы же договорились. Да?

По дороге домой Стив купил Мэг роскошный букет.

Он обнаружил жену на балконе. Та стояла спиной, глядя в закатный просвет между зданиями.

– Я пришел, а ты не слышишь?

– Слышу. – Жена обернулась.

– Что происходит?

– Ничего. Я приняла их предложение, Стив.

– Чье предложение?

– GSK, в Филадельфии.

– GSK?

Ее взгляд выражал одновременно неуверенность и вызов.

– Они хотят, чтобы я начала первого октября.

– Первого? – Стив взглянул на часы, словно не верил. – Но сегодня уже двадцать седьмое. Когда же ты все это успела?

Он чувствовал, что задет бессмысленные вопросы, но никак не мог собраться, ухватить сути.

– Говорю тебе. Сразу, как только узнала, я послала им свое резюме. Утром пришел ответ.

– И ты мне ничего не сказала?

Мэг протиснулась мимо него в комнату.

– А как же... – Он механически последовал за ней. – Как же наш дом? (Семья, – хотел он сказать, но сдержался).

– Сейчас мне важно другое.

– Что? Что, черт побери?

– Я пыталась тебе объяснить. Состояться профессионально.

– Понятно.

– Нет, ты все еще не понимаешь, – с внезапной страстью, почти яростью проговорила она. – Я здесь тупею. У меня мозги превращаются в кашу.

– Но можно же себя чем-то занять! Мы с тобой все время куда-то выходим...

– Я не хочу никуда выходить! Я хочу работать, возьмешь ты наконец в толк?

Он бросил цветы на стол, рухнул в кресло.

Мэг постояла, глядя на него из-под опущенных век. Потом медленно развернула букет.

– Ты – хороший... Ты справишься без меня, я знаю. – Глухо звякнула ваза – та, что они покупали в Сент-Луисе. – Большую часть времени ты все равно проводишь в конторе... Почему ты молчишь?

– А что ты хочешь услышать?

– Готовишь ты вообще лучше меня...

Только теперь он заметил: на столе – салат, ростбиф. Она ходила в «Дели», на 78-ую улицу.

– Да уж, – с усмешкой ответил он. – Это ты точно подметила. Готовлю я лучше.

Мэг закусила губу.

– Все решено, Стив. Я уверена, ты поймешь. В конце концов – это временно.

Он достал ножи, вилки.

– Что значит временно?

– Ну... пока не найдется что-нибудь здесь. Ты же сам говорил, кто ищет... А ты будешь приезжать ко мне на выходные. В конце концов, это не так уж и далеко. Я тоже буду к тебе выбираться. Будем ходить в «Скарапелли».

– Я надеюсь, ты знаешь, что делаешь, Мэг. Надеюсь, что эта должность в GSK того стоит.

Она поцеловала его. Стив ответил, но сдержанно, с тем только, чтобы не заканчивать разговор откровенной ссорой.

Окончание – в следующем номере

Екатерина Салманова родилась в Санкт-Петербурге, закончила Литературный Институт им. Горького. После переезда в Америку работала переводчиком, преподавала русский язык и литературу в системе CUNY.

Автор сборника повестей и рассказов «Белый шарик» (СПб., 2007 г.), а также многочисленных очерков и новелл, выходивших в разные годы в периодических изданиях Санкт-Петербурга и Нью-Йорка (журналы «Нева», «Новый журнал», «Слово/Word» и др.)

Леон МИХЛИН

ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Рассказ

Вечер все больше хмурился, темнел, наливался злым декабрьским ветром. Подобно человеку, он свел в тяжёлые складки лоб улиц, лицо насупилося и смотрело изподлобья. Мне было одиноко в огромном доме, в котором остался один в связи с отъездом жены и детей в путешествие по Западному побережью. Я надеялся выкроить время и отправиться с ними, но моя работа в который уже раз выкинула коленце – незадолго до возможного и желанного вылета в Калифорнию пришло уведомление *города* о приемке только что построенного кондоминиума – мне как девелоперу предстояла встреча с придирчивой комиссией. Какой уж тут отдых с семьей на Тихом океане...

Я не люблю одиночество, даже такое краткосрочное, как нынешнее – всего-то десять дней. Когда-то услышал и запомнил наизусть обращение любовницы к избраннику: «Одиночество мое начинается в двух шагах от тебя. А можно сказать: одиночество мое начинается в твоих объятиях»... Любовниц у меня нет, с женой полное взаимопонимание, ее объятия как раз гасят пустоту внутри.

Не знаю, как другие, а я испытываю наиболее сильное одиночество среди людей, особенно в гуще толпы. Строго говоря, человек имеет сокровенное право на одиночество, оно даже приманчиво, если только не длится долго, но его нельзя заполнить воспоминаниями, которые только усугубляют отчужденное состояние.

Я подошел к окну в гостиной, чтоб прикрыть его от ветра. Потом поднялся наверх проверить окна в детских комнатах. В спальне младшего его невольное отсутствие отдалось во мне произвольным вздохом. Войдя к старшему, долго смотрел на его большое черно-белое фото. На снимке сын выглядел старше своих пятнадцати.

Отодвинув штору, я бросил взгляд на улицу. Темень скрадывала очертания домов напротив. Одинокий фонарь ложился на асфальт маленьким желтым кругом. Бесшумно проезжали редкие машины, в них сидели люди, казавшиеся улыбающимися, и я понял, что мое спасение в том, чтобы покинуть жилище и пойти гулять, пока ночь не загонит меня обратно. А завтра новый день, новые заботы, подготовка к сдаче кондо и к Рождеству, которое мне предстоит провести одному или воспользоваться приглашением кого-нибудь из немногочисленных друзей.

Я надел куртку с капюшоном и вышел из наполненного грустью дома. Я шел тротуаром, который за годы жизни здесь стал родным – каждый бугорок, каждая выемка... Уличные фонари на моем пути выхватывали канадские клены, почти сбросившие одежды, бесстыдно оголившись перед наступающей ньюйорской зимой, на дубах же висели целые охапки скукоженных листьев, которые не опадали, хотя давно засохли. Фасады жилых строений и лужайки перед входами были украшены гирляндами светящихся лампочек, как и положено в канун праздника.

Внутри меня рождалась злость. Я чувствовал её приход. Это была совершенно несправедливая злость, но я ничего не мог с собой поделать. Она начинала овладевать всем моим существом, я пытался убежать от нее и инстинктивно ускорял шаг.

«Она гуляет сейчас с детьми и им хорошо втроем. Обо мне они вспомнят в лучшем случае на обратном пути. А в худшем – в момент прилета в аэропорт»... Я знал за собой эту черту – копить, культивировать негатив, пеленать и баюкать обиду, которой на самом деле нет, но, к моему счастью, моментально избавляться от нее, едва становилась очевидной выдуманная мною причина душевного неуютства. Иначе бы превратился в мизантропа, жить с которым – тоска...

И будто в знак протеста против моих заполошенных мыслей звонил телефон. Я увидел на дисплее мобильного лица жены. Сработало Face Time – бесподобное изобретение, убивающее расстояния. Мгновенно прихлынуло теплое чувство.

– Как ты? Скучаешь по нам?

– Я в порядке. Пошел прогуляться. Разумеется, скучаю, – про-изнес преувеличенно бодро, насколько был способен.

Жена, зная меня лучше меня самого, заметила:– Не грусти.

Не успеешь оглянуться, а мы уже вернемся. Все в нашей жизни скоротечно, и путешествия – тоже.... Как у вас погода? Холодает, но снега нет., – эхом повторила мой ответ. – А у нас благодать, под тридцать, в пору купаться...

Жена не переносила фаренгейтные градусы, для нее, правильной, разумной и четкой, температура существовала только по Цельсию.

Телефон взял старший сын и начал рассказывать про Лос-Анджелес и с особенным восторгом – про Сан-Диего, находясь под впечатлением от Sea World и Wild Animal Park. Я видел его улыбку и тоже непроизвольно стал улыбаться.

Младший бросил в трубку дежурное: «Привет!» и столь же ни к чему не обязывающее: «У нас все классно...»

Внутри полегчало, и замедлив шаг, я побрел к воде. Возле самого красивого и, безусловно, самого дорогого дома океанского блока нашей улицы я остановился. Кто-то завистливо-язвительно называл это сооружение «Версаче», намекая на роскошь и безвкусицу одновременно. Одни массивные ворота, отделанные золотом и кованым железом, чего стоили... С улицы виден был лишь высокий второй этаж – декоративные растения в человеческий рост по периметру забора закрывали все остальное. Огромные окна дворца с полуоткрытыми шторами были залиты светом. Со стороны могло показаться, что в комнатах многолюдно. Но я знал, что живут здесь, достаточно обособленно, два человека. Дети давно покинули родителей.

Хозяина дома знали многие. Он занимался многими бизнесами. И везде был успешен. Бывший одессит, выглядел он значительно моложе шестидесяти с хвостиком. Он всегда улыбался, на холеных щеках полыхал румянец, сочные губы выпекали слова, округлые, как блины, только что снятые со сковороды. Я нередко беседовал с ним, однажды нас связал общий строительный проект, и всегда дивился его прекрасному настроению, которое ничто не могло поколебать или испортить.

Год назад, казалось, судьба его пошла под откос. На рассвете к дворцу подъехали три машины, из них вышли какие-то люди и вскоре вывели хозяина в наручниках. Соседи еще спали и не видели его лица. Возможно, в этот момент он не улыбался.

Громкое дело, начатое ФБР, обернулось пшиком. Владелец «Версаче» пошел на сделку с прокуратурой, сдал всех партнеров и отделался малым сроком, отсидев полтора года. Вернулся в свой дворец, по-прежнему на щеках играл румянец – олицетворение здоровья, силы и оптимизма, и всем своим видом он демонстрировал преуспеяние.

Я завидовал ему – душе его не были свойственны самокопание, сомнения и переживания, отчасти потому, что у него, по-видимому, начисто отсутствовала *следовая память*. Любого нормального человека не минуют неприятности, осложнения, невзгоды, начинает он нервничать, ночей не спит, и в итоге, сам того не ведая, оставляет в подкорке своего рода зазубрины, ссадины, болезненные следы. У хозяина дворца таких следов, очевидно, не было. Его память напоминала сито, сквозь которое просеивались, не задерживаясь, отрицательные эмоции, не оставляя никаких отметин. Счастливцев...

В момент моих невольных размышлений к дворцу мягко, почти бесшумно подкатил “Мерседес” последней модели. Меньше всего мне хотелось сейчас видеть хозяина. Ретироваться было поздно. Обладатель неизменного румянца вышел из машины и приветственно помахал рукой:

– Даня, рад видеть тебя. Как дела?

Все знакомые называли меня так – и почти никто – “Даниил”. Мне это нравилось, я находил в таком обращении окружающих приязнь и расположение, хотя, наверное, это было не так или не совсем так.

Мне не хотелось демонстрировать свое теперешнее настроение. Он бы всё равно не понял меня, да и не по-американски обнажать душу – мы-русские, быстро переняли особенности здешнего общения. Не хотелось вообще что-нибудь говорить. Отделался односложным: «Нормально».

– Даня, не грусти. Жизнь очень короткая...

Он все-таки уловил мое состояние. Удовлетворившись моим ответом и не испытывая ни малейшего желания продолжить разговор, пружинисто, по привычке с высоко поднятой, почти вздернутой головой, двинулся к дому, а я побрел к океану.

Берег представлял собой натыканные там-сям валуны и камни, прибитые сюда штормами. Общественный пляж находился непода-

леку, в специально отведенном месте, со столами между деревьями и мангалами для жарки мяса. В выходные на пляж набивалась масса народу, по большей части латиносы с детьми, они готовили на мангалах еду и гоняли свою музыку с ее огненными ритмами. Здесь же, у береговой линии, возле уреза воды, лежали камни, купаться было небезопасно, поэтому запрещалось.

Вода обдала меня черным холодом и загадочным шепотом волн. Я невольно отвлекся от моих мыслей и залюбовался серебристой лунной дорожкой. Я поднял воротник куртки, теплее не стало. К тому же почувствовал голод. Дома еды было достаточно, но возвращаться в пустую обитель не хотелось.

...Ноги сами привели в ресторан «Все равно» в полумиле от берега, в глубине нашего поселка. Один из пяти на пяточке и единственный, куда я изредка заходил.

Ресторан был запружён посетителями. В зале стоял ровный плотный шум. Русские привечали это место, куда не возбранялось приносить с собой выпивку. Навстречу мне развинченной походкой двигался хозяин. Он не походил на крепко поддавшего, однако глядел стеклянными, ничего не выражавшими зрачками. «Только когда заменишь выпивку чем-то иным, сильно действующим, можно так смотреть...», – подумал я.

– Здравствуй, Даня! Тебя давно не было видно. Ты, похоже, один?

Мне показалась, что если бы я его толкнул, то зрачки его выпали бы из глазных орбит и покатались по полу подобно хрустальным шарикам, выпавшим из старой люстры. Наверное, половина его существа обреталась сейчас в горних высях, где звучала музыка, не похожая на доносившуюся из ресторанных усилителей. Я внимательно посмотрел на парящего в выси человека. Он нарисовал улыбку на окаменевшим лице:

– Я посажу тебя за этот пустой столик. Народу полно, не обесудь, если кто-то еще окажется рядом. Согласен?

Я кивнул.

Сделав заказ, я устроился поудобнее, облокотился на спинку стула и стал всматриваться в пьющую и жующую публику. Многие были навеселе. Шум рос с каждой минутой.

Минут через пятнадцать принесли еду – овощной салат и кружку пива Stella Artois, а следом – стейк с жареным, мелко нарезанным, прочесоченным картофелем. Я уткнулся в тарелки, увлеченный процессом утоления голода, и поднял голову тогда, когда на противоположный угол стола села женщина. Её привел хозяин и подмигнул мне.

Я перестал есть и безотрывно смотрел на соседку, забыв про элементарные законы приличия. Это была красивая шатенка. Очень красивая. Выражение ее глубоко посаженных фиалковых глаз демонстрировало боль и незащищенность. Хотелось немедленно прийти ей на помощь, оборонить от того, что представляло угрозу. Такие глаза были моей погибелью, я встречал их не так часто, может, три-четыре раза за всю жизнь, я падал в них, как в омут, без надежды вынырнуть. У моей жены взгляд был совсем иной, отнюдь не беззащитный, это не мешало мне любить ее, однако ее облик не рождал немедленное, неминуемое желание броситься на помощь...

– Что вы на меня пялитесь? – в голосе незнакомки прорезалась раздраженность.

Я отвел глаза и проямлил несуразицу:

– Простите... Ваше лицо необыкновенное. Вы очень красивы и... несчастны, – вырвалось само собой.

– Несчастлива? Откуда вы взяли? Перестаньте бить на жалость...

Прозвучало вызовом и вместе с тем несколько растерянно.

– Вам мало вашей жены? Решили попытать счастья с другой?

Она указала небрежным кивком на мою правую руку с обручальным кольцом.

Я не знал, что ответить.

Официант принес ей маленький графин с водкой и спагетти с креветками в сливочно-чесночном соусе. Она налила себе рюмку и выпила. Потом еще одну. Подняла на меня глаза. Поезда, вышедшие из пункта А и пункта Б навстречу друг другу, встретились на пустом полустанке. «Я должен что-то сказать», – думал я. Но слова не подбирались.

Она выпила еще, поковырялась вилкой в тарелке и неожиданно тихо произнесла:

– Эта боль не оставляет меня. Когда я о нем думаю или говорю, становится еще больнее. Я не могу нести это в себе. Эта мука разры-

вает на части, будто внутри меня динамит. Только войдя в его душу и начав говорить от его имени, я забываюсь...

Я не понял её слов. Кто – *он*, от чьего имени странная особа ведет свой рассказ.

Это дошло до меня не сразу, поначалу я был просто слушателем, притом не слишком внимательным – мало ли что может нести полупьяная баба..., но по мере разматывания клубка ее истории осознание важности происходящего заставило внимать каждому ее слову, оттенку, находить подоплеку.

Наша мысль – материальна, если человек постоянно думает о чём-либо, да при этом ещё подробно, во всех красках, рисует в своем воображении объект своих мыслей, то при этом образуется нечто, заключенное в оболочку. И это *нечто* обладает энергетикой, позволяющей жить самостоятельно, используя инстинкт самосохранения.

Я сообразил, что присутствую на своеобразном сеансе реинкарнации. Незнакомка с фиалковыми беззащитными глазами говорила не от себя, а от имени того, кого уже, как я уразумел, не было на этом свете и перед кем она чувствовала неизбывную вину.

...Все начиналось банально. Ранним вечером я ехал по одной из московских улиц близ Таганки. Было по-сентябрьски ветрено, но тепло. Я открыл водительское окно и положил локоть на нижнюю раму дверцы. На одной из автобусных остановок стояла девушка лет двадцати. Я сразу оценил привлекательность её лица и фигуры. Притормозив, рассмотрел её внимательнее. Она и впрямь была великолепна. Я затруднялся дать четкое определение ее облику. Женскую красоту, мне кажется, нельзя описать ни размерами груди, талии и прочего, ни длиной и цветом волос, ни всякими там «натянутая-подтянутая». Это совсем иное, отчего вдруг перехватывает горло и сердце падает и начинает стучать о ребра подобно метроному. Так случилось со мной.

Я захотел познакомиться с ней. Действовал, следуя нехитрому правилу, приобретенному после покупки дорогого немецкого джипа. Обычно подъезжал к стоящим на тротуаре девицам, ждущим общественный транспорт, открывал правое окно и предлагал подвезти. Когда это не срабатывало, выходил из машины и подходил к

ним. Мой рост, накачанные бицепсы, мужественное лицо (в порыве любовной горячки некоторые подруги утверждали, что я похож на голливудского актера) делали свое дело. Выбранная мною девица чаще всего после недолгих уговоров садилась в машину и начинался флирт. Потом, за редким исключением, следовали недолгие отношения. Я ни с кем не хотел ничего серьезного. Мои дамы это чувствовали, быстро разочаровывались, и в моей душе освобождалось место для следующей пассии.

Я открыл правое окно и предложил:

– Девушка, давайте я заменю вам автобус.

Определенно дурацкая фраза, однако иная не требовалась: мой немалый опыт подсказывал – чем мудреней и заковыристей обращаешься к объекту твоего внимания, тем меньше шансов на успех.

Девушка покачала головой, не улыбувшись. Она даже не задержала на мне взгляд.

Во мне загорелось еще большее желание, подгоняемое азартом охотника. Я стремительно вышел из машины и предстал перед ней во всей своей, как мне казалось, неотразимости:

– Я только подвезу вас туда, куда вы направляетесь. Это будет быстрее и комфортней. Смотрите, сколько народу скопилось, а автобуса все нет.

Она вновь не посмотрела на меня:

– Откуда я знаю, кто вы. Может, вы бандит.

Я не оскорбился. Отчасти она была права. Я работал в охранной фирме, несмотря на диплом технаря. В этот момент неожиданно вырос силуэт автобуса, куда девушка с трудом протиснулась в толпе страждущих уехать.

Я поехал следом, наблюдая за выходящими пассажирами. Девушки среди них не было. Мы ехали куда-то к черту на кулички. На одной из остановок она вышла. К ней подошел очкастый парень в джинсах с букетиком сирени. Букетик выглядел тощим, как и сам парень.

Ночью я скверно спал. Попытался воспроизвести памятью лицо девушки. Не получалось. Помнил только длинные темные волосы с завитками и безразличные глаза, цвет которых не разглядел.

Весь следующий день я занимался обычными делами, надеясь забыть о ней. Но не тут-то было. Меня тянуло на автобусную остановку мощным импульсом.

Я пытался забыть в работе. Выпивал больше, чем обычно. Встречался с новыми девушками. В моем случае выражение «клином вышибают» не срабатывало. И я нашел себе новое занятие: ежевечерне, когда не был занят по работе, подъезжал к той самой злополучной автобусной остановке, лишившей меня покоя, и высматривал свою несостоявшуюся знакомую. Все было тщетно – она как сквозь землю провалилась.

Выручил случай, изменивший мою жизнь.

Я ехал по центру Москвы, в густом, нескончаемом потоке машин, стремясь попасть с Мясницкой в прилегающий Милютинский переулок, и вдруг увидел её с тем же парнем, что в прошлый раз. Я рванул к тротуару, чудом не сделав аварию и заслужив злые гудки и водительскую брань, бешенно затормозил, бросил джип в неподложенном месте и догнал их. Набрал в легкие воздуха, перегородил им дорогу:

– Ты помнишь меня?! – выдохнул, подавив грудной спазм, глядя ей в глаза. Теперь наконец-то определил их цвет – фиалковый.

Её спутник попытался оттолкнуть меня. Я поднял его над землей, как игрушку, и переставил на другое место.

– Не хамите, – строго сказала она. В её глазах не было испуга, лишь безразличие.

Она взяла под руку своего ухажера, и они двинулись по Мясницкой. У меня все дрожало внутри. Подождав несколько секунд, я пошел за ними, смешиваясь с людским потоком. Я не понимал, что со мной происходит. Девушка пару раз обернулась, но, кажется, не заметила моего преследования. Примерно через полчаса они миновали университетский дворик на Моховой, по углам которого стояли памятники Герцену и Огареву, пересекли Большую Никитскую и растворились в студенческой массе возле главного корпуса факультета психологии. А я сел на лавочку и понял, что достигнут первый маленький успех. Я не знал, какие отношения у нее с этим парнем, но теперь я знал место, где она бывает, по-видимому, каждый день.

Потом началась борьба за её сердце. И я победил. День, когда она сказала «да», день свадьбы и день рождения нашей дочери забыть я никогда не смогу. Таня завершала учебу, а я добывал деньги в то непростое время. Удалось попасть в окружение богатея с русской

фамилией, на всех углах кричавшего, что в нем пульсирует еврейская кровь. В ту пору в России пошла мода на иудейское происхождение. Он снял крестик и повесил на грудь могоендовид. Чем-то я ему приглянулся, он возвысил меня до уровня помощника по оперативным делам. Соответственно, резко выросла зарплата.

Мы жили с Таней, как две половинки. Так, во всяком случае, мне казалось. Она вела частный прием как психолог. Дочка подрастала. Мы купили квартиру в элитном доме. Но все чаще закрадывались мысли о будущем. Особенно после того, как на моего покровителя был совершен наглый рейдерский наезд, повлекший потерю значительной части бизнеса. Я кожей чувствовал – снова, как в 90-е, наступают лихие времена.

...Мы справляли в ресторане Танин день рождения. Вдруг она шепнула мне: «Саша, пора уезжать в Америку». Я удивленно взглянул на нее. Потом кивнул: ее желания были для меня законом.

Таня была наполовину, по матери, еврейка. С невероятным энтузиазмом принялась добывать нужные документы, связалась с родственниками, жившими в Нью-Йорке с конца семидесятых. Словом, машина завертелась. Квартиру пока решили не продавать, сдав каким-то Таниным знакомым.

Через два года после того разговора в ресторане мы втроем прилетели в Нью Йорк. Насовсем.

С моей стороны это была роковая ошибка. Я осознал это очень быстро, и ощущение *непоправимого* тяжким грузом пригнуло к земле. Английский давался трудно, я оказался неспособным учеником. Профессия моя никакой службы сослужить не могла – я много лет не занимался инженерией, начисто забыл, что изучал в институте. Пришлось сесть за руль русского кар-сервиса. А Таня довольно быстро нашла себя. Английский у нее был прекрасный. Она безошибочно поняла, что свой диплом подтверждать нет смысла, ибо при здешней системе придется потратить кучу денег и времени, чтобы получить лицензию психолога, перспективы же весьма туманны. Она поступила на курсы агентов по продаже недвижимости и начала делать успехи. Знание человеческой психологии оказалось бесценным подспорьем. Через три года устроилась в крупную риэлторскую фирму в Манхэттене и стала прилично зарабатывать. Она летела вверх, а я падал, падал.... И моя любовь была бессильна

что-либо изменить. Такое в Америке происходило с русскими эмигрантами сплошь и рядом, браки разваливались, женщины поменялись с нами, мужиками, местами...

Я чувствовал, что Таня стесняется меня, часто отсутствует дома. Я настаивал на продаже московской квартиры, чтобы на вырученные деньги – и немалые – открыть бизнес. Какой, я еще толком не знал, но видел в самостоятельном деле единственное свое спасение. Таня была категорически против продажи. Я начал подозревать, что неспроста – похоже, она уже не связывала свою будущую жизнь со мной. Московская квартира была записана на нас обоих, она как риэлтор видела в ней капитал, который следует держать про запас. Она ошибалась, не представляя, как рухнут цены после 2014 года, антироссийских санкций за Крым, за войну в Донбассе...

Мы начали ссориться, с каждым разом все сильнее. Старались не в присутствии дочери, но нередко она становилась свидетельницей криков и брани. Моментами я переставал себя контролировать. Кроме всего прочего, закрадывалась разъядавшая, словно кислота, мыслишка, что жена мне изменяет. Почему все чаще не бывает дома по вечерам...

И вот однажды... Однажды я, сорвавшись, ударил Таню. Коротким тычком кулака в лицо. Потом нанес еще два удара. Она охнула и осела. Я плохо соображал, что произошло, гнев переполнял меня, я выбежал из квартиры, в чем был, и устремился в глубь квартала, минуя Шипсхедбей, и вскоре выскочил на канал. Стояла бесснежная зима, мороза не было, дул сильный ветер, у воды еще сильнее, нежели в окружении кирпичных домов. Я был без куртки, шел расхристанным, с открытым воротом рубашки и не ощущал холода. Я начал понимать, что натворил, и что прощения мне нет. От этого становилось еще хуже.

Через два часа я вернулся домой. Таня отсутствовала. Дочери тоже не было. Время близилось к полуночи. Внезапно в дверь позвонили. Я открыл. На пороге выросли двое копов...

Меня отвезли в полицейский участок. Я требовал встречи с женой. Допрашивавший меня офицер-китаец показал заявление Тани о побоях, которым она подверглась. Я все понял.

– Вы можете подтвердить или опровергнуть показания вашей жены.

Напомню, вы можете не свидетельствовать против себя, – напомнил офицер.

Я подтвердил написанное в заявлении. Мне было уже все равно.

Меня отвезли в бруклинский Metropolitan Detention Center. При наличии адвоката и внесении определенной, назначенной судьей денежной суммы меня могли выпустить под залог. Адвоката нанять было не на что, мне прислали бесплатного, по поводу же залога мне не к кому было обратиться. Имущих друзей я не заимел, просить помочь жену в такой ситуации не представлялось возможным, особенно после того, как бесплатный адвокат сообщил, что Таня при допросе уверяла, что я хотел ее убить. Когда я об этом узнал, мне стало легче.

Я остался в тюрьме. В общей камере всякой твари было по паре – насильники, воры, наркоманы, совершившие преступления в беспамятстве, и лишь один я попал на нары за избивание жены. Сокамерники жалели меня, говорили, что за такие мелочи обычно отпускают под небольшой залог, мне же придется маяться в камере до суда. «Многое зависит от твоей жены, если простит, приговор может быть условный», учили опытные зэки. Но Таня упорно не хотела видеть меня, поговорить хотя бы через стекло переговорного помещения, не говоря уже о том, чтобы принять мой телефонный звонок. Впрочем, я не пробовал звонить...

В общей камере было очень жарко. Я раздевался до пояса и лежал часами, пока не наступало время обеда или ужина. Я думал о своей жизни и о Тани. Я не оправдывал себя, готов был к любому наказанию, но почему она отвернулась от меня? И я окончательно понял, что без нее мне нечего делать на белом свете.

Я наметил план действий. Вначале не подчинился команде надзирателя и попытался затеять с ним драку. Меня скрутили и перевели в одиночку. До этого один заключенный-латинос подарил мне лезвие. Я ухитрился пронести его в одиночку.

Поздно вечером, стоя над умывальником, я надрезал себе вены левой руки. Кровь медленно, вместе с жизнью, выходила из меня, стекая в раковину. Я ни о чем не думал и только мысленно прощался с Таней и дочерью. Потом потерял сознание и упал. Боли от удара о кафельный пол я не почувствовал...

...Таня закончила говорить. Подозвала официанта и попросила счет.

Я молчал, разрозненные мысли роились в голове, ни на чем не концентрируясь. Фиалковые глаза напротив источали такое отчаяние, что в них нестерпимо больно было смотреть. Реинкарнация совершилась, только уже наоборот – Саша исчез, растворился, передо мной сидела Таня. Услышанное ужасало меня, отталкивало от нее – и приковывало, делало меня соучастником всей этой истории, не готовым ни к каким оценкам и выводам. Не судите да не судимы будете...

Таня вылила остатки водки в свою рюмку и на дно моего пустого пивного бокала со следами пены.

– Я не знаю, кто вы, меня это не интересует, но вы меня выслушали, не перебивая, и за это вам спасибо. Давайте выпьем за помин души любившего меня человека, – и она опрокинула рюмку в скривившийся от рыданий рот.

К ресторану подкатил черный BMW, из него вышел невысокий полный человек. Я его сразу узнал – он рекламировался на «русском» телевидении в качестве зубного врача, ставящего потрясающие импланты.

– Танечка, поедem домой. Тебе уже хватит.

Она медленно подняла на меня безразличное, окаменевшее лицо и кивком попрощалась.

Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий, занялся строительным бизнесом, став девелопером.

Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Рассказ «Дом на канале», опубликованный во втором номере нашего журнала – его литературный дебют.

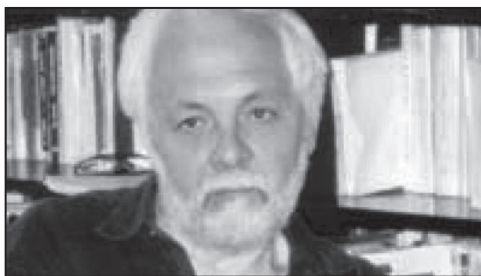
Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВЛАДИМИРУ БАТШЕВУ – 70 ЛЕТ

У известного писателя, поэта, критика, главного редактора выходящих в Германии на русском языке журналов «Литературный европеец» и «Мосты» – юбилей.

Гражданская и творческая позиция Владимира Батшева чётко определилась еще в ранней юности. В 1965-1966 годах он стал одним из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ. В апреле 1966 года молодой литератор был арестован и осужден на пять лет «за тунеядство». Батшев отбывал ссылку в Красноярском крае; под давлением международного общественного мнения был освобождён по амнистии в 1968 году. Затем – долгие годы участвовал в диссидентском движении.



Несмотря на препятствия, чинимые «компетентными органами», Владимир Батшев окончил сценарный факультет ВГИКа. Работал сценаристом в кино, литконсультантом журналов и издательств, в годы перестройки был представителем в СССР знаменитого антисоветского издательства «Посев». В 1991-1993 гг. Владимир Батшев – первый заместитель главного редактора еженедельника «Литературные новости». С января 1989 по март 1995 гг. он – внештатный обозреватель «Радио Свобода».

В феврале 1995 Владимир Батшев вместе с женой эмигрировал в Германию. Именно здесь в полной мере писатель сумел реа-

лизовать свои творческие замыслы, а также свой талант организатора литературного процесса. Он создал Союз русских писателей Германии и стал его бессменным председателем. С апреля 1998 г. издаёт ежемесячный журнал «Литературный европеец», с января 2004 г. – ежеквартальный журнал «Мосты». Очевидна высокая задача и одновременно тяжесть этой литературной страды, тем более, что на издание своих журналов Владимир Батшев не получает грантов.

Хорошо известны многочисленные книги Владимира Батшева. Четырёхтомная эпопея «Власов» (международная литературная премия «Veritas», Великобритания), роман «Потомок Вирсавии» (номинирован на премию Букер), повесть «Хайнц Альвенхаузер» (автор стал первым обладателем премии им. М. Алданова, учреждённой «Новым журналом», Нью-Йорк). За книги «СМОГ: поколение с перебитыми ногами» и роман «Мой французский дядюшка» Владимир Батшев награжден премией «Серебряная пуля» издательства «Вольный стрелок». Назовём еще историко-литературное исследование «Александр Галич и его жестокое время», сборник лирики «Подарок твой – жизнь», двухтомный «Мой литературный календарь».

Долгие годы плодотворно работает издательство «Литературный европеец», созданное Владимиром Батшевым. Оно выпустило десятки книг писателей Русского Зарубежья. Среди последних новинок – первый том четырёхтомной Антологии «100 лет русской зарубежной поэзии. Первая волна эмиграции» (общая идея, общее редактирование – Гершом Киприсчи; составление, редактирование, вступительная статья, био-библиографические справки – Владимир Батшев).

Сердечно поздравляя юбиляра, от души желаем Владимиру Семёновичу крепкого здоровья! И, конечно, новых творческих свершений!

От имени писателей русской Америки –
**редакция журнала «Времена» (Нью-Йорк),
редакция ежемесячника «Шалом» (Чикаго).**

Мы публикуем подборку стихов юбиляра.

Владимир БАТШЕВ

ИЗ РАЗНЫХ ЛЕТ

Сбегали капли как по лезвию –
по глади листьев дождь хлестал.
Я поутру опять порезался
о кромку чистого листа.

Я вздрогнул – гневный крик отчаянья
возник, разросся и упал.
И палец, словно знак молчания,
поднёс к испуганным губам.

Лист ждал меня – не на свидание.
Он звал на жизнь, а не в кабак.
Он из меня опять выдавливал,
как Чехов говорил – раба –

раба случайности и прихоти,
канатоходца без шеста,
чтоб не выплёскивался криками,
а тихие слова шептал.

Давно прошла пора рыдания,
но раз поднялся ты с колен,
то плюй на каждое предательство
друзей случайных и коллег.

О чём? Про что? Зачем мне ребусы –
я не украл и не убил!
А лист кричал, молил и требовал
моей работы и любви.

Когда он монолог заканчивал,
в висках забился ритм стиха.
Из пальца больше кровь не капала
и дождь в кустах устал стихать.

*На зелёном московском снегу
Всё мне чудится красная конница.*

Старая песня В. Кононенко

Какая была погода
в эпоху гражданской войны?

Среди катаклизмов и горя
кому эти факты нужны?
Давно уже всё закончилось –
годов забубённый гул,
и дикая красная конница
в зелёном московском снегу,
и время, звеня подковой,
загладило чувство вины,
и мы позабыли погоду
эпохи гражданской войны.
Не может она повториться,
страшнейшая из погод,
как будто бы вечно длился
тридцать проклятый год!

Давно отгремели походы,
эпохи скривился лик...
А ты опять про погоду,
которой давно прошли!
Да. Быть мы всегда готовы.
И помнить всегда должны
какая будет погода
эпохи гражданской войны.

Тихо по улицам дождик метёт,
тихо по улицам хитрый народ.

Мчатся машины в дом угловой –
эти машины едут за мной.

Люди уснули, город не спит,
и на Лубянке окошко горит:
серый мужчина с отвисшей губой –
он посылает машины за мной.

Годы проходят. Сменяется власть.
Только сажают по-прежнему – всласть.

Мчатся машины и этой зимой,
едут за кем-то, едут за мной.
В доме тревога. Родная жена
дверь на запор – ни мертва, ни жива.

Грохот на лестнице – видно, за мной.
Крутится-вертится шарф голубой!

Проснёшься вдруг от гула мерного
весь в ощущениях вчерашнего –
быть может голоса умершие
о чём-то позабытом спрашивают?

Ты в одеяле побарахтайся,
со страхом выберись из кокона –
то поезда идут в Баварию –
железная дорога около.

Прокашляйся – рождение голоса,
как свет включить – исчезнут тайны,
а негатив ночного города
с рассветом позитивом станет.

Вдали – звезда в ночи
зовёт и называет..
Здесь по звезде стучит
на пряжке надзиратель.
А тот, кого ведут
лефортовской тропой
давно ни там, ни тут,
словно с чужой женою –
с реальностью иной –
которой жить не может:
прощальное кино
в окно чужое смотрит.
Его шаги легки
уносятся под ветром,
где белый Арлекин
пятном белеет света –
где позапрошлый раз
канавой голубиной
и позой пошлый враг
в обнимку с Коломбиной –
того не может быть!
От горести он воет.
И в спину будет бить
его сапог конвоя.
Блаженство палача
навек застыло в ряжке,
и слышно как стучат,
стучат ключи о пряжку.
Знакомый скрип – скорей
ведёт как на закланье

насквозь из всех дверей
косматый надзиратель
мечту уносит вдаль...
Распятая на пряжке,
дрожащая звезда
на башне, на фуражке
сейчас испустит дух,
скукожится, сомнётся.
Вот свет её потух –
уже на дне колодца,
где видели всегда –
не видно и не слышно.
Прощай, моя звезда!
Она уже не дышит
и свет её погас,
ушёл дорогой длинной,
как сказка, что Пегас
несёт к трём апельсинам.

Тупиков короче дни
и длиннее улиц – ночи.
Куда прячутся они,
почему минут короче,
почему другим – длинней,
как далёкие проспекты,
каталоги наших дней
и листовки, и проспекты?

Что неделя – то буклет,
месяц – он журналом ляжет,
словно в кепочке-букле,
словно – невесома тяжесть
пере-нажитых годов.
Пере-слушаны кантаты!

Словно сказочно готов
превратиться вновь в кентавра.

Ждёт нас всех и ждём мы все
(потерпи, мой друг, немного)
бесконечное шоссе
в бесконечное далёко.

Когда у тебя победа,
то хватит, теперь не рыдай.
Жену коль зовут Рогнеда,
то мужа – Ратмир иль Рогдай,
и если Адам – то с Евой
понятно, и делу – конец.
С крестьянином королева
лишь в сказке идет под венец.

Не могут банан жить со свёклой
с пустыней – прибор морской,
не может Толстая быть Фёклой,
Паоло – всегда Трубецкой.

По кличке собаку кличут
пёс суке всегда родней,
и прав вековой обычай:
ровня быть должна ровне.

Тут на спор или не на спор,
как птицы – летят на юг,
поэзия всех диаспор
сильней метропольных вьюг!

Орёт тебе слева и справа
российская шваль и голь...
Поэзия – как отравя,

с поэзией ты на равных –
пей её алкоголь!

Уже пчела висит у двери,
качаясь в солнечной волне,
уже цветок твердит про верность,
глазея на неё в лорнет,

уже не надо осторожно
мне за порог отбросить злость,
где в болтовне пустопорожней
зима уходит, словно гость.

Пусть спит ещё пчелиный улей,
и тучи прячут солнца блик,
но птицы поутру проснулись,
и рифмы новые нашлись!

Синеет волна у Лорета.
Глаза твои схожие с морем.
Волна набегаёт и мчится назад.
А что же ещё она может?

Песок нам под солнцем заменит постель,
а что ещё нужно с тобою?
Пусть нам остаются следы на песке,
и те скоро смоем волною.

Выносит волна не алмазы, а шлак
и ропот прибоя – не песня,
волна порезвилась и в гости ушла
к другим, но оставила пену.

Лишь пена осталась от мощной волны?
От моря, дышащим озоном?
А впрочем, как всюду, не вышки видны,
а серая ширь горизонта.

Банально, что время – зови-не зови,
как мальчику – время поллюций.
Давно не поют по ночам соловьи,
а воют сирены полиций.

История – сука, а не соловей,
ломает эпохе суставы...
В историю входит другой человек,
следы, как в песке, в ней оставив.

Он жёсткий, жестокий, он всюду поспел,
он знает – сегодня он первый.
Но что остаётся потом на песке?
Следы не истории – пена.

*Меня подкарауля,
Стояла смерть.*
И. Елагин

Как маршал сталинский – усат,
как каторжник, что полосат,
брёл через бор или сквозь сад,
и след косули на устах!

Я тигром был.
В меня попали пули.
Ещё вчера ветра мне в уши дули,
когда прыжком перемахнул овраг,
вся шерсть вставала в запахе врага.
Я был и жил, как надобно бойцу.

Но чтоб не раздражал своим окрасом
и рыком рыжим, непохожим басом
приговорила смерть меня к концу.

Мы шли вдвоём с подругою – далече
вокруг трещало странное наречье
зверей и леса – вроде бы свои,
но свой свояк, а всё-таки чужие:
у них свои гримасы и ужимки,
и диалект, и даже соловьи.

И вроде, так как надо бы вначале
я зарычал, они не замолчали,
рванулся коготь ...

И у всех в виду
ударил жаканом мне в затылок,
разворотило голову, застыло
в глазах незнанье, как карась во льду.

Так вот она, где эта смерть таится
она бросалась от меня к тигрице:
мы вместе пали в ледяном логоу.

Охотнику казалось это мало
и очередь в ответ из автомата
прорезала губительным дуплетом
оценкой за незнанье диалекта,
как сорняки на скошенном лугу.

Звезда смотрела и роняла слёзы,
что метеорами под ноги грозно
упали, а позднее – ни гу-гу.

Ах, мне бы жизнь тигриную в остаток
своих годов, чтоб разогнать усталость,
одним прыжком чтоб совершить побег,
и страх врага, и солнечность побед
на миг увидеть, пусть потом пропали,

пусть на колени падают мосты...
Но только не в затылок, не в подвале
лубянской облитченной Москвы.

Уже желтеют одуванчики
и солнце впитывает грязь,
и дует девочка на пальчики,
словно на солнце обожглась.

Рабочий рвёт траву нестарую,
весна не хочет лезть в окно.
А Галич со своей гитарою
про это знал давным-давно.

Гале

Мы с тобою стояли у моря,
чайка мимо – лишь взмахи крыла....
Нет, не так. И не море – помойка,
И не чайка – сорока была.

И, как юность желает разврата –
чтоб порнуха, чтоб девки под дых...
так и старость в мечтах вся – возврата –
возвращения слёз молодых.

Только где взять слова для прощенья
всех ошибок, падений, тревог? –
от прощания до утешенья
путь короткий, как славы кусок.

Только вдруг – словно вместо цунами
ветерок засыпавших морей –

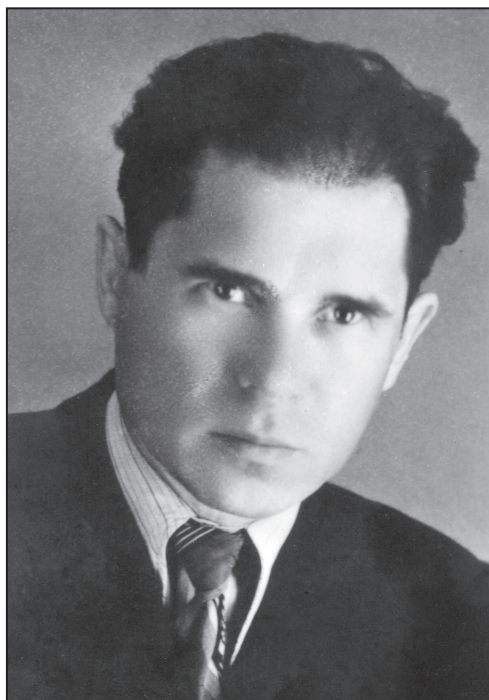
чьи-то тени прошли между нами
почему нам тепло от теней?

А они и земли не касались,
как несли непонятную весть....
– Это ангелы вам показались.
Если ангелы, в принципе, есть.

Георгий ДЕМИДОВ

«И СЛУЧИЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО СО МНОЙ...»

Исполнилось 30 лет со дня смерти Георгия Демидова. Имя это известно, увы, далеко не всем русскоязычным читателям. А между тем он – бесспорно, писатель с большой буквы, один из тройки вы-



дающихся литераторов, благодаря которым мы узнали правду о ГУ-ЛАГе, самом чудовищном преступлении сталинского режима. Имеются в виду Солженицын и Шаламов.

Произведения Демидова – не просто воспоминания о тюрьмах и лагерях, это глубокое философское осмысление жизненного пути, воплотившегося в великолепную прозу.

В августе 1980 года по всем адресам, где хранились рукописи Демидова, КГБ провёл обыски. Все рукописи были изъяты, после чего Демидов уже не писал. При жизни он так и не увидел напечатанным ни одно свое произведение. При том, что был категорически против публикаций на Западе.

Летом 1987 года дочь писателя В.Г. Демидова обратилась к секретарю ЦК А. Н Яковлеву с просьбой вернуть архив отца, и через год рукописи были возвращены.

В начале 1990-х годов с большим трудом были опубликованы несколько рассказов Демидова. После отъезда дочери писателя в 1993 году в США ряд рассказов появился в зарубежных изданиях. В 2008 году издательство «Возвращение» начало публиковать сочинения Демидова, вышли четыре книги: «Чудная планета» (2008), «Оранжевый абажур» (2009), «Любовь за колючей проволокой» (2010), «От рассвета до сумерек» (2014).

Режиссёр Светлана Быченко сняла документальный фильм «Житие интеллигента Демидова».

Сейчас дочь писателя готовит к изданию вторую часть автобиографического романа Г.Г. Демидова.

Мы публикуем заметки его дочери Валентины Георгиевны, живущей в Филадельфии.

«Демидов не был профессиональным писателем. Вернее, никогда не собирался им стать. Но так распорядилась сама Судьба – талантливый физик, ученик и соратник гениального Ландау, которого, по словам современников, ожидало большое будущее, в феврале 1938 года в Харькове был арестован. И жернова энкавэдэшной карательной машины растерли в порошок всю его жизнь вместе со всеми чаяниями и надеждами, и выплюнули в далекие колымские лагеря на долгие восемнадцать лет (14 лет на Колыме плюс 4 года в Коми АССР). Именно там он познакомился и подружился с Варламом Шаламовым и другими удивительными людьми с такой же страшной и мучительной судьбой. (Он стал прообразом героя рассказа «Житие инженера Кипреева» – **Ред.**)

В одном из писем к Шаламову в июле 1965 г. (переписка Шаламов – Демидов была опубликована И.П. Сиротинской) Демидов пишет: «...на Колыме я именно с 38-го, правда с осени. Что несколько лет я

пробыл на Бутугычаге, что был и на золоте и что из 14-ти колымских лет на «общих» провел почти 10. Даже совершенно не способный к наблюдению и сопоставлению человек при этих обстоятельствах не может не постигнуть трагедийности этого «Освенцима без печей», выражения, за которое, среди прочего, я получил в 46-м второй срок... Я десять раз «доходил» и дважды умирал от переохлаждения...».

Очень немногим удалось выжить в этом аду и уж, тем более, дожить до того времени, когда о пережитом стало возможным говорить во весь голос. Демидов и Шаламов выжили, вернулись и были реабилитированы. Но попали в атмосферу глухого молчания, полного забвения прошлого, как будто и не было в истории страны тех страшных лет террора и насилия, миллионов безвинно загубленных жизней и переломанных судеб.

«...Но преступлений социального характера утаить от истории нельзя. Они даже не шило в мешке. Скорее, кусок расплавленной лавы, раскаленное ядро...» – писал Георгий Демидов в одном из писем ко мне. Он еще мыслил «физическими» категориями, но эта раскаленная лава – страшный груз очевидца и участника событий – уже «вынесла» его к писательскому столу.

«...Пишу по ночам да за счет всех видов отдыха. Творческих отпусков и синекур мне не полагается. Слишком тупое у меня политическое обоняние, чтобы держать нос по ветру... Хлопаю на машинке прежде всего потому, что не сгибаются сломанные в шахте пальцы. Вернее, не разгибаются. И постоянно болит на старости разбитый позвоночник. И дает себя знать заработанный в бытность «сухим» бурильщиком силикоз... Заметь, я вовсе не уверен в своем литературном таланте. Он никем и никогда не был проверен, но это единственное, что еще может оправдать мое существование на этом свете...» – из письма к жене в 1963 году.

И еще, из письма отца ко мне в те же годы: «...Мне мое творчество обходится очень дорого. Я неизбежно дохожу до болезни... Начинаю плохо спать, теряю аппетит. Все спрашивают: Что-нибудь случилось? Я мог бы ответить: да, случилось. Совсем недавно. Нет еще и тридцати лет. И случилось не только со мной...»

И сегодня вы, дорогие читатели, читаете строчки, написанные слезами и кровью. Каждое слово – Правда, и, увы, это наша с вами История.

Закончить это небольшое вступление мне хотелось бы папиными словами:

«...Я хочу внести свою лепту в дело заколачивания осинового кола в душу и память сталинского режима и его трижды проклятых приспешников. Я хочу донести будущему на проклятое прошлое, вернее, участвовать в написании такого доноса...»

Валентина Демидова

P.S. Публикуемый ниже рассказ относится к числу малоизвестных произведений писателя.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ

(Признак Коши)

Если при переходе через критическую точку производная функция меняет знак, то функция в данной точке имеет максимум. (Первый «признак Коши»).

Из учебника математики.

На воле, одни – с оттенком некоторой презрительности, другие – уважения, прозвали руководителя университетской кафедры математического анализа тогда еще мало известным словом «Интеллектуал». Уж очень широк был у молодого профессора математики круг его познаний и интересов. Он был прекрасным аналитиком и талантливым виолончелистом, игравшем в самодеятельном оркестре при доме ученых. Интересовался множеством предметов, не только смежных с математикой, но и весьма от нее далеких, как философия и история, например. Несмотря на то, что его можно было встретить в гимнастическом зале и в группе туристов-оборванцев где-нибудь на горной тропе, некоторые считали его «рафинированным интеллигентом» – комплимент для советского человека более чем сомнительный.

Прилагательное «рафинированный» не только не исключало, но скорее даже подчеркивало другое прилагательное, считавшееся почти неотторжимым от понятия «интеллигент» – эпитета «мягко-

тельей». Предполагалось, и не без известной доли резонности, что избыток образованности опасен для дела революции. В отличие от пролетариата, не отягощенного никакими сомнениями относительно ее исторической оправданности, русская интеллигенция, даже в лице новых своих представителей, все еще несла на себе груз политических, этических и всяких иных сомнений. И хотя обычно это никак не отражалось ни на практической деятельности интеллигентов, ни на их гражданской честности, угрюмо подозрительное отношение к ним особо трагическим образом сказалось на судьбе советской интеллигенции в «черном» 1937-м году. Тогда погибли многие, если не все, из числа лучших ее представителей. Оказался среди них и «Интеллектуал».

Теперь, впрочем, бригадир бригады навалыщиков-откатчиков, работающих на руднике сопки Оловянной, именовался уже проще – «Ученый». Из всех знаний и умений, которыми обладал бывший профессор, практически теперь требовалось только одно – умение напрягать волю, чтобы мобилизовать до возможного предела слабеющую энергию своих мышц во время работы. А вне ее противостоять действию каторжного быта и не опуститься до уровня почти животного, как это происходило здесь едва ли не со всеми. Главным образом, противодействием отупляющему влиянию каторги ученый считал постоянную гимнастику ума, столь же здесь необходимую как гимнастика, в обычном понимании этого слова, необходима для людей нефизического труда.

Здесь он был превращен в «мускульную машину», то нагружающую кусками взорванной породы тяжелую вагонетку, то толкающую эту вагонетку по рельсам, то разбивающую кувалдой особенно крупные камни. Поэтому, занимаясь этим, Ученый придумывал для себя задачи вроде таких: какой формулой можно было бы определить объем вон того клиновидного камня? Или как выразить аналитическую кривую прихотливого изгиба рельсов на повороте откаточного пути? Решал он эти задачи обычно в уме, но в особо трудных случаях писал иногда затейливые математические знаки на стене гранитной штольни куском более мягкой породы. Конечно, его за это считали тут чокнутым, как, впрочем, почти всех ученых, но не презирали и не глумились над его странностями. Во-первых, Ученый, как оказалось, мог, когда нужно, и постоять за себя, во-вто-

рых, и это было самое главное, он, в отличие от большинства своих собратьев-интеллигентов, был всегда собран и подтянут и работал лучше не только их, но и многих людей физического труда, крестьян и даже бывших шахтеров. Он пережил едва ли не всех, с кем два года назад был привезен прямо с материка в лагерь проклятой богом и людьми Оловянной.

Трудно было сказать, что помогло ему побить столь трудный рекорд. То ли унаследованное от предков-крестьян необычно выносливое сердце, то ли еще более необычная сила воли, то ли привычка смолоду к физическому труду. Государственная стипендия в середине двадцатых годов была явлением не частым, если социальное происхождение студентов ВУЗа не было кристально пролетарским. Поэтому многие из таких зарабатывали себе на пропитание разгрузкой вагонов на железнодорожной станции, пилкой-колкой дров по дворам и тому подобным трудом. Немаловажное значение, особенно в условиях лагеря при «Сопке», как называли эту гору Оловянную, имело и увлечение Ученого в прошлом горным туризмом. Опыт, приобретенный им на Кавказе и Алтае, неожиданным образом пригодился ему на Колыме.

Скорее всего, конечно, что не какое-нибудь отдельное из этих качеств и навыков бывшего ученого, музыканта и спортсмена, а все они вместе взятые помогли ему поразительно долго не скатываться по пути наименьшего сопротивления к лагерному кладбищу. Он до конца сохранил сознательную волю к жизни там, где у большинства его товарищей по лагерю оставался уже только животный инстинкт жизни, унижительный и, чаще всего, нецелесообразный. Собираение селедочных головок на помойке, например, или питье для заглушения голода невероятного количества воды, не отдаляет, а приближает смерть от дистрофии и связанных с ней болезней.

Не было, однако, таких «сявок», которых не могла бы и, скорее рано чем поздно, укатать крутая горка под названием Оловянная. Она была крута не только в переносном смысле расположенным в ее недрах каторжанским рудником и обслуживающими этот рудник лагерями с почти невыносимыми условиями быта заключенных. «Сопка» была крута и в самом прямом смысле тем своим уклоном, по которому ежедневно поднимались на ее вершину заключенные работяги рудника. Почти все входы и спуски в его многочисленные

шахты, карьеры и штольни располагались на этой вершине или в непосредственной близости от нее.

С точки зрения профессионального альпиниста Оловянная отнюдь не являлась особенно трудным альпийским объектом. Обычная для здешних безлесных и угрюмых гор продолговатая сопка средней высоты. По вертикали от подножья до вершины эта высота едва тянулась на какую-нибудь тысячу метров. Склон, по которому совершал свое ежедневное восхождение лагерный развод, был настолько спокоен, что по нему удалось даже проложить рельсы «бремсберга», канатной железной дороги, обслуживающей рудник. Но добавьте к высоте сопки еще метров триста подъема на пути от лагеря, расположенного километрах в трех от ее подножья, оледените ее склоны осенней и весенней гололедью, завалите ее сугробами снега зимой, ударьте в лицо ежедневным покорителям Оловянной ураганным ветром высокогорной пурги, обожгите их пятидесяти-шестидесятиградусным морозом, помножьте все это на число дней в году и получите далеко еще не полное представление о трудностях «рекордов», побиваемых подневольными альпинистами.

Ежедневные подъемы и спуски были, конечно, только дополнением к четырнадцатичасовому каторжному труду на руднике. Впрочем, многие считали, что дело обстоит наоборот и что этот труд сам лишь дополнение к ежедневному покорению вершины. Сумма, как известно, от перемены мест слагаемых не меняется, и даже у самых выносливых покорителей окаянной сопки от непривычного высокогорного климата и непомерной нагрузки на сердце развивались болезни, связанные с его расширением. Они-то и сводили в могилу тех альпинистов, которые еще раньше не умерли от изнурения и недоедания и не погибли в бесчисленных катастрофах на руднике.

О технике безопасности здесь знали только понаслышке и почти о ней не заботились. Было бы нелогично делать крупные производственные затраты ради тех, на чью жизнь здесь в среднем отпускалось не более полутора-двух лет. Почти ежедневно кто-нибудь из совершивших восхождение, а в иные дни и двое, и трое из них, на этот раз уже не могли взять вожделенной вершины. Не достигнув ее, они падали, чтобы больше никогда уже не подняться. Не помогали не только мат и угрозы конвоиров, но даже их сапоги и приклады. Когда лагерный развод добирался до подножья Оловянной, в дни

с низкой облачностью, уходившей своей вершиной в серые облака, начальник конвоя выкрикивал команду сделать короткий привал. Повторять эту команду ему никогда не приходилось. Вся тысяча человек – а иногда и только триста, эта зависело от числа месяцев, прошедших со времени последнего пополнения лагеря – тут же валилась на снег или камни. И хотя все знали, что отдых не продлится более пяти минут, большинство сразу же погружалось в сон.

Хроническое недосыпание было здесь едва ли не большим бедствием, чем обычная нехватка питания. За вычетом часов работы на руднике, времени на подъем и спуск с Сопки, сборы на развод и стояние у вахты, получение хлеба и баланды, бестолковые поверки и частые шмоны, на сон у работяг «основного производства» оставалось в иные сутки не более пяти-шести часов. А так как о выходных днях для заключенных здесь не было и речи, то возместить вечную недоимку по части сна удавалось только в дни освобождения от работы по болезни. Но получить такое освобождение было тут очень непросто. Для этого, как гласила невеселая лагерная шутка, надо было принести в санчасть «голову под мышкой».

Поэтому насколько охотно выполнялась команда «Садись!», настолько же неохотно люди пробуждались от мгновенно охватившего их свинцового оцепенения. Они тяжело поднимались на ноги – нередко только после конвоирского пинка ногой – и начинали мучительный подъем в гору, на который уходила едва ли не большая часть их слабеющих физических сил. На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых. Иначе было нельзя.

Развод на склоне Оловянной имел злостную тенденцию растягиваться едва ли не на всю его длину. В то время как голова «колонны» достигала уже вершины сопки, ее хвост плелся в доброй версте от этой вершины даже при условии непрерывного понукания и толчков прикладами в спины отстающих. Тех, кто валился наземь, вохровцы методически избивали. Делалось это, собственно, не для того, чтобы заставить упавшего подняться на ноги и продолжать путь, такой надежды почти не было, а в назидание остальным. Если

дышашего, как запаленная лошадь, доходягу или даже почти совсем не дышашего не дубасить сапогами и прикладами, то много найдется охотников симулировать полное бессилие или сердечный припадок, чтобы быть отправленным в санчасть. Лагерные врачи разберутся, конечно, действительно ли заключенный не мог двигаться дальше или только придурился. Но обратно на сопку его уже не пошлют, а это для симулянта немалый выигрыш. А вот если такая удача обойдется ему в отбитые легкие или сломанное ребро, то ни ему впредь, ни остальным зэкам заниматься подобной симуляцией будет уже неповадно. А что касается тех, кто и в самом деле не мог продолжать восхождение, то большинство таких умирало, а остальные превращались в совершенных уже инвалидов, не имеющих ни малейшей ценности как рабочая сила. Следовательно и церемониться с ними было уже нечего.

В этом рассуждении была своя логика.

В течение почти года, хотя он был далеко не самым молодым из здешних заключенных, Ученый одним из первых достигал места, где лежали и хватали раскрытыми ртами разреженный воздух те, кому и на этот раз удалось одолеть подъем. Но постепенно «сепаратор сопки» отбрасывал его все дальше от головы колонны, и теперь он плелся даже не в ее середине. Сердце, про которое он шутил прежде, что не знает толком, где оно находится, давало себя знать все сильнее и чаще. Одолевала слабость, саднящая боль в груди, ощущение нехватки воздуха. Чем ближе к хвосту колонны он карабкался на гору, тем чаще наблюдал как кто-то рядом с ним останавливался и хватался за сердце. Потом человек медленно опускался на склон, глядя помутневшими глазами вслед тем, кто тяжело отрывая от земли ноги, продолжал путь дальше. Чаще всего эти глаза выражали только физическую боль, но иногда еще страх и смертельную тоску. В углах рта у некоторых выступала пена.

Оглядываясь, Ученый видел, как к упавшему не торопясь подходят охранники. Теперь он уже и слышал иногда, как пнув для начала скрючившегося на земле человека, кто-нибудь из них кричал на него ненатурально грубым голосом, как пастух на скотину:

– А ну, кончай придуриваться!

Перспектива такого конца не столько страшила, сколько возмущала Ученого своей бессмысленностью. Стоило родиться на свет

на редкость одаренным человеком – теперь, в своем нынешнем положении он считал себя вправе давать себе такую оценку – многого достигнуть и к еще большему стремиться, чтобы таким нелепым, противоестественным образом погибнуть среди угрюмых гор, где-то на самом краю света. Он всеми силами на протяжении последних двух с лишним лет старался отдалить этот конец, веря в какое-то чудо, невозможность которого отчетливо понимал. Но вера в чудо органически присуща попавшему в безвыходное положение человеческому существу, так же как присущ ему рефлекс защиты себя ладонями от падающей скалы. Эта вера проявляется не только в большом, но и в малом, подчас почти смешном своей наивностью.

Разве он не знал, например, что в санчасти их лагеря нет почти никаких лекарств, когда пошел вчера к лагерному лектому, бывшему ветврачу, просить дать ему чего-нибудь против усиливающихся день ото дня перебоев сердца. Ветеринар не стал даже прикидываться, что проверяет жалобу больного выслушиванием этого сердца и порошки дал. Такая легкость отпуска лекарства и его чем-то очень знакомый вкус навели недоверчивого пациента на мысль капнуть в свой порошок разбавленной соляной кислоты, выданной тем же лектомом его соседу по нарам. Эта кислота, да еще отвар кедра-стланника были в их лагере единственными медикаментами, имеющимися в достатке. Смесь бурно вспенилась. Так и есть – сода! Как у чеховских сельских эскулапов, ставка на психотерапевтический эффект.

Но если психотерапия при помощи соды не удалась, то тем более была теперь необходима его обычная «отвлекающая терапия» при помощи мышления о чем угодно, кроме, конечно, мыслей о своей судьбе. Она отвлекает от этих мыслей и помогает забыть о боли и даже о том, что физические силы неуклонно иссякают. А весь запас тем, на которые можно размышлять во время этих восхождений, продолжающихся не меньше часа, практически неиссякаем. Можно думать, например, о том, что по мере подъема на сопку становится все яснее, что окружающие ее горы кажутся хаотическим образованием только снизу. Вообще, понятие хаоса в чем-нибудь порождается всегда недостатком знаний о природе и законе этого явления. Отсюда же видно, что сопки, особенно дальние, вытянутые в цепи, как бы набегающие друг на друга, и порождают мысль о волно-

бразном движении. Это движение нельзя считать застывшим, так как горообразовательные процессы, особенно в этих местах, все еще продолжают. Его, наверное, даже можно было бы выразить пусть несколько абстрагированной математической формулой. В противовес представлению о Хаосе – признаку капитуляции разума перед непознанным – математическое отображение явления означает высшее торжество этого разума. Кажется, Лауэ сказал, что математика дарит человеку радость наслаждения истиной в ее наиболее чистом виде. Но эта истина лишена красок, звуков и всего того, с чем связана всякая реальность. Этот горный ландшафт, например. Он наводит на мысль о мертвых планетах, о чем-то глубоко чуждом и враждебном человеку. Это не выразишь формулой. Здесь нужна музыка. Если архитектура – это застывшая музыка, как было сказано уже очень давно, то горы имеют на такое определение еще большее право. Только симфония здесь должна неизбежно перемежаться с какофонией. И какое же из этих начал должно подчиняться другому? Это зависит уже от восприятия мира творцом музыки. В отличие от математических выкладок, абсолютно объективных по самой своей сущности, здесь возможно и даже обязательно субъективное начало. Без этого начала само понятие искусства было бы лишено своего смысла.

Кому-то из мудрецов, склад ума которого, вероятно, был совсем иным, чем у Лауэ, принадлежит мысль, что музыка тем и хороша, что мешает логически думать. Так ли это? Вернее, так ли это всегда? Создатель проективной геометрии, математик Бальи находил законы этой геометрии, играя на скрипке. Математический и музыкальный центры мозга, по-видимому, близки друг к другу, если только не совпадают. Среди профессиональных музыкантов математиков, правда, нет. Это объясняется, вероятно, специальным характером предмета и трудностью освоения его техники. Зато много музыкантов-любителей высокого класса среди математиков. Оркестр, в котором он играл, почти сплошь состоял из математиков и физиков. Эйнштейн прекрасно играл на скрипке. Виолончелист оркестра Дома ученых в иные периоды не сумел бы, наверное, достаточно определенно ответить на вопрос: кто в нем преобладает, математик или музыкант? В своей ранней молодости долго не мог ответить на этот вопрос и великий физик Макс Планк. Многие, на-

чиная со времен древних греков, пытались найти математические законы музыки. Он сам, в порядке некоего увлечения, пытался разработать, хотя бы в самом общем виде, математическое выражение фуги. Приятели шутили: «Я алгеброй гармонию поверил...». Шутка казалась обидной. Приписываемая Пушкиным своему Сальери попытка подменить интуицию гениального музыканта чем-то вроде конструирования музыки по готовым формулам, всего лишь поэтический прием. Ведь и сама математика, если говорить о ее непроторенных путях, создается за счет все той же интуиции. Представление об ее творцах как людях особо рационалистического ума – плод невежественного и плоского мышления.

Познание Истины ради самой Истины не носит примитивно рационалистического характера уже потому, что заранее известно: всякое открытие ставит больше проблем, чем решает их. Познание человеком законов мира часто сравнивают с открыванием ребенком куколок деревянной матрешки. Ему такое сравнение кажется не совсем удачным. Куколки, по мере того как разбирается забавная игрушка, оказываются все меньше по размеру. Вложенные же одна в одну загадки природы, наоборот, становятся все масштабнее, все глубже, все труднее для разрешения. Может быть, следовало бы заменить ребенка в подобном сравнении, скажем, червем-древоточцем, помещенном в самую маленькую из матрешек. Пытаясь раскрыть тайны строения окружающего его «мира», этот червяк буравил бы одну за другой крепкие деревянные оболочки. И, конечно, находил бы, что они становятся все толще, все объемистее, все труднее для одоления. Обладай он хмурым и дотошным умом шекспировского Гамлета, червяк-исследователь пришел бы, вероятно, к тому же выводу, что и герой знаменитой трагедии. «Много есть на свете, друг Гораций, такого, что и не снилось нашим мудрецам»...

Однако, от размышлений на отвлеченные философские темы мозг начал утомляться почти так же быстро, как сердце от физических нагрузок. Надо занять его работой полегче. Например, вычислением энергии, затрачиваемой каждым из этого вот развода, чтобы добраться до вершины сопки. Задача элементарная. Надо помножить средний вес заключенного – его можно принять равным всего пятидесяти килограммам, больше сейчас тут мало кто весил – на высоту подъема в метрах. Получится пятьдесят тысяч килограммоме-

тров механической работы. Чтобы выразить ее в привычных калориях, нужно разделить этот результат на механический эквивалент тепла, который, грубо округляя, можно считать равным четырестам. Получится, что восхождение на сопку только от ее подножия обходится даже предельно исхудалому человеку в более чем тысячу двести калорий. Это больше половины калорий, заложенных в хлебном пайке, получаемом теми из заключенных, которые выполняют производственные нормы. У невыполняющих дневной план их утренний паек едва покрывает расход энергии на одно только это восхождение. Вот почему сердце, даже у самых молодых и сильных из привезенных сюда, начинает работать как мотор, в баке которого иссякает горючее... Но это уже тема, запретная для размышлений.

На столбе справа, одном из двадцати, установленных вдоль линии бремсберга и несущих провода, питающие ток двигатель лебедки, жирно выведен его номер – 531. Номер опоры в начале рельсового пути на сопку 517. Значит, позади осталось почти две трети длины склона. Но будет правильнее определить соотношение пройденного и оставшегося пути не по его длине, а по энергии, затрачиваемой на подъем. Тогда получится куда менее благоприятный результат, сопка с высотой становится круче. Самое трудное место восхождения находится между опорами 533 и 534. Склон там пересекает скальное образование, напоминающее естественный карниз или барьер, протянувшийся параллельно вершине сопки. Подъем на месте этого выступа так крут, что для спрямления линии бремсберга в нем пробрили выемку, и взбираться по этой выемке было бы, конечно, гораздо легче, но во время восхождения на сопку целого развода заключенных это не разрешалось. Они могли бы задержать движение по бремсбергу вагонеточных поездов. Чертов барьер является критическим участком кривой подъема и с чисто математической точки зрения. Выражение функции этой кривой никому, конечно, не известно. Но несомненно, что ее первая производная где-то именно здесь меняет свой знак с плюса на минус. То есть удовлетворяет математическому признаку максимума всякой аналитической функции.

Этот признак найден французским математиком прошлого века Коши и долго назывался его именем. Для каторжника, знающего математику и все менее уверенного, что при очередном восхож-

дении он сумеет преодолеть этот максимум, «признак Коши» стал с некоторого времени чем-то вроде мрачного символа. Конечно, это плод его нынешнего угрюмого праздномыслия. Но и того еще, что большинство смертей, которыми так часто сопровождается восхождение на Оловянную, происходит именно на этом участке подъема. Возможно, что и давно покойный маркиз Огюстен Луи Коши, имея он возможность наблюдать почти ежедневно происходящие здесь трагедии, усмотрел бы в них не только лишнюю иллюстрацию к своей теореме.

Выдающийся аналитик и математик, он был крайне консервативен в своих политических взглядах. Он считал, что попытки насильственного преобразования общества, с какими бы благими намерениями они не производились, неизменно пагубны, так как нарушают установления самого бога. Наивная точка зрения верующего человека и клерикала. Но так ли уж далека она от истины, если рассматривать ее с не слишком предвзятой точки зрения? Эта непредвзятая точка зрения, склонность проверять своим умом то, что проверять запрещено, более других людей свойственна профессионалам мыслительной работы. Вроде него самого, например. В обществах с авторитарной формой правления она остается опасным посягательством на монополию немногих думать за всех. Отсюда и извечная война единоличных диктатур и деспотий с собственной интеллигенцией. Она начиналась еще в Древнем Египте, красной нитью прошла через историю императорского Рима, не говоря уже о средневековых, полутеократических европейских государствах с их инквизицией. Но первым, кто поставил эту войну на продуманную, рационалистическую основу, был, похоже, древний китайский император Цинь Шихуанди. Для начала эпохи абсолютно единоличного управления он повелел в своей империи умертвить всех философов. И, притом, такими способами как утопление в нужниках, например. Это чтобы отбить охоту к критическому мышлению даже у тех, кто отягощен избытком ума и знаний.

Цинь Шихуанди жил более двух тысяч лет тому назад. Технические приемы старого богдыхана устарели. Но не его политические принципы. Иначе профессор математики не карабкался бы на эту сопку вместо того, чтобы заниматься теорией расходящихся рядов. До барьера, перевал через который становился для него все более

трудным, остается всего один интервал между опорами. Всего одна двадцатая общей высоты сопки. А между тем она равна высоте двадцатиэтажного дома. И взбираться на эти двадцать, поставленных друг на друга многоэтажных домов приходится не по удобным лестницам, а по осклизлым, местами еще покрытым тающим снегом камням.

Конец мая – один из самых неблагоприятных периодов для восхождения на здешние горы. Богато иннервированный «мышечный мешок», который люди так долго считали вместительным своей души, в общем-то значительно трусливее ума. От одного приближения к круто вздымающемуся участку склона сердце начинает ныть особенно сильно, норовя совсем размагнититься в самый неподходящий момент. Поэтому нужно думать не о близком максимуме крутизны, в котором максимальной становится и нагрузка на почти отказывающее сердце, а о той же музыке гор, например. С этой высоты уже совершенно очевидно, что здешняя горная система имеет ясно выраженный, волнообразный характер, хотя и весьма сложный. Значит, и выражать его надлежало бы средствами полифонической музыки и среди них – фуги.

При некотором напряжении воображения он уже сейчас слышит мощные, накатывающие друг на друга волны звуков. Вначале они должны изображать столкновение и борение между собой громадных масс мертвой материи. Затем проникновение в их первозданный хаос некоего организующего начала. Постепенно это начало приходит к своему торжеству, пока еще не окончательному. Борьба сил, слишком могучих, чтобы замечать человека, все еще продолжается. Трагическая «тема» этого человека едва пробивается сквозь раскаты воображаемой полифонии. Сегодня она – совсем слабый, какой-то молящий звук. Это потому, что человек уже почти исчерпал свои силы в борьбе с враждебными силами. И одна из этих сил – сила тяжести, ставшая почти неодолимой.

Это она не позволяет оторвать от скалистого грунта дрожащие, подкашивающиеся ноги. Это благодаря ей сердце от бешеных вибраций, когда оно, кажется, готово выскочить из своей тесной клетки, переходит к почти полным остановкам. В такие моменты не только ноги, но и все тело как будто обмякает, становится ватным. В глазах темнеет, по лицу и груди как будто кто-то проводит жесткой

скребницей. И все время не хватает воздуха, хотя он дышит уже как рыба на суше, широко открытым ртом.

..Ну да, он поднялся до высоты, где кривая подъема удовлетворяет признаку максимума Коши. Неужели сегодня он уже не сумеет преодолеть этот максимум? Проходят последние из карабкающихся на сопку заключенных. За ними следуют уже свирепые стражники с их винтовками. Но, может быть, еще можно предельным усилием воли заставить себя и на этот раз преодолеть проклятый барьер? Может быть, к нему явится даже «второе дыхание».

Но второе дыхание не приходило. Сквозь застилавшую глаза мглу стало видно, как качается соседняя, гораздо шире и выше Оловянной, сопка. Кто-то дал этому угрюмому, голому конусу нелепое для него название «Вакханка». Но сейчас гора как будто решила оправдать это название. Пьяно качнувшись несколько раз, она упала. Место ее бурого склона с красноватыми промоинами заняло совсем близкое, разлохмаченное облако. Ранней весной облака всегда такие тяжелые и набухшие. Ранней, конечно, по здешним понятиям. Где-то уже отцветает сирень, а здесь только эти облака, осклизлый снег и что-то еще, чего он никак не может вспомнить...

Все стремится к состоянию наименьшей энергии. Все, кроме биологических систем, пока они живы. Он тоже жив, так как думает о том, что же является еще одним характерным признаком весны в этих проклятых краях. Ну, конечно! Добротные яловые сапоги. На них недавно сменили валенки здешние вохровцы...

– А ну, поднимайся, хватит придуриваться!

Удар носком тяжелого сапога по силе и точности не уступал удару по мячу опытного футбольного бомбардира. Боль от него проникла даже сквозь слабеющее сознание. Но тут же и погасла вместе с этим сознанием, клочковатым, почти черным облаком наверху и высящимися рядом темными фигурами. Второго удара Ученый уже не почувствовал.

Юрий ОКУНЕВ

В НЕМИЛОСТИ У ПРИРОДЫ

Глава из романа

В этом году в издательстве «Алетейя» (Санкт-Петербург, Россия) выходит в свет новый роман Юрия Окунева «В немилости у природы».

Это петербургский роман с ленинградской начинкой, это путешествие из Санкт-Петербурга в Ленинград времен «развитого социализма». Роман посвящен противоречивой жизни технической интеллигенции 70-80-х годов, нелегкой судьбе талантливых ученых, создателей новой техники в условиях тоталитарного режима. Герои романа работают на мировом уровне, пытаются вывести свою страну на ведущие позиции в ключевых направлениях науки, но этому препятствуют окаменевшие порядки режима, вступившего в застойный период. Главным героям романа так и не удается прорваться сквозь заслоны партийно-государственной диктатуры – на родине их разработки не востребованы, а творческие планы не реализованы.

В публикуемой главе рассказывается о заседании идеологической комиссии парткома предприятия, на котором закаленные в борьбе с инакомыслием партийцы решают вопрос, отпустить ли в заграничную командировку главных героев романа...

Нас с Ароном рассматривали отдельно – сначала его, потом меня.

Пока я сидел в приемной парткома, ожидая вызова на ковер, ничего хорошего и светлого в голову не приходило. Я пытался вспомнить эпизоды деятельности средневековой Святой инквизиции. Кажется, полное название этой организации было «Святой отдел расследований еретической греховности». Конечно, сам факт

нашего неподдельного желания совершить кругосветное путешествие можно было бы счесть проявлением ереси. Правда, при двух смягчающих обстоятельствах: мы намеревались совершить это греховное деяние по приказу безгрешного по определению начальства и в интересах укрепления обороноспособности родины. И тем не менее сидящие за двойными дверями парткома члены святой инквизиции просто обязаны подозревать наличие ереси в наших с Ароном помыслах – мол, командировка командировкой, а что эти «путешественники» на самом деле будут думать в заморских странах в отрыве от своей социалистической родины?

Я с тоской размышлял о том, что Идеологическая комиссия парткома была только первым и отнюдь не самым главным инквизиторским барьером на пути подобных мне граждан страны развитого социализма, возжелавших съездить за границу. Она играла роль некоего предварительного фильтра, долженствующего отсеивать явно непригодных для заграничных путешествий субъектов. Комиссия освобождала тем самым более высокие инквизиторские инстанции от рутинной работы по выявлению лиц греховной ориентации, которые не смогут устоять перед соблазнами тамошней заграничной жизни, а пуще того – завезут ту заразу к нам. Многие небольшие организации даже не имели подобных комиссий, их заменял так называемый «треугольник» – директор организации, секретарь парткома и председатель профкома, которые как бы брали на себя ответственность за поведение лица, рекомендованного к поездке за границу. В случае недостойного поведения этого лица – участия в несанкционированных встречах с иностранцами, контактах с проститутками, журналистами, иммигрантами, антисоветски настроенными элементами и т.д., и т.п. – или, не дай бог, в случае бегства предателя, изменника родины в мир капитализма «треугольник» ожидало наказание, соответствующее тяжести преступления рекомендованного им лица. Это наказание, однако, демпфировалось тем благоприятным для «треугольника» обстоятельством, что последующие инстанции, судя по результату, тоже пропустили такого неподготовленного для поездки за рубеж субъекта, то есть не разобрались, проявили идейную незрелость, пошли на поводу... Вследствие этого данный инквизиторский барьер, как правило, преодолевался без особых усилий, если, конечно, за вами не числились

такие совершенно ужасные деяния, как, например, изнасилование секретарши директора, систематическое пребывание в вытрезвителе или публичные антисоветские высказывания. Последующие барьеры – второй и третий инквизиторские круги, через которые мне еще предстояло пройти, были более серьезными. Там дело рассматривали не местные партийные активисты-самоучки, а закаленные в борьбе за построение коммунизма в одной, отдельно взятой стране железные партийцы опасной пенсионной зрелости под руководством профессионалов из госбезопасности. Последние располагали не только беззубой характеристикой субъекта с места работы, но и обширным досье со всеми данными и доносами о нем...

Мои размышления о нашем великолепно отлаженном, многоступенчатом механизме отбора лиц, пригодных для поездки за границу, прервало появление Арона. «Там перерыв, – сказал он, выйдя из дверей парткома, – у тебя есть минут пятнадцать, пойдем перекурим». Мы вышли на лестничную площадку, закурили, и Арон кратко рассказал, что там было.

Его спросили сначала, какие капиталистические страны он лично собирается посетить во время командировки. «Видите ли...» – начал было Арон, но Иван Николаевич прервал его и разъяснил уважаемым членам комиссии, что это не их ума дело, а именно – командировочное задание товарища Кацеленбойгена относится к закрытым материалам и известно только ведомству заказчика и никому другому. «Есть ли еще к Арону Моисеевичу вопросы по существу?» – спросил он. Все молчали, но Игнатий Спиридонович – большевик с дореволюционным стажем, лично знавший, по его утверждениям, самого Владимира Ильича, спросил: «Какие выводы для себя лично вы, как коммунист, сделали из решений последнего Пленума ЦК нашей партии?» Члены комиссии, вероятно, пожалели, что уважаемый Игнатий Спиридонович задал такой вопрос, ибо Арон тут же прочитал им небольшую лекцию о решениях Пленума ЦК их родной партии и о тех задачах, которые эти решения ставят перед всеми коммунистами и лично перед каждым членом комиссии. Они, члены комиссии, я думаю, внезапно горестно осознали, как мало лично сделали для реализации тех решений, и, пристыженные, больше вопросов к Арону Моисеевичу не имели. Поэтому Ивану Николаевичу не составило труда по-быстрому заключить,

что товарищ А.М. Кацеленбойген является зрелым коммунистом, преданным делу партии, и что его непосредственное участие в предусмотренных правительством зарубежных работах чрезвычайно важно для нашего отечества.

«Короче, – подвел черту Арон, – меня, ясное дело, рекомендуют для поездки. Теперь твоя очередь. Не волнуйся, веди себя уверенно, но, прошу, сдержанно и аккуратно...»

А я и не волновался... Арон не знал, что Катенька предупредила меня: положительное решение по моему вопросу уже негласно принято.

В кабинете секретаря парткома размером с волейбольную площадку, помимо огромного письменного стола самого Ивана Николаевича и приставленного к нему стола под зеленым сукном с красивыми стульями для посетителей, располагался еще один непомерно длинный стол заседаний парткома, занимавший половину зала вдоль трех высоких окон с замечательным видом... Впрочем, про вид умолчу, чтобы, не дай бог, не раскрыть местоположение нашего богоугодного заведения. Сам Иван Николаевич восседал во главе синклита в торцовой части стола заседаний, а мне было предложено занять место напротив него в противоположном торце так, чтобы моя личность была видна всем членам комиссии, располагавшимся по обеим сторонам стола. Екатерина Васильевна вела протокол заседания за небольшим столиком несколько в стороне и, слава богу, у меня за спиной, что обеспечивало возможность не отвлекаться греховными мыслями от столь серьезного процесса.

Процесс же начался, когда по знаку Ивана Николаевича его помощник Илья Яковлевич зачитал мою биографию и рабочую характеристику, написанную Аронем. Из этих документов нарисовался монументальный образ молодого советского ученого, все свои силы и всё свое время без остатка отдающего на благо социалистической родины. Илья Яковлевич прежде служил военным политруком, но был уволен, когда Политбюро приказало министру обороны без лишнего шума очистить армию от евреев. Он, однако, продемонстрировал непотопляемость партийной номенклатуры и всплыл у нас на волне укрепления партийного влияния в промышленности. Илья Яковлевич, конечно, не верил ни одному слову зачитанных им опусов, ибо имел допуск к досье сотрудников в секретном отделе,

где пользовался репутацией своего человека. Тем не менее для меня и, хотелось думать, для членов комиссии эти материалы давали позитивный старт всей процедуре.

Первым задал вопрос, конечно же, Игнатий Спиридонович, причем вопрос совершенно неожиданный: «Какое историческое событие отражает памятник у Финляндского вокзала?»

Здесь, вероятно, уместно пояснить, что Игнатий Спиридонович был весьма известным в высших кругах партийным начетчиком. Его популярность поддерживалась не только слухами о личном знакомстве с самим Лениным, но и вполне реальными познаниями в марксистско-ленинской теории – никто не помнил так много цитат из классиков марксизма-ленинизма, как он. Как ему удалось при подобной эрудиции выжить во времена сталинского террора – остается загадкой. Невероятная память на цитаты сделала Игнатия Спиридоновича чрезвычайно важной партийной фигурой в тот самый момент, когда по решению ЦК цитирование классиков дозволялось только с конкретной ссылкой на письменный первоисточник. Конечно, и раньше партийное начальство обращалось к нему за помощью в подборе подходящих к случаю цитат, но после указанного решения без Игнатия Спиридоновича просто жить стало невозможно. Рассказывали, например, о таком анекдотическом случае.

Как-то сам Первый секретарь Ленинградского обкома КПСС и член Политбюро вознамерился произнести речь на каком-то комсомольском съезде. Гвоздем речи была знаменитая ленинская фраза: «Учиться, учиться и учиться...» Железный маршеобразный ритм этого высказывания вождя наряду с его полной бессмысленностью производил на молодых лентяев и неучей огромное воспитательное впечатление. Сам вождь якобы произнес эту бессмертную сентенцию на каком-то молодежном сборище еще в доисторические времена, но в соответствии с новыми веяниями надлежало дать точную ссылку на том и страницу его трудов, где высказывание было впервые опубликовано. Срочно найти первоисточник было поручено Игнатию Спиридоновичу. Он, как положено, провел скрупулезное исследование и доказал, что такой фразы в трудах Ленина нет... По отдельности слово «учиться» в трудах классика встречается, а три

раза подряд никак нет, не обнаруживается. Замешательство и даже недовольство в высших сферах ничуть не сбило Игнатия Спиридоновича с праведного пути, а напротив, укрепило его начетнический авторитет, так что Ивану Николаевичу стоило больших трудов и, полагаю, немалых денег сделать Игнатия Спиридоновича внештатным членом нашего парткома.

Итак, вопрос о памятнике у Финляндского вокзала был Игнатием Спиридоновичем задан, и я, обрадованный его простотой, высокопарно ответил: «У Финляндского вокзала воздвигнут памятник Владимиру Ильичу Ленину; в нем запечатлен момент возвращения вождя мирового пролетариата из ссылки». А затем, чтобы совсем добить членов комиссии своими познаниями в истории партии, неосмотрительно добавил: «Вернувшись из ссылки, Владимир Ильич взобрался на броневик и прочитал восторженной толпе балтийских матросов свои знаменитые Апрельские тезисы». Наступила грозная тишина... Игнатий Спиридонович скривился и сказал: «Во-первых, Владимир Ильич прибыл на Финляндский вокзал не из ссылки, а из заграницы, и, во-вторых, Апрельские тезисы, как программный документ большевиков, был впервые принят на Седьмой Всероссийской конференции РСДРП(б) через три недели после его приезда». Я хотел было возразить в том смысле, что, мол, гениальный вождь уже всё наперед предвидел в момент залезания на броневик, но вспомнил просьбу Екатерины Васильевны не выпендриваться, не зарываться и промолчал.

Второй каверзный вопрос задал мне Борис Григорьевич – главный корпоративный антисемит, делавший служебную карьеру путем непримиримой борьбы с сионизмом. Блестящую совдеповскую идею – закамуфлировать свой пещерный антисемитизм высокоиндейным антисионизмом – Борис Григорьевич практически внедрял во все сферы жизни нашего ПООПа. Я был предметом его особой неприязни – мол, с евреями всё и так ясно, но главную опасность представляют подобные Уварову скрытые, славянских корней пособники сионистского влияния. Истинная подоплека этой неприязни, помимо банальной зависти – прибежища бездарности, была еще вот в чем: в отличие от евреев, я мог себе позволить дать отпор завуалированному под идейность юдофобству.

– Как бы вы, Игорь Алексеевич, прокомментировали агрессив-

ное нападение израильской военщины на арабских соседей во время войны Судного дня?

– Насколько я знаю из печати, Борис Григорьевич, Египет и Сирия первыми напали на Израиль. Поэтому обвинения в агрессивном нападении следовало бы адресовать другой стороне. Если у вас есть иная информация, не совпадающая с официальной, то было бы любопытно узнать, откуда вы ее получаете.

– Что оставалось делать арабам перед лицом готовившегося сионистами нападения – они вынуждены были превентивно атаковать.

– А что оставалось делать евреям перед лицом внезапного нападения арабов с двух сторон – они вынуждены были защищаться.

– Вы, Игорь Алексеевич, похоже, симпатизируете сионистам и ничуть не сочувствуете семьям советских специалистов и советников, пострадавших от рук израильских вояк.

– Навешивание политических ярлыков показывает отсутствие у вас, Борис Григорьевич, каких-либо серьезных аргументов в поддержку вашего мнения. Кстати, советские специалисты не принимали участия в той войне – так говорят наши официальные источники. Откуда у вас противоположная информация?

Иван Николаевич вынужден был прервать эту дискуссию, которую партком в лице Бориса Григорьевича явно проигрывал. Мне показалось, что некоторые члены комиссии были рады этому – уж слишком нагло, расталкивая других достойных партийцев, лез наверх этот молодой из ранних выскочка-антисионист...

Обстановку разрядил мой приятель Артур из соседнего отдела. Как он попал в эту инквизиторскую компанию – ума не приложу. Артур был серьезным ученым в области системотехники, готовил докторскую диссертацию. Когда он не без смущения сообщил о своем решении вступить в партию, у меня на лице, естественно, нарисовались недоумение и осуждение. Артур тогда, помнится, превентивно оправдывался: «Игорь, пойми, если мы, порядочные люди, хотим добиться позитивных изменений в нашей стране, то должны быть среди тех, кто принимает решения – это же элементарный принцип системного подхода». Партия – нужно отдать ей должное – с радостью приняла молодого перспективного ученого в свои ряды. Теперь она, партия, судя по всему, старается повязать

неофита со всеми своими функционерами одной грязной веревкой в точном соответствии с его системным подходом.

Артур Олегович резко свернул с опасной темы сионизма и задал вопрос, на который, по его представлениям, я без труда мог ответить: «Скажите, пожалуйста, Игорь Алексеевич, кто сейчас возглавляет МНРП – Монгольскую народно-революционную партию?» Этот вопрос ужаснул меня... По рекомендации Арона я вызубрил имена главных коммунистов только тех стран, мимо которых мы предположительно намеревались проплыть. Естественно, среди этих стран не было Монголии, не имеющей выхода к морю, но Артур полагал, что о Монголии я знаю достаточно много. Дело было вот в чем...

Однажды, еще до вступления в партию, Артур подарил мне на день рождения полугодовую подписку на газету «Социалистическое сельское хозяйство» на монгольском языке. Причиной такого странного подарка было замечательное монгольское название газеты, крупной кириллицей отпечатанное наверху ее первой страницы: «СОЦИАЛИСТЕ ХУДО АЖ АХУЙ». Приятное для русского уха и трогательное до слез звучание этого названия удачно сочеталось с убийственно точной характеристикой не только монгольского сельского хозяйства, но и любого социализма в целом. Вследствие этого экземпляры еженедельной монгольской газеты расходились как жареные пирожки, и очередь за ними, состоявшая из моих друзей, знакомых и даже малознакомых, не иссякала, хотя никто из них не читал по-монгольски. Артур, я верю, наивно полагал, что, получая еженедельно монгольскую газету в течение полугода, я поинтересуюсь, по крайней мере, именем Генерального секретаря МНРП. О, святая наивность...

В наступившей вязкой тишине я пытался вспомнить что-либо о Монголии кроме названия ее сельскохозяйственной газеты. Чингисхан, хан Батый – это всё из времен Великой монгольской империи и татаро-монгольского ига. Может быть, сорваться и ответить – Чингисхан, и пусть все они идут в задницу со своей МНРП. Почему я должен унижаться здесь, какое это всё имеет отношение к моей работе?... Да, но кругосветное путешествие... Вот еще всплыло – столица Улан-Батор, и я, наконец, вспомнил: Сухэ-Батор. Кажется, Сухэ-Батор и основал эту МНРП, но он наверняка давно умер.

Вдруг всплыло еще одно имя – Чойбалсан, диктатор и убийца сталинского розлива, если мне не изменяет память. Достойный продолжатель чингисхановских методов в XX веке, вполне подходит на роль запрашиваемого лица...

Тишина становилась угрожающей, молчать больше было невозможно, и я выпалил: «Чойбалсан». Игнатий Спиридонович, скорбно вздохнув, сказал: «Товарищ Чойбалсан скончался в 1952 году». Я определенно поплыл... В голове вертелось – Чемберлен, Цимерман, Цедербаум, Чимбербал... От полного провала меня спасла Екатерина Васильевна. Она неожиданно начала раздавать всем листки с повесткой дня сегодняшнего заседания, и на подсунутом мне экземпляре внизу было от руки мелко приписано – Цеденбал. Славный Катеньш... Я выдержал паузу, наморщил лоб, изображая крайнюю степень умственного напряжения, и небрежно сказал: «Да, прошу прощения за оговорку. Это, конечно, товарищ Цеденбал».

«Думаю, вопросов больше нет, комиссия имеет достаточно материалов для принятия решения и может приступить к его обсуждению. Нет возражений? Вы свободны, Игорь Алексеевич», – завершил экзекуцию Иван Николаевич.

Катя потом рассказала о закрытой части моего процесса. Игнатий Спиридонович высказался в том смысле, что он, конечно, не в курсе деловой подоплеку командирования товарища Уварова за границу, но товарищ Уваров, к сожалению, имеет весьма поверхностную политическую подготовку, вследствие чего он лично предпочитает воздержаться при голосовании по данной кандидатуре. Борис Григорьевич сказал, что он против «этой кандидатуры» и пояснил: «В условиях агрессивного сионистского заговора, поддерживаемого империалистами США, считаю недопустимым рекомендовать для командирования за границу человека с нетвердыми политическими убеждениями и склонного к преуменьшению сионистской опасности». Артур Олегович возразил, что не согласен с позицией уважаемых товарищей по рассматриваемому вопросу. Товарищ Уваров, по его словам, фактически правильно ответил на все вопросы, никто не сомневается в его научно-технической квалификации и способности выполнить на высоком уровне важное правительственное задание. «Мы совершим серьезную политиче-

скую ошибку, если отклоним кандидатуру товарища Уварова», – заключил он.

Дело решило выступление Ивана Николаевича. Он начал изда-лека, рассказал, какие серьезные задачи стоят перед отечественной оборонной промышленностью, а затем пояснил, насколько критично участие специалистов высшей квалификации в государственных испытаниях важнейшего нового изделия нашего предприятия. Секретарь парткома закончил свое выступление мощным аккордом:

«Мы должны иметь в виду, товарищи, что речь идет не о туристической поездке нашего сотрудника за границу, а об ответственной работе стратегического значения, которая может быть выполнена только за рубежами нашей родины. В политических знаниях товарища Уварова, конечно, имеются огрехи, но подозревать русского человека пролетарского происхождения в симпатиях к сионизму, по-моему, уж извините, Борис Григорьевич, – есть полная чепуха. Что же касается квалификации товарища Уварова и его готовности к выполнению данной работы на требуемом заказчиком уровне, то по этому вопросу у всех членов комиссии мнение однозначное и весьма положительное. Поэтому я предлагаю утвердить кандидатуру И.А. Уварова для выполнения производственного задания за рубежом и направить в райком партии соответствующую рекомендацию за подписью треугольника предприятия. Кто за это предложение, прошу поднять руку... Кто против?... Кто воздержался?... Решение принято при одном против и одном воздержавшемся. Прошу вас, Илья Яковлевич, и вас, Артур Олегович, совместно подготовить текст рекомендации треугольника для комиссии райкома партии».

Отпущенный на свободу, я решил дожидаться Катю во что бы то ни стало. Отогнал машину за пару кварталов и почти час проторчал за углом, укрывшись в телефонной будке. Позвонил, конечно, Арону.

– Арон, привет! Меня отпустили, результат не знаю, подробности при встрече...

– Всё в порядке, Игорь – и тебя, и меня утвердили, готовься к райкомовской комиссии. Между прочим, и у меня, и у тебя один голос против. Догадываешься, кто это?

– Ясное дело – наш профессиональный антисионист Б.Г.

– Почему он голосовал против меня, и ежу понятно... Но почему против тебя?

– Фактически по той же причине... Помнишь, у Евтушенко: «Еврейской крови нет в крови моей, но ненавистен злобой заскоружлой я всем антисемитам, как еврей...» Однако, как ты узнал о результатах?

– Мне только что позвонил Иван.

– За что такая честь?

– Он очень доволен тем, как провернул дело, и, я думаю, связывает известные тебе последствия этого дела со своими личными далеко идущими планами. Если, конечно, мы с тобой не ударим в грязь лицом на морских просторах...

– Спасибо, Арон, за хорошую новость. Мы справимся, если не будут мешать. Пока... Я из автомата, перезвоню тебе позже... – зато ропися я, увидав идущую в моем направлении Катю.

Она ничуть не удивилась моему присутствию на ее пути в метро.

– Тебя утвердили, Чойбалсан, подробности потом, сейчас нет ни времени, ни настроения...

– Спасибо тебе! Поедем ко мне...

– Нет, не поедем... Я же сказала, что нет ни времени, ни настроения.

– Давай я хотя бы отвезу тебя домой.

– Пожалуй, устала я сегодня.

В машине я пытался обнять ее, но она не была склонна к нежностям.

– Что-то случилось, Катя?

– Ничего нового, просто тошно от всего.

– И от меня?

– Я не говорила про тебя.

– Что-то все-таки случилось... Поделись со мной, не держи в себе.

– Почему мне надо делиться неприятностями с тобой?

– Потому что я люблю тебя.

– А как же Аделина?

– При чем здесь Аделина... Не хочешь рассказывать, не надо...

Я был удивлен и огорчен, мне казалось, что Катя уже давно не ревновала меня, ее замужество как-бы уравнило нас, но оказывается... Мы долго молчали, дорога была неблизкая – Катя жила в доме сталинских времен с замечательным видом на парк Победы, совсем недалеко от моего новостроя. Я помнил этот вид еще по старым добрым временам... Она первой прервала молчание.

– Устала я, Игорь, от домашних скандалов. Мама не любит Севу, он не любит маму... У мамы нервный характер без тормозов, а Сева не терпит, когда, как ему кажется, мама не считает его хозяином в доме.

– Я уже не раз говорил тебе, что вам с мамой нужно жить отдельно. Поменять квартиру и разъехаться нужно...

– Говорить легко... а вот жить без мамы при моей занятости трудно. Она ушла с работы, чтобы сидеть с Витюней, и весь дом на ней.

– Всё равно тебе нужно решать проблему – Сева и твоя мама не уживутся никогда. Если потребуется моя помощь, скажи...

– Ой, не смей меня, Чойбалсан! Решить проблему можно очень просто... Я развожусь с Севой и выхожу замуж за тебя. Возьмешь меня замуж? Вместе с мамой и сыном, с твоим, между прочим, сыном, – не забыл еще?

– Это запрещенный удар, Катя... Я ничего не забыл... Это ты кое-что забыла...

Мы опять надолго замолчали, и она опять первой прервала молчание.

– Извини, что вспомнила старое... Если говорить по делу, то даже мою отличную квартиру, но на пятом этаже без лифта, нелегко разменять на две хотя бы приличные.

– Неужели Ваня не может помочь по своим партийным каналам?

– Иван Николаевич занят сейчас своими проблемами, занят так плотно, что ни о чем больше и думать не желает. Если не считать, конечно, твоей Аделины...

– Что ты имеешь в виду?

– Как говорится, все в Одессе знают, а он один-единственный не знает... Клинья Иван к ней подбивает – вот что я имею в виду. Вызывал на днях к себе – якобы для производственной беседы...

Во мне нарастало чувство недовольства собой, какая-то тре-

вога тягостная... Знаете, со всеми, наверное, бывает такое – когда в душе некий неприятный осадок от чего-то, а от чего – не очень понятно. Конечно, я вел себя на комиссии как последний оппортунист, приспособливался, беспринципно выкручивался... А что делать? Все мы участники этой лжи. Как те, кто не понимает этого, так и такие, как я, кто понимает, но терпит, не возражает и участвует во всей этой пакости. А может быть, здесь еще наслоился этот нелегкий разговор с Катей... Разговор с моим моральным поражением в финале. Так всегда у нас с ней бывает – физически по факту я всегда впереди, «со щитом», но морально она всегда выше, а я «на щите». И обманываться на этот счет бессмысленно. А еще тут – новость нелепая об Аделине. Ваня и Аделина – сплошной нонсенс... Хотя, казалось бы, какое мне дело?

Мы подъезжали по Московскому проспекту к парку Победы, я свернул в боковую тихую улицу и остановил машину. Катя сказала: «Пару минут посижу, дай сигарету...» Я дал ей закурить, закурил сам. Мне казалось, что Катя успокоилась, но напряжение этого дня и нашего разговора, вероятно, не могло разрядиться просто так, само собой без взрыва. Она внезапно по-детски всхлипнула: «Не хочу идти домой...», а потом судорожно и жалобно разрыдалась, уткнувшись лицом в мое плечо...

Я молчал, у меня не было подходящих слов, любые слова были бы бессмысленны. Чтобы хоть что-то сказать, я повторил свое предложение: «Если хочешь, поедем ко мне...» Катя наконец справилась с собой, выпрямилась, приложила к лицу платок, потом сказала: «Нет, не хочу, ничего не хочу... Пойду домой, Вите надо помочь с уроками. Ты извини меня – сорвалась... Ты не виноват...» Она вышла из машины, пошла вперед, не оборачиваясь. Я смотрел ей вслед: неужели Катя действительно думает, что я ни в чем не виноват? А кто же тогда виноват, если не я, – ведь только я мог бы изменить ее жизнь к лучшему. Мог бы... Успокоительная мысль вертелась в голове – в этой жизни виноватых нет, точка!

Той ночью я не мог уснуть – тягостный неприятный осадок от всего прошедшего дня не исчезал. Казалось бы – комиссию прошел успешно, все идет по плану, а на душе гадостно. Полным идиотом выказал себя с этими чойбалсанами и цеденбалами. Нет бы сказать им:

«Да пошли вы... со своими монгольскими вождями и прочими первыми секретарями! Я что – партийное выходное пособие у вас выпрашиваю? Мне надо аппаратуру к испытаниям готовить. Вы за меня это сделаете или ваши вожди-секретари? Извольте – делайте! Если вы свою партию любите и о родине заботитесь, не мешайте работать, дайте аппаратуру испытать, ядерный щит родины обустроить... Суки партийные».

Последние два слова я уже даже не в мыслях, а где-то в подкорке запечатлел. А этому мудаку Б.Г. разве так надо было ответить? Надо было:

«Ты, Б.Г., черносотенец и зоологический антисемит, и нечего здесь прикидываться идейным борцом с сионизмом. И твоя партия антисемитская – как гнобить евреев, так это борьба с буржуазным национализмом, а когда евреи разбегаться от вас стали, так это, видите ли, сионистский заговор. Обосрались со своими арабскими друзьями и в крик – израильская агрессия! Тьфу – какая ты, Б.Г., всё-таки мразь».

Так я той ночью остроумничал на лестнице, распаяя самого себя, – сна не было ни в одном глазу. Попытался переключиться на Катю и Аделину, но тут мои позиции так скверны, что дальше некуда, и сна на этой ниве ждать не приходится... Ведь человек ответственен за каждое живое существо, которое приручил, которое заставил, принудил, вынудил полюбить себя, а мужчина – за женщину, которую влюбил в себя. У Кати жизнь сползает под откос без моего участия... Как остановить это? Аделина беспечно ходит по краю обрыва... Как оградить ее от падения? У меня не было ответов на эти вопросы.

Выход вдруг представился мне очевидным... Это был эгоистичный и даже, если быть совсем уж откровенным, бесчестный вариант по отношению к тем, кто любит меня. Это было не решением проблем, а просто-напросто уходом от них, это было временным выпадением из реальности, это было подобно поведению страуса, зарывающего голову в песок, чтобы не видеть опасности, это было уходом в страну неведения...

Кругосветное путешествие! Уйти на полгода в далекие моря, быть посреди безбрежного океана один на один со своей техникой

и своей наукой, думать только об этом, выбросить из головы все эти парткомы вместе со всем остальным начальством, оторваться от забот, тревог и нравственных проблем своей беспорядочной городской жизни, смотреть во все глаза на проплывающие мимо города и страны, спать, в конце концов, спокойно и беспечно...

Кругосветное путешествие – вот мое спасение! С этой благостной мыслью я, кажется, и заснул...

Юрий Окунев – писатель, ученый в области теоретической радиотехники, автор научных монографий, книг историко-публицистического жанра и художественной прозы на русском и английском языках.

Родился в Ленинграде, окончил ЛЭИС им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, возглавлял ведущую научно-исследовательскую лабораторию Советского Союза в области цифровой радиосвязи, получившую мировое признание.

С середины 1990-х годов живет и работает в США, где получил более тридцати патентов на изобретения и награжден Институтом инженеров электроники (IEEE) за «выдающийся вклад в теорию фазовой модуляции и разработку мобильных систем радиосвязи».

Наиболее известным из литературных произведений Ю. Окунева является впервые изданная в С.-Петербурге книга исторических эссе «Ось всемирной истории». Переведенная на английский язык и изданная в США, эта книга под названием «The Axis of World History» получила награду «The National Best Book Awards» и вошла в число лучших книг США в категории «Мировая история».

Впоследствии в США и России были изданы и другие произведения автора, в том числе: мемуары «Детство, которого не было...», книга избранного «По дороге в XXI век», новелла-антиутопия «Програнная война», повесть «Мелодии юности», книга размышлений «Феномен еврейской культуры», повесть «Сага о восставшем из пепла», и ряд очерков на историко-литературные темы.

Информация о книгах Ю. Окунева и прямой доступ к его текстам на www.yuriokunev.com

Дмитрий БОБЫШЕВ

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

Иосифу Бродскому

Жизнь достигает порой
 такой удивительной плотности,
 что лицо разбивается в кровь
 о кулак её милости, скорости, святости, подлости, кротости.
 Попроси, и расскажут тебе
 лётчик, гонщик, погонщик коней и нырятьщик –
 может выломать руку в локте
 многотонного воздуха ящик,
 с жутким свистом мимо летящий.
 Только ночью, себя от него отделив одеялом,
 ты лежишь, семикрыл, рыжеват, бородатат, космоват,
 и не можешь понять, кто же ты – серафим или дьявол?
 Основатель пустот?, чемпион?, идиот?, космонавт?

Таврическая улица, февр. 1964

Наставники

Нет ни Дара, ни Глеба Семёнова...
 А мы сами-то, разве мы есть? –
 от пасомого стада клеймёного
 с вольнодумством отдельная смесь.
 Нас учили казённые пастыри:
 «Деньги-штрих, деньги-деньги, товар».
 Нам же – дай своего: хоть опасного,
 но живого, не правда ли, Дар?
 Вот и глупо мудрели до времени
 и боялись; наставники – тож.

Потому что давали не премии,
а по шапке за так, что живёшь.
Мы у Родины матери-мачехи
ни штриха не просили на хлеб.
Ждали русско-еврейские мальчики
к ним доверия, правда ведь, Глеб?
Мы писали по сердцу, по совести
и несли на ладонях в печать
наши ранние песни и повести.
Был по Чехову стоп: – Не пущать!
Вместо статуй Злодея-покойника
я воздвиг бы под звуки фанфар
отставного, в подтяжках, полковника.
Знак эпохи, не правда ли, Дар?
Да, такой (что там голуби-ястребы),
власть имея, кого бы закласть,
не над перьями правит, но явственно
над мальцами пернатыми, всласть.
От него мы за Даром уехали,
бросив землю на волю судеб,
за немногими слабыми вехами
тех, кто с нею остался, как Глеб.
Боже Правый! До времени Оного
упокой их не в землю, а в стих.
После Дара и Глеба Семёнова
кто там пестует новых, своих?

Милуоки, Висконсин, 1982

Из глубины

1

То ли вишенья, то ли буру
подмешали в чернила:
что ни выпишется перу –
всё – кроваво, червиво.

То ли это калечится мозг,
так буквально язвимый,
словно беса колючего Босх
запустил вдоль извилин;
то ли, – жертва любовных ловитв
под рукой сердцелова, –
растлеваемое, вопит,
вырывается слово.
Нарывает, рыдает о двух
душах, до крови рваных,
весь в буграх, искорёженный Дух,
как терзал его Кранах.

2

Что ни час, то неровен...
А в часу нулевом
кротко блеющий Овен
пожирается Львом.
Срок истёк человечесий.
В том и прок неземной, —
насыщалась бы вечность,
что ни миг, новизной.

3

Дух со следами огня
наклонялся, и жаждал в меня
углубиться.
Тень по границам лица
и внимательный взгляд пришельца
вспышкой блица,
копотная полумгла
и пронзительный взгляд, как игла,
были близко.
Видно, выискивал брешь.
Двух кровей перейдённый рубеж

и расписка
вызвали дух из огня.
Наклонялся, и жаждал в меня...
Я отбился.

4

Куда с паденьем Люцифера
пробита шахтою дыра –
катастрофическая сфера
и центр ядра,
и самый гвоздь существованья,
где боль его, и крепь, и кость
вселенская и мозговая
прошли насквозь,
где заживо ороговела
и одеревенела глубь,
но ржавая в крови каверна
проникла в луб, –
оттуда, из кромешной точки,
где все начала сведены,
забил таинственный источник,
ИЗ ГЛУБИНЫ.

1973

5

Из глубины земной, воздушной, водной,
сребрясь и восклубляясь голубым,
пусть разрастётся пульс во мне сегодня
до огненных и духовых глубин.
Пусть он развалит время, раскрывая
у мига – немигающую высь...
Здесь – вечность человечится живая!
Моё мгновенье, здесь остановись,
где нестерпимо радуется рана,

где саднит, мною ставшая на треть,
та жалость о себе, что слишком рано,
а я готов, согласен умереть.
Не раз я был учён, молчу и знаю...
Но хочет за пределы и края
запутанная, всякая, земная,
вот эта жизнь, какая есть, моя.
И в толщах бытия куда мы денем
сей нужный возглас: – Человеке, сгинь!
Пусть удами во мне трепещет демон,
но блудный сын свой путь уже проделал
в отцовскую чернеющую синь.

Август 1976

Грифельная ода

Уносит всё река времён...
А что и остаётся,
тому конец определён
и вечностью пожрётся.
Но длительнее всех примет
для шествия земного,
повидимому, всё же — нет,
не царственное слово.
Но жалкое, но – в свой же мрак
до Божьего огарка
так пролепетанное, так
прорыданное жарко,
что часть предвечную, алмаз,
светящуюся точку,
на время вложенную в нас,
течением лет проточит.
И та взойдёт по крутизне,
прорезанная блицем,
как бы на рисовом зерне
писцом бронзоволицым.

Сольётся крохотный карат
с пылающею бездной...
– Так не корить же, не карать –
спасти Отец небесный
сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь... Что наша жизнь? – Предлог?
– Для песни лебединой!..

1974

Сердце мира

Вход откуда-то из переулка,
на колонне слева – шрам
от удара молнии. Сепульхра.
Гроб Господень. Грозный храм.

Каменная туча грозовая:
на коленях у высот,
куполom Голгофу закрывая,
весть отверстую несёт.

Вот она – кувуклия, пещера,
как для Рождества вертеп,
так и тут: через земное чрево
возвращается ущерб.

Сколько ж в ней хранится мрака,
полостей, подземных вод!
Храм, таинственная рака
огненного искресанья ждёт.

Руды ждут, известняки и кости,
ржавчина мечей, кольчуг,
Ричард Львиносердый, Готфрид Готский –
чуда, что и я хочу.

И туда заходят сарацины:
каждый в коже, в паре джинс,
сотово и самочинно
к смерти подключают жизнь...

... В глаз вонзается внезапно
сплох света, микро-спазм,
пилигримов отшатнув назад, но
и вперёд, чтоб спас.
В ночь Пасхальную того и вяще
ждут росы со облак, с гор,
вещие к ней тянут свечи,
чтоб сработал пирофор.

Вспыхивает, и – «Христос Воскресе!»,
и – «Воистину Воскрес!»;
сущим во гробех благие вести
слышатся окрест.
И – вот-вот раскаменеют кости,
заблистает ржавь мечей,
Ричард Львиносердый, Готфрид Готский
выйдут чрез раздавшуюся щель...

... Нет, увы, не станет былью небыль,
не зарозовеет жизнью прах:
потому ли, что огонь не с неба,
а из лавки на задах?

Здесь перед святыней сцены:
делка, выгода, азарт,
ездят друг на друге сарацины,
празднуют базар...

Дмитрий Бобышев родился в Мариуполе в 1936 году, вырос и жил в Ленинграде, участвовал в самиздате. В 1963 году Анна Ахматова посвятила ему стихотворение «Пятая роза».

На Западе с 1979 года.

Поэт, переводчик, эссеист, профессор Иллинойского университета в г. Шампейн-Урбана, США.

Книги стихов: «Зияния» (Париж, 1979), «Звери св. Антония» (Нью-Йорк, 1985, совместно с Михаилом Шемякиным), «Полнота всего» (Санкт-Петербург, 1992), «Русские терцины и другие стихотворения» (Санкт-Петербург, 1992), «Ангелы и Силы» (Нью-Йорк, 1997), «Жар-Куст» (Париж, 2003), «Знакомства слов» (Москва, 2003), «Ода воздухоплаванию» (Москва, 2007).

Автор-составитель раздела «Третья волна» в «Словаре поэтов русского зарубежья» (Санкт-Петербург, 1999).

Автор литературных воспоминаний «Я здесь (человекотекст)» (Москва, 2003) и «Автопортрет в лицах (человекотекст, кн. 2)» (Москва, 2008). Третья часть воспоминаний «Я в нетях» печаталась с продолжением в журналах «Юность» и «7 искусств». Ныне весь текст собран в публикациях журнала «7 искусств». Полностью трилогия «Человекотекст» в исправленном и обновлённом виде выпущена издателем Чарльзом Флаксом.

Печатается во многих эмигрантских и российских журналах.

Юрий СОЛОДКИН

ПАМЯТИ ИОНА ДЕГЕНА

Умер Ион Деген, совсем немного не дожив до 92-х. Солидный возраст, но тяжесть утраты от этого не становится меньше.

Для меня вся его жизнь – подтверждение того, что он был в числе 36-ти праведников, которые, как принято считать, определяют душу народа. Человек-легенда – так его называли, вручая статуэтку «Скрипач на крыше» на сцене Кремлёвского Дворца съездов. Чудесам в жизни Иона Дегена несть числа. Про него у меня есть четыре строчки:

*Непостижим Ион Деген,
Полна чудес его дорога.
Не сомневаюсь, вот где ген
Судьбы, дарованный от Бога.*

Он был един во многих лицах – Воин, Врач, Учёный, Писатель, Поэт, и всё это с большой буквы, да ещё с какой большой! Его восемь строк признаны лучшим стихом о войне.

*Мой товарищ, в смертельной агонии
Не зови понапрасну друзей.
Дай-ка лучше согрею ладони я
Над дымящейся кровью твоей.*

*Ты не плачь, не стони, ты не маленький,
Ты не ранен, ты просто убит.
Дай на память сниму с тебя валенки.
Нам ещё наступать предстоит.*



Ион Деген (слева) и Юрий Солодкин

В 16 лет Ион Деген, ещё не закончив школу, начал войну добровольцем в июне 41-го, а закончил героем-танкистом, тяжело раненным в январе 45-го. Чудом оставшийся жить, он закончил мединститут, стал знаменитым врачом-ортопедом, доктором наук. Одновременно он написал много рассказов и стихов о войне и не только. Но то, что о войне, могу по силе правды сравнить лишь с «Колымскими рассказами» Шаламова.

Не стану пересказывать насыщенную событиями жизнь Иона Дегена. Интересующихся могу отослать к своему очерку «Слово об Ионе Дегене» по линку

<http://berkovich-zametki.com/2012/Zametki/Nomer5/Solodkin1.php>

А здесь я хочу привести отрывки из письма, которое не так давно переслал мне Ион.

«Дорогой Ион Лазаревич, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Я киевлянка, Ваша бывшая пациентка, которая недавно случайно нашла в Интернете информацию о Вас. Я благодарна Богу, что могу, наконец, выполнить свою мечту и поблагодарить Вас за то что Вы около 50 лет тому назад спасли ногу и судьбу 10-летней девочки, ко-

торая очень хотела танцевать и учиться в нормальной школе.

У меня была жидкость в коленной чашечке. Мне поставили тогда диагноз – туберкулёз кости. Уже было направление в туберкулёзный интернат под Киевом. Врачи сказали, что я никогда не буду танцевать и доучиваться буду в специнтернате. Крушение всех надежд...

И тогда Бог послал Вас! Моим родителям, которые были наслышаны о том, что Вы творите чудеса, как-то удалось привести Вас к нам домой. Я уже не могла наступать на ногу. Вы поднялись на наш пятый этаж без лифта. Я Вас помню с палочкой у моей кровати (это знаменитая самодельная палочка, без которой Ион не мог ходить и с которой связано много остросюжетных случаев в его жизни – Ю. С.).

У меня до сих пор в ушах Ваши судьбоносные слова: «Успокойся, через месяц ты будешь танцевать!» Я помню камфорные компрессы и мою коленную чашечку, которая приходила в норму. Через месяц я пошла на первую репетицию во Дворец пионеров и вернулась в свою школу.

И вот мне уже почти 60 лет. Когда-то мои родители потеряли Вас из виду, но я помнила слова мамы: «Ирочка, своим выздоровлением ты обязана доктору Дегену». Не знаю, как бы сложилась моя судьба, если бы мама и папа не обратились к Вам.

Посему от всей души хочу выразить свою бесконечную признательность и искреннюю благодарность Вам, гениальному врачу, герою-танкисту, чудесному поэту и уникальному человеку! Вы стали моим Ангелом-Хранителем. Простите, пожалуйста, что моя благодарность задержалась на 50 лет. Мне очень хочется приехать в Израиль и преклонить перед Вами колено, которое Вы спасли. Я сделаю всё возможное, чтобы в ближайшее время это осуществить. А пока пусть это письмо передаст Вам самые тёплые чувства и пожелания здоровья и благополучия от Вашей благодарной пациентки.

Низкий Вам поклон, дорогой Ион Лазаревич.

С уважением, Ирина Волкова (бывшая Ира Дымченко)»

Вот такое письмо. Достаточно его одного, чтобы оправдать жизнь. К сожалению, Ирина уже не сможет преклонить колено перед Ионом...

А похожих писем Ион получал великое множество. Открытая Дегеном магнитотерапия, о которой им написана научная монография, спасла многих от хирургических операций.

Последний раз мы встретились с Ионом 29 марта этого года. Он был очень слаб, с трудом поднялся с постели. У него не было никаких сомнений, что он уходит, но не было не то что трагизма, а даже печали по этому поводу. На мои глупые попытки говорить слова, что всё ещё может быть хорошо, он ответил: «Кончай... Все-му раньше или позже приходит конец. Нынче моя очередь. Помнишь мою «Молитву»? И он прочитал строчки из своего замечательного стиха, а память у него была удивительная до последнего часа:

*За всё, Господь, благодарю,
За радости и за страдания,
За точно по календарю
Цветение и увядание...*

И многое «за что» заканчивается словами:

*...За то, что всюду в час любой
Вокруг меня родные лица.
За то, что говорю с Тобой
Я, не наученный молиться.*

*За звонкий золотой закат,
За день, что не напрасно прожит.
За радость бытия стократ
Спасибо, мой великий Боже!*

Ион был счастлив. Он любил Израиль. Он искренне радовался его победам и остро переживал неудачи. Запомнилось, как однажды мы были в гостях у Дегенов и когда, уходя, прощались, Ион приобнял наших сыновей и сказал, обращаясь ко мне: «А они мне ближе, чем ты. Они израильтяне!»

Несколько месяцев тому назад получил от Иона письмо:

«...Мне девяносто второй год. Ещё юношей научился встречать смерть без паники. Главное – приучить внуков к тому, что всё идёт своим чередом, как и должно идти. Юмор в таких случаях большое подспорье.

*Во мне нахально хулиганит тумор.
И так как я пока ещё не умер,
Сильнее тумора еврейский юмор.
Он даже обезболивать умеет.
Открытым текстом сказано еврею
О том, что срочно ожидаем там.
Облегчить чтоб труды гробовщикам,
Сейчас катастрофически худею.
Одно лишь не могу исправить жлобство,
Любимым причиняю неудобство.*

Многие ли способны на такой взгляд на себя со стороны?!

И вот нет с нами больше Иона Дегена. Он умер перед наступлением субботы, а это ещё один штрих в подтверждение его праведности. Личность по имени Ион Деген оставалась во все времена достойной заглавной буквы. Такой Личности невозможно подражать. Ею надо быть.

Светлая ему память!»

Юрий Солодкин родился за год до Великой Отечественной войны. Большая часть жизни прошла в Новосибирском Академгородке. Доктор технических наук, профессор. На 57-ом году жизни эмигрировал в Америку, где ещё 20 лет проработал в Метрологической лаборатории в Ньюарке.

Автор книг стихов «Библейские поэмы», «Если вкратце...» и нескольких стихотворных книг для детей. Также опубликован ряд очерков и эссе о выдающихся людях российской эмиграции.

Составитель и издатель книги Иона Дегена «Я весь набальзамирован войной...».

Виктор НОРД

СИМВОЛ БРОДВЕЯ ДЭВИД МЕРРИК

Фрагменты из книги «Невыносимый шоумен»

Продолжение. Начало в № 2 (2017)

Традиция сделала актерские ночные бдения после премьеры неотъемлемой частью театра на Бродвее. Благодаря журналистам широкой публике известно, что никто из актеров не спешит домой отдохнуть после спектакля. Даже те, кто никогда не бывал в театре, знают, что, сняв грим, весь состав будет за ужином до утра ожидать выхода утренних газет с рецензиями.

Приговор театрального критика издавна означал для участников либо несколько лет хорошо оплачиваемой работы, известность, богатую творческую жизнь, либо – безработицу, бесконечные пробы на любые роли, да лишь никогда не умирающую надежду на еще один счастливый шанс...

Эта ночь ожидания объединяет и начинающего хориста из третьего ряда кордебалета, и диву-звезду, чье имя привлекло в проект финансистов, этих чудаков, вложивших свои миллионы в рискованнейший бизнес – да и самого главного антрепренера, оплатившего весь этот огромный ночной банкет; его будущее точно так же поставлено на карту, как и тех, кому положено обращаться к нему только через секретаря.

Всю свою долгую карьеру Дэвид Меррик старался избегать участия в подобного типа сборищах. Он почти не пил алкоголь из-за язвы желудка, мучившей его с юности; он не любил дорогие сигары и вообще чувствовал себя неуютно среди коллег в больших шумных компаниях.

А самое главное – он не доверял критикам! Сорок лет работы в театре убедили его, что скверная рецензия вовсе еще не означает

провала в кассе – и наоборот, даже дружный хор похвал прессы не в силах превратить зрелище, не принятое публикой, в так называемый «хит».

После премьеры Меррика скорее всего можно было обнаружить в какой-нибудь грязноватой закускойной на Таймс Сквер, в ожидании газет жующим черствый сэндвич за одной стойкой с бродягами и уличными девицами.

Однако ночь после «Сорок второй» была исключением. Вслед за всей группой Меррик занял столик в банкетном зале отеля «Уолдорф Астория». Он не очень понимал, как себя вести, что говорить, какое приличествующее случаю выражение придавать своему лицу. Сидел он в дальнем углу, в компании старых знакомых Нейла Саймона и Боба Фоссе, и молча потягивал свое разбавленное водой кабернэ, односложно, без улыбки отвечая на поздравления.

На сей раз, впрочем, в своем замешательстве Меррик был не одинок. Все остальные точно так же были не совсем уверены, для чего, собственно, они собрались в этом зале: не то отпраздновать рождение спектакля, теперь уже вне сомнения – события, вехи в истории театра; не то – чтоб отдать дань памяти его автора-создателя, своим талантом давшего жизнь этому новому явлению на Бродвее.

Что делало атмосферу поистине невыносимой, это то, что верным было, пожалуй, и то и другое.

Свет в зале был притушен, люди разговаривали мало. Даже у вездесущих репортеров поубавилось их обычной наглости, и они старались задавать свои вопросы как можно тише. Никому не приходило в голову произносить тосты или звенеть бокалами. В память об умерших не принято чокаться, хотя лишь немногие из присутствовавших знали об этой примете, привезенной когда-то на Бродвей антрепренерами-евреями из России. «Вот напишешь такую сцену – и на первой же репетиции ее вымарают из пьесы. Скажут: нереалистично, мелодраматично, слишком сентиментально.., – вполголоса заметил репортеру Нейл Саймон. – А Творец создает в жизни ситуации, куда более абсурдные, чем мы можем представить...»

После полуночи Ванда Ричерт, прима, в конце концов не выдержала давящего напряжения, направилась к столам хористов и быстро собрала линию танцоров. Оказалось, что большинству из них в прошлом приходилось работать вместе с ней в другом спектакле, «Кордебалет», и они помнят оттуда финальный музыкальный номер. «Первый!», хотя и поставленный другим хореографом, он как нельзя лучше подходил, чтобы почтить память Гауэра, ее последней любви. Они выстроились в ряд посреди зала.

Пианист проиграл вступление, и слова первого же куплета заставили замолчать всех гостей.

*«Первый в танце!
в каждом движении, в каждом па,
Он на сцене – он сен-сация,
Ру-ко-пле-щет
толпа.
Первый! миг его выступления –
И вы в плену навсегда.
Он – сен-сация,
он – явление!
Он – звез-да!»*

В центре линии Ванда танцевала «в образе», с требующимися по роли искрами в глазах и голливудской улыбкой. По лицу ее при этом стекала размазанная слезами тушь, но она даже на миг не вышла ни из ритма, ни из рисунка танца.

Профессионалы сцены – они на всю жизнь запоминают малейшие детали, наработанные много лет назад на репетициях. Это уникальное бродвейское сочетание свободы, легкости, даже кажущейся ленивой небрежности исполнения – и точнейшей техники, железной дисциплины синхронного движения группы сейчас производило на гостей эффект почти пугающий: зрелище напоминало настоящий *danse macabre*, пляску смерти.

В третьем часу ночи Меррик взял с собой все еще дергавшуюся от рыданий Ванду Ричерт и еще пару друзей из офиса и отправился на Ист Сайд к «Илэйн’с». В этом скромном на вид ресторанчике, вечно до отказа набитом знаменитостями, он надеялся в более

интимной обстановке забыть, наконец, чудовищный трагифарс театральных поминок – и молча поставить точку на самой долгой своей деловой дружбе с режиссером.

Этому столь необычному для него меланхолическому желанию не суждено было сбыться.

Не успел он пройти к столику, как его остановила подвыпившая Лиз Джонс, ведущая-сплетница из программы Эн-Би-Си «Лайф афтер файф».

«Хэй, Дэвид, – спросила она, – это правда, что ты нарочно тянул с премьерой, чтобы дождаться, пока Гауэр не отправится в лучший мир?»

Меррик обычно спокойно, с равнодушием служащего похоронного бюро относился к упоминаниям о смерти. Но сейчас щеки и лоб его налились свекольным румянцем:

«Мне не хотелось бы думать, Лиз, что ты – набитая дура. Ты простохватила сегодня лишку и утром придешь в себя, – вполголоса ответил он ей. «Погоди! Лишку – не лишку, но с памятью-то у меня все в порядке, – повысила голос Лиз. Заткнуть рот супер-сплетнице было не так просто. – Не сам ли ты не так давно сообщал в «Таймс», что о сроках премьеры ждешь указания Свыше? С кем же это ты так удачно договорился Там Наверху, расскажи-ка нам, – и Лиз торжествуяще огляделась вокруг, ожидая смешков и возможного скандала.

Но ответом ей была гробовая тишина.

То, что поначалу не без зависти воспринималось коллегами как наглаватый, но талантливый рекламный трюк, как остроумный выход из неловкого положения с дважды отложенной премьерой, теперь невольно вызывало у них иные, странные ощущения, наводило на мысли о даре предчувствия, о предвидении, судьбе... Всего за тринадцать часов имя «Меррик» перестало быть просто синонимом успешного шоумена – оно превратилось в мистику, в миф. Его стали побаиваться...

Не добившись желаемой реакции, старая змея из Эн-Би-Си тихо уползла в полумрак зала, но Меррику это не доставило ни радости, ни даже удовлетворения. Ему было не до этого. Его мучила изжога; он думал о Гауэре. Остаток ночи Дэвид провел за своим чаем из ромашки и бутылкой минеральной воды.

Ему хорошо было молчать в компании пары тихо напивав-

шихся старых друзей-геев и почти успокоившейся Ванды. Благоволившая ему хозяйка заведения Илэйн зорко следила, чтоб никто не подсаживался к Меррику и не мешал ему рефлексировать. А тот, по привычке царапая карандашом каракули на салфетках, вспоминал, каким адским трудом создавался его миф; вспоминал начало своей карьеры, свой самый первый мюзикл на Бродвее...

...Он не помнил, как и зачем оказался однажды вечером в районе 95-й улицы. Может, просто пошел после работы вверх по Бродвее, вместо того чтобы пойти к себе, вниз. А может, была назначена в тех местах какая-нибудь маловажная встреча, за которую он ухватился, чтобы не спешить домой. В последние годы они с женой редко ужинали вместе. Леонор как могла старалась сделать домашнюю жизнь комфортабельной и незаметной, не мешающей его занятиям. И не то чтобы это не получалось: она была верным другом, у нее был вкус, она знала толк в настоящих, важных в жизни вещах. Просто взяла она на себя непосильную задачу. В их нью-йоркской небольшой, но элегантной квартирке Дэвиду все напоминало о прошлом, то есть именно о том, от чего он с яростной энергией старался как можно скорее избавиться.

Разношерстное, разноязычное население Америки постоянно нуждалось в «миротворцах-уравнителях» – иначе общество неизбежно распалось бы на мириады обособленных, вечно враждующих друг с другом кланов. На диком Западе такую роль успешно выполнял армейский «Кольт Single Action» или «Магнум». С расстояния в семьдесят футов они могли уравнивать самого слабого, голодного, нищего с любым сытым атлетом, владельцем тугого кошелька.

В Калифорнии подобным уравнивателем стал Голливуд. На Востоке – шоу-бизнес Нью-Йорка. За одной стойкой бара в «Сарди'с» можно было встретить и циркового зазывалу, решившего купить зрителя приключениями гигантской гориллы на крыше небоскреба «Импайр» – и его собутыльника, профессора русской литературы, мечтающего воплотить на сцене «Войну и мир». Антрепренеры с равным вниманием прислушивались к горячечному

бреду обоих. Продюсеры и агенты хорошо знали, что в бормотании полуголодных мечтателей могут скрываться немалые доллары. В городе, где рос Дэвид, подобных «уравнителей», увы, не существовало. Сент-Луис с его сильной католической традицией весьма неохотно принимал в свою среду посторонних – иноверцев и инородцев. Хуже, чем иммигрантом из России, там могло быть только одно: быть иммигрантом – *евреем* из России. И хуже, чем просто российским евреем, могло быть разве что только бедным евреем.

Сыну зеленщика Сэма (Самуила) Маргулиса Дэвиду повезло родиться и тем, и другим, и третьим.

Когда, не выдержав припадков безумия жены, отец оставил семью, Дэвиду было 7 лет. Через 3 года мать пришлось отправить в психиатрическую больницу. К счастью, три старшие сестры Дэвида уже были замужем, а старший брат заканчивал медицинский колледж. Договорились, что Дэвид будет жить по полгода в семье каждой из сестер, пока не окончит среднюю школу. С этого момента добывание денег (именно так он называл заработок) стало для десятилетнего мальчишки одной из самых насущных забот в жизни: даже у самой благополучной сестры ресурсов хватало ему лишь на стол и кров. На школьные расходы он должен был делать деньги сам.

И он их делал: продавал в универмаге в рассрочку хрустальные сервизы; продавал льняные скатерти, стучась в каждую дверь; летом – разносил мороженое и соду в проходах городской Оперы «Муни», катал тележку с клюшками в дорогом гольф-клубе; и даже играл на собачьих бегах в черных пригородах Сент-Луиса. Юный предприниматель выработал свою особую формулу ставок на фаворита. Часами играя по этой системе, можно было умереть на собачьих бегах со скуки, зато Дэвид никогда не возвращался домой без десятка, а то и двух десятков долларов. Эта склонность к осторожному, но хорошо рассчитанному риску сослужила ему впоследствии большую службу. Она научила его не пугаться временных проигрышей, но самое главное – не давать сиюминутному успеху вскружить себе голову.

Не случайно первое, на что Дэвид решил потратить с таким трудом сделанные им деньги – это еще находясь в средней школе, купить себе деловой костюм-тройку в тонкую полоску. Формальный стиль консервативного бизнесмена, столь же необычный для

провинциального школьника, сколь и для нью-йоркского продюсера, он потом сохранит до конца жизни.

Ибо для Дэвида это было первым шагом к перевоплощению в новый, придуманный им для себя персонаж. Несмотря на отча-



янные поиски заработка, учился он хорошо, успешно участвовал в школьных спектаклях; его выбрали президентом класса. Как дурной сон были тут же изгнаны им из памяти привычные образы зеленщиков и владельцев бакалейных лавок – с их фартуками, белыми рубашками с короткими рукавами, бумажными пилотками на вспотевших лысынах и хлопущками в руках – отгонять от продуктов мух, сонных от летней жары.

Юный Дэвид твердо решил стать юристом и теперь должен был выглядеть так, словно он только что, не спеша, встал из-за стола солидного офиса, хорошо проветриваемого мощными вентиляторами.

За сменой внешнего образа должен был неизбежно последовать еще целый ряд запланированных им шагов – номеров первого акта драмы его жизни. И название этому первому, очень важному акту он дал: «Бегство от прошлого».

Еврейскую фамилию его, вполне привычную для Голливуда или Нью-Йорка, сент-луисский клерк ухитрился когда-то изуродовать так, что ее нельзя было поставить даже на визитную карточку. Этот франкоязычный креол просто транслитерировал украинский акцент отца Дэвида, произносившего свою фамилию «Мàргулыс» (с ударением на первом слоге), и вместо обычного Margulis, записал в документах нечто невообразимое: Margulois! В школе ученики за это смеялись над Дэвидом, черный гардеробщик из Луизианы обращался к нему не иначе как «Мсье Марг'луа» – поэтому следующее, от чего он решил навсегда избавиться – это от своей фамилии. Но судьба распорядилась несколько иначе, и смену фамилии пришлось на время отложить.

На любительском спектакле в «Уай» (Ассоциация еврейской молодежи) Дэвид познакомился с Леонор Бек. Долговязый неловкий юноша понравился Леонор, единственной наследнице сент-луисских «старых денег», именно своей застенчивой робостью – ее не волновало ни происхождение его семьи, ни странная фамилия. Гораздо важнее стал для нее интерес Дэвида к театру: его игра в школьной постановке Клиффорда Одэтса «Проснись и пой» привлекла молодую девушку вспышками темперамента, неожиданно прорывавшимися сквозь обычную любительскую скованность на сцене.

Сама Леонор была без ума от театра; сценические представления помогали ей побеждать собственную, с детства мучившую ее застенчивость, помогали выживать в обществе спесивых богатых родственников. Увлечение Дэвидом, таким образом, явилось для нее просто продолжением, материализацией многолетней страсти, чувством постоянным и естественным, как сама жизнь.

Увы, именно любовь молодых людей к театру и явилась главным препятствием для развития их отношений. Родственники Леонор и слышать не хотели о каком-то там Дэвиде Маргульсе. Если будущий адвокат и мог надеяться, в случае успешной карьеры, быть когда-нибудь принятым в чопорную семью, его серьезный интерес к театру полностью исключал такую возможность. В городе Сент-Луис, штат Миссури, рискованный, вульгарный шоу-бизнес считался занятием, недостойным джентльмена, прямой угрозой солидному семейному достоянию.

Мать девушки, одинокая болезненная вдова, вообще не пускала Дэвида на порог. Всю свою жизнь она посвятила благополучию дочери и ей было ясно как день, что кавалер этот, выскочка из нищей семьи, просто охотится сейчас за богатой невестой. Прошло долгих десять лет, и только после смерти матери Леонор смогла, наконец, стать на законных основаниях миссис Маргульс.

На скромной церемонии в реформистской синагоге присутствовала лишь ее школьная подруга, да еще сестра Дэвида с мужем, у которых он жил и столовался. К финалу бракосочетания подоспел еще один родственник, торговец шляпами дядя Морис – страстный театрал, которому Дэвид и был обязан своим ранним знакомством с Чеховым, Шоу и Ибсенем.

Родственники невесты вообще появиться отказались, ибо считали жениха аферистом и проходимцем, несмотря на все его высокие баллы в дипломе Юридической школы и степень бакалавра права.

По городу ползли упорные слухи о женитьбе Дэвида по расчету, но юная пара даже не затруднялась их опровергать. Обоим было ясно, что в провинциальном Сент-Луисе будущего для них не осталось, и чем скорее они покинут родные места, тем лучше...

По расчету или нет, но Дэвид взял на себя все юридические аспекты вступления своей жены в право наследования – и неплохо справился с делом. После распродажи недвижимости и оплаты оставшихся после матери долгов, Леонор получила в свое распоряжение ценные бумаги на сумму, скрупулёзно подсчитанную супругом: \$ 116,319.66.

В 1937-м это было целое состояние, около миллиона девятисот сорока тысяч нынешних долларов!

И вот теперь настало время избавляться от прежней фамилии. Весной 1940 года в Нью-Йорке Дэвид Маргулыс официально зарегистрировал свое новое имя: Дэвид Меррик. Выбор нового имени был сделан им годы назад: пусть будет театральным, но оно не должно быть режущим глаза трескучим сценическим псевдонимом. Леонор одобрила выбор мужа. Имя Дэвид Меррик ассоциировалось у нее с Дэвид Гэррик, именем классика английской сцены, знаменитого директора королевского театра «Друри Лэйн».

Переезжая в Нью-Йорк, Дэвид намеревался, подобно змее, сбросить с себя старую кожу, вылезти из нее и оставить высохшую мертвую оболочку провинциального юриста Маргулыса навсегда в прошлом. И сегодня, после десяти лет жизни в Нью-Йорке, можно было считать, что это ему почти удалось. Почти – оттого, что он был женат на женщине, полюбившей и первой поверившей в него – сына нищих иммигрантов, и принявшей его имя Маргулыс – с ударением на первом слоге.

Менее чем за десять лет Дэвид заработал на Бродвее твердую репутацию железного профессионала, завел важные финансовые контакты, в том числе с Максом Брауном («Браун Ригли») и Байроном Голдманом («Голдман-Сакс»); стал ко-продюсером двух постановок, одна из которых оказалась настолько успешной, что не только с лихвой вернула одолженные у Леонор средства, но и сгенерировала его собственный солидный фонд для разработки новых проектов.

Это далось ему не сразу и нелегко, но даже в самые трудные моменты Леонор не сомневалась, что мужа ее ждет большой успех. Упоминания же в прессе о его голодном, диккенсовском детстве, считала она, теперь лишь выгодно подчеркнут контраст между его тяжелым прошлым и блестящим будущим.

К сожалению, это было совсем не то, к чему стремился Дэвид Меррик. Он-то хотел полностью вычеркнуть прошлое из памяти – своей и окружающих; хотел заставить саму судьбу забыть о его происхождении; хотел выстроить себе абсолютно новую биографию с самого начала, с момента рождения и до сегодняшнего дня.

Прошлое мешало ему, тянуло назад на дно, как тяжелая гиря; и такой гирей, справедливо или нет, он считал свою нынешнюю благо-

устроенную семейную жизнь. Леонор была не просто свидетельницей, она была другом, частью его первых, медленных шагов наверх, и пока она находилась рядом, главная цель его жизни – создание мифа, ослепительного бродвейского шоу под названием «Меррик, Великий и Ужасный» – представлялась ему недостижимой.

...Он поймал себя на том, что уже минут десять стоит на углу 95-й и Бродвея и изучает афишу маленького местного кинотеатра. Мысли его были далеко, но что-то заставило его остановить взгляд на расписании сеансов. Ах, да! Это были странные часы начала и окончания показа фильмов. Ничего подобного он раньше не видел. Там было всего два сеанса, дневной начинался в десять утра и шел целый день, вечерний же заканчивался глубокой ночью, в два тридцать. Кинотеатр показывал французскую довоенную кинотрилогию, общей длиной в шесть с половиной часов! И это в один сеанс, за доллар двадцать пять! Так давно уже не делался бизнес, даже в опере.

Чушь, подумал Дэвид и направился к кассе. Но ошибки не было: зрителю предлагали без перерыва три длинных фильма подряд, да еще вопреки всем правилам проката, названных лишь по именам их главных героев. Просто «Мариус», «Фанни», «Сезар». Смешно! Ни в Америке, ни в Канаде такое было бы невыносимо. Даже «Роз-Мари» потребовала когда-то безумных расходов на музыкальную рекламу, только чтобы пробудить интерес публики к вполне романтическому, опереточному имени героини. Кинотеатр «Талия», однако, специализировался именно на таких необычных европейских фильмах, и соображения прибыли были для его владельцев явно на втором месте. Рекламу там не показывали вообще! Понятно, что Дэвид обычно бывал равнодушен к зрелищам такого рода: прежде всего, они отнимали массу времени, а он проводил сейчас бесконечные часы в офисе за чтением пьес, в поисках материала для своей первой серьезной работы на Бродвее. Искал – и не находил...

В иных обстоятельствах ему, разумеется, и в голову не пришло бы пойти в кино, но сейчас он взглянул на часы: было восемь двадцать с чем-то, вот-вот начнется основная программа. Он и так уже провел больше часа, бесцельно шатаясь по верхнему Манхэттену;

домой идти не хотелось, а здесь раньше пол-третьего утра уж точно не кончится этот непрерывный сеанс...

Дэвид разыскал телефон, позвонил домой сказать Леонор, что не ждала его к ужину, потом купил билет и стаканчик вредного для его желудка мороженого – и побрел, минуя крошечное фойе, в прохладный зал...

В начале четвертого утра он вышел из кинотеатра совершенно иным человеком.

Недовольные ночной прохладой, лениво расходились остальные зрители ночного сеанса – в основном одинокие пьяницы или бездомные бродяги. Им выгодней было выспаться в мягком кресле, заплатив доллар двадцать пять за билет и пакетик жареной кукурузы, нежели полтора доллара за пропитанную вонью лизола ночлежку.

Меррик в своем неизменном формальном костюме резко выделялся среди этой группы серых от бессонницы полуночников. Его было сейчас не узнать. Движения его стали резкими и решительными. Быстрым манхэттенским шагом он пошел по Бродвею вниз – по направлению к дому, не останавливаясь, на ходу раздавая пятаки ночным попрошайкам «на чашку кофе, сэр».

Только прошагав кварталов пятнадцать, он сообразил наконец, что до 23-й можно добраться на такси, но забравшись в машину, неожиданно переменял адрес и попросил кэбби остановиться у своего офиса на 44-й улице. Он прошел мимо сонного швейцара, отворил дверь своего офиса, включил свет и сам сел за телетайп. Ему нужен был только код страны, так как адрес был коротким и необычным: «Марсель Паньоль – персонально, Французская Академия, Париж, Франция». Потом вдруг остановился и резко выключил аппарат. Слишком много посторонних глаз могут прочесть открытый телекс, подумал он.

Дэвид снова вызвал такси и поехал уже прямо домой. Леонор нужна нужна была сейчас более чем когда-либо. Он был уверен, что нашел наконец то, что так долго искал.

Окончание – в следующем номере

Не пиши, пока можешь не писать.

Виктор Норд, автор множества кино- и телесценариев, всю свою жизнь честно пытался следовать этому принципу. По не зависящим от него причинам это не получалось.

Прежде всего – при поступлении в Институт кинематографии. Без авторских работ не допускали к сдаче приемных экзаменов. По одной из них был сделан документальный фильм «Ночной вокзал». Виктору было тогда девятнадцать лет.

Ему было двадцать шесть, когда он уехал из России. Перед тем успел сделать дипломную картину под названием «Это были мы» по сценарию своего товарища А. Миндадзе. Это был единственный раз, когда Виктору удалось поставить фильм по чужому сценарию.

С тех пор ему приходилось писать для кино, хотелось этого или нет, на разных языках, но не по-русски. А кроме того, быть еще и «кинодоктором» («story doctor»), то есть переписывать не получавшиеся сценарии и фильмы, сделанные другими. Виктор Норд появлялся в титрах то в качестве сценариста, то редактора, то автор-либреттиста, а то и просто автора диалогов.

Написанные для себя и поставленные им фильмы представлялись на международных кинофестивалях в Каннах, Сан-Франциско и других. Среди наград, им полученных – ЭММИ – приз Телеакадемии США (за «Эль Сальвадор») и специальный приз жюри за дебют в Каннах «Плодотворное Око» (фильм «Сад», начавший карьеру актрисы Мелани Гриффитс).

Не так давно Виктор начал писать книгу по-русски, и это давалось ему намного труднее, чем киносценарии. Роман «Непредвиденные последствия» после выхода в свет в 2014 году зажил своей особой жизнью и потребовал от автора заняться прозой с полной отдачей. Сейчас Виктор готовит к печати уже третью книгу, отрывки из которой он предоставил нам для публикации. Свои произведения он инсценирует сам.

Лиана АЛАВЕРДОВА

РАЗГОВОР ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Не помню, когда мы последний раз общались с Лейлой и Арифом Юнусовыми и о чем говорили, гуляя по бакинскому бульвару... Тридцать или почти тридцать – не столь важно. Еще до трагических бакинских событий, произошедших в моем родном городе в «перестроечные» годы. Если кто не в курсе, то в 90-е гг. прошлого века возник конфликт между Азербайджаном и Арменией по поводу Нагорного Карабаха. Азербайджанцев изгнали из Армении, затем – погромы армян в Сумгаите и Баку и ввод тогда еще советских войск в Баку.

Но начну по порядку. С Лейлой Юнусовой, чья девичья фамилия в ту пору была Велиева, я познакомилась будучи студенткой исторического отделения Азербайджанского Государственного университета им. С.М. Кирова. Она была старшекурсница, а я только начинала учебу. Лейлу на какое-то мероприятие к нам привела Майя Мамедовна Расулова, преподавательница истории древнего мира, восторженная и артистичная, влюбленная в свой предмет. Майя Мамедовна очень тепло опекала Лейлу и явно гордилась своей студенткой. И в самом деле, Лейла была девушкой яркой и незаурядной. Прекрасная речь, эрудиция, бойкость и напористость (при небольшом росточке), словом, замечательная представительница молодой поросли азербайджанской интеллигенции. И с будущим мужем, Арифом Юнусовым, Лейла познакомилась через ту же преподавательницу, ныне, увы, покойную. После короткого знакомства с Лейлой Ариф через 6 дней сделал ей предложение. Они стали и, к счастью, остаются неразлучной парой. Ариф тоже гуманный, впоследствии стал кандидатом исторических наук, да и Лейла защитила кандидатскую диссертацию на историческую тему. Оба супруга работали в Институте истории Академии наук Азербайджана, где я их и встречала иногда, работая по соседству, в Институте философии и права той же Академии.

А затем грянула перестройка, пошли митинги и демонстрации. Кто в эмиграцию подался, а кто остался строить светлое будущее у себя на родине. Лейла и Ариф были корреспондентами выходящей в Москве самиздатом газеты «Экспресс-Хроника» (редактор Александр Подрабинек). Лейла была членом нелегального движения «Национальных меньшинств, поработанных большевиками», участвовала в собраниях и встречах на территории всех стран СССР. Она – один из авторов Программы и Устава НФА (Народного Фронта Азербайджана), член Инициативного центра по созданию НФА, а первые подпольные собрания ИЦ НФА проходили на квартире у супругов Юнусовых. Лейла была единственной женщиной в правлении НФА, избранной на учредительной конференции летом 1989 г.

С 1992 по 1993 г. Ариф возглавлял информационно-аналитический отдел аппарата президента Азербайджана, в то время как его жена руководила информационно-аналитическим управлением Министерства обороны Азербайджана. В 1995 г. Лейла учредила одну из первых в Азербайджане неправительственную организацию – Институт Мира и Демократии (ИМД) – Think Tank, который работал в нескольких направлениях: права человека, нормы демократии, исследование перспектив мирного урегулирования Карабахского конфликта и др. Ариф возглавил отдел Конфликтологии и миграции и за 20 лет написал 8 монографий и более 300 статей, изданных в различных странах мира.

Но я бы не взялась описывать гармоничную пару, учитывая сентенцию великого классика русской литературы о счастливых семьях, когда б не позднее разразившиеся события, а именно арест и тюремное заключение супругов Юнусовых по надуманным обвинениям. Еще и дополнительный криминал отрыли у Арифа. Оказывается, у него мать по происхождению (о ужас!) армянка, да и отец, как некто заботливо вставил в Википедию, воспитывался в армянской семье. К тому же видные борцы за прогресс –

правозащитники Юнусовы – ездили на Запад, выступали с критикой по поводу прав человека в Азербайджане, общались с армянской стороной для наведения мостов, взвалив на себя неблагодарную ношу народных дипломатов. Словом, подозрительно весьма и весьма!

В январе 2014 г. президент Азербайджана Ильхам Алиев зая-

вил, что в республике нет политзаключенных. Лейла Юнусова в ответ не замедлила обнародовать список из 134-х политзаключенных. Незадолго до этого французский президент Франсуа Олланд вручил Лейле Юнусовой Орден Почетного легиона. На родине, однако, тучи сгустились, грянул гром: Лейлу и Арифа Юнусова арестовали, судили за целый ряд «преступлений», где фигурировало что угодно: от измены родине до мошенничества, от фальсификации документов до незаконного предпринимательства.

Все это время я с волнением следила за судьбой Арифа и Лейлы и спрашивала, могу ли я чем-нибудь им помочь. Ариф в тюрьме подвергался пыткам, Лейле не давали лекарств. Хлебнули они немало.

Уж не знаю, чьему влиянию приписать счастливый исход из страны беззакония в страну, где уважают законы, а именно – в Нидерланды. Власти Азербайджана, несмотря на свои многочисленные заверения в том, что на них не могут оказать никакого влияния ни США, ни страны Евросоюза, под давлением международной общественности вынуждены были отпустить супругов. Появилась возможность наладить диалог, чем я и не преминула воспользоваться. Ариф и Лейла Юнусовы, несмотря на занятость (они учат язык и пишут книгу), согласились со мной побеседовать. А вопросов у меня за тридцать лет поднакопилось!

Л.А.: Дорогой Ариф, мы с волнением следили за Вашими заключениями и все облегченно вздохнули, когда Вы с Лейлой оказались на свободе. Как это произошло? Кто сыграл решающую роль в вашем освобождении?

А.Ю.: В нашем деле сыграли свою роль сразу несколько факторов. С одной стороны – международное давление. Здесь особо следует отметить усилия международных правозащитных организаций, которые держали наше дело под своим контролем. Также надо указать на две резолюции Европарламента в 2014 и 2015 годах с угрозами санкций в отношении азербайджанских властей. И конечно, отметить роль многих европейских и американских политиков. Все это сильно нервировало власти в Азербайджане.

Думаю, решающим фактором в нашем освобождении сыграло падение цен на нефть. Согласно известному закону Егора Гайдара, в странах, богатых энергоресурсами, у власти могут быть и часто

встречаются малообразованные самодуры. И чем дороже нефть, тем неадекватнее ведет себя такое правительство. При ценах на нефть свыше 100 долларов за баррель авторитарный лидер может управлять страной как ему заблагорассудится. А вот когда цена на нефть начинает падать, необходимо прислушиваться к мнению международного сообщества, необходимо думать....

Потеряв в доходах от продажи нефти, самовлюбленный властитель Азербайджана стал более уязвим и сговорчив. Он понимал, что будет вынужден обратиться к Западу за финансовой помощью. А как это сделать, если в стране большое количество «узников совести» и все требуют их освобождения? А наши имена были первые в этом списке.

Нашим ангелом-спасителем стал немецкий профессор и доктор медицины Кристиан Витт (Christian Witt). Его активное участие стало итогом долгих и сложных переговоров Европарламента с официальным Баку. В 2014-2015 гг. он восемь раз посещал Лейлу в заключении, у которой был целый букет заболеваний (диабет, гепатит С, стала слепнуть и др.). Благодаря доктору Витту и привезенным им лекарствам удалось остановить процесс разрушения печени и начать лечение гепатита С. А 30 октября 2015 г. он впервые посетил меня, я находился в самом секретном и закрытом от общества месте – следственном изоляторе Министерства национальной безопасности (бывшее – КГБ). В тот же день он написал медицинское заключение о том, что я в результате пыток могу в любой момент скончаться в тюрьме. Вспомните, что тогда в США заговорили об азербайджанском аналоге «закона Магнитского», и моя смерть в застенках МНБ была бы не в интересах властей. И поэтому сначала освободили 12 ноября меня, а месяц спустя – 9 декабря была освобождена Лейла.

18 апреля мы покинули Азербайджан и сразу приехали в Берлин, к доктору Витту в берлинскую клинику «Шарите». А после лечения уехали в Голландию.

Л.А. Если не возражаете, вернемся к событиям тридцатилетней давности. Вы оба очень короткое время работали в администрации президента. Что случилось, что вы покинули ее? Вы сами ушли или власти постарались?

А.Ю.: Сам ушел. Ушел, когда и для меня, и для Лейлы стало очевидно, что новый приход к власти Гейдара Алиева вполне предсказуем. Лейла ушла по собственному желанию из Министерства обороны в феврале 1993 г., а я – из администрации президента. Работать нужно там, где твоя работа эффективна и ты работаешь с удовольствием, видя ее результаты. Если нет результативности от работы, силы и время на нее тратить нельзя.

Л.А. Ранее Вы сотрудничали с Народным фронтом. У многих Народный фронт ассоциировался с организацией многотысячных митингов, выступавших против отделения Карабаха от Азербайджана, после которых часть участников разошлась громить армянские квартиры. В то же время я слышала, что Народный фронт организовывал спасение армянских семей и переправку их в Краснодар. Каково Ваше отношение к Народному фронту? Какую роль он сыграл тогда и что из себя представляет сегодня?

А.Ю.: Мы не сотрудничали с Народным Фронтом. Мы были создателями Народного Фронта. Лейла была одним из авторов Программы и Устава. Членом первого Правления НФА, единственной женщиной в Правлении. И именно Лейла лучше всего написала о НФА в статье «Мера ответственности политика», изданной в апреле 1990 г. в газете «Истиглал». Эту статью ныне часто цитируют исследователи и кавказоведы. «Народный Фронт Азербайджана, задуманный в идеале как стройный атлет с внешностью Аполлона, мужеством Бабека, интеллектом Аристотеля, мудростью и демократизмом Низами, превратился в нового Шарикова, воинствующего и обожествляемого».

Л.Ю.: С 1969 г., после того как Гейдар Алиев пересел из кресла руководителя республиканского КГБ в кресло первого секретаря ЦК Компартии Азербайджана, в стране стала создаваться клановая система управления. Необразованный провинциал из Нахичевани нуждался в поддержке, которую он и стал создавать, сажая на все руководящие посты выходцев из нахичеванского и ереванского кланов, то есть уроженцев Нахичевани и Армении. В простонародье их называют «нахи» и «еразы» (т.е. «ереванские азербайджанцы») соответственно. Утвердившись в руководстве республики, эти

кланы не допустили прихода к власти демократических сил, как это было в странах Балтики. Они поставили своих ставленников в НФА (Абульфаз Алиев, Неймат Панахлы, Этибар Мамедов, Фазаил Агамалы и др.), которые способствовали возвращению к власти Гейдара Алиева.

В то же время НФА был народным движением, в которое влились тысячи достойных и замечательных людей, которые рисковали своей жизнью, спасали армянские семьи, противостояли насилию ставленников КГБ. Погромы были организованы именно с целью организовать ввод войск в Баку 20 января 1990 г.

Для меня было очевидным, что в Москве определенные силы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Баку и в погромах, чтобы потом в Баку повторить расправу, через которую уже прошли грузины 9 апреля 1989 г. в Тбилиси. Я обо всем этом заявила буквально за две недели до этих ужасных событий на конференции НФА 6 января 1990 г.: «Людей спровоцируют на беспорядки, а потом в город будут введены войска. Все то, что сотворил Неймат Панахлы на границе с Ираном в Нахичевани – очевидное предисловие, специально созданный повод для ввода войск. Жертвы будут на Вашей совести, провокаторы!» – кричала я с трибуны в Круглом зале Академии наук.

Погромы начались 13 января, когда на площади Азадлыг еще шел многотысячный митинг. Эти погромы стали основанием для ввода советских войск в Баку 20 января. Как потом вспоминал один из вдохновителей погромщиков Неймат Панахлы, «на следующий день после трагедии 20 января Гейдар Алиев сказал ему, что для реализации их планов нужно море крови...». Цинично, но честно сказал... *(Подробнее: «И первые станут последними». Интервью с Нейматом Панахлы. – Журнал «Монитор», 2002, № 2).*

Но сотни фронтовиков искренне и тогда, и сейчас борются за лучшее будущее для Азербайджана. И сегодня в Азербайджане именно НФА подвергается самым жестоким репрессиям со стороны правящего режима. Восемь активистов НФА находятся в заключении. 25 января 2017 г. заместитель председателя НФА Фуад Гахраманлы был осужден на 10 лет (!) заключения только из-за того, что на своей странице в фейсбуке 26 ноября 2015 г. призвал жителей села Нардаран бороться за свои конституционные права.

Л.А. Меня все тридцать лет не оставлял вопрос: за что Вы, Лейла, дали пощечину академику Зие Буниятову, при этом подпрыгнув, чтоб дотянуться до рослого оппонента? Не жалеете об этом?

Л.Ю.: Я не подпрыгивала. Весной 1989 г. из ЦК Коммунистической Партии Азербайджана в Академию наук пришла директива воспрепятствовать участию в общегородском митинге сотрудников Академии. Все сотрудники АН, желающие принять участие в митинге, должны были собраться в сквере перед зданием Академии и оттуда все вместе пойти на площадь Азадлыг (площадь Свободы). Когда я спустилась в сквер, там было уже много народа. На каменный постамент, высотой 80-90 см., встал Герой Советского Союза, ветеран войны, всеми уважаемый академик Зия Буниятов. Он громко и яростно призывал сотрудников Академии отказаться от участия в митинге, обвиняя его организаторов в сотрудничестве с врагами народа и антисоветских призывах. Когда он закончил свою речь и спустился с постамента, я, опираясь на руки единомышленников Тофика Гасымова и Агаджавада Саламова, взобралась на этот каменный постамент и стала опровергать доводы академика, призывая сотрудников Академии протестовать против антинародной политики Компартии. Стоявший у постамента Зия Буниятов схватил концы свисающего с моей шеи шарфа и сильно дернул вниз. Я закачалась и стала падать. И упала бы на землю, но меня подхватили руки Агаджавада и Тофика и удержали на постаменте. Тогда я повернулась и дала пощечину академику. Сверху вниз. Все застыли. Он буквально поднял руку, чтобы ответить мне, но, верно оценив реакцию окружающих, повернулся и ушел. Позже Ариф мне рассказал, что когда он выходил из здания Академии, Буниятов входил в эти же двери. Увидев Арифа, он отшатнулся, а Ариф, не знавший о пощечине, очень удивился. Академик Буниятов был научным руководителем мужа при написании им кандидатской диссертации.

Буниятов поспешил к директору Института истории Играру Алиеву и потребовал, чтобы он меня выгнал с работы. Но академик И. Алиев был самостоятельным и мудрым человеком и отказался меня увольнять.

Я не жалею о пощечине. Меня так воспитывали – не позволять никому поднимать на себя руку.

Л.А. Недавно в газете «Вечерний Нью-Йорк» мне попалась на глаза статья «27-я годовщина трагических январских событий 1990 года в Баку». Она не была подписана и, как я догадываюсь, выражала официальную позицию сегодняшних азербайджанских властей. Ни слова не было сказано о погромах, зато было сказано, что многотысячные митинги и «накал ситуации» привели к тому, что московские власти послали войска в город уничтожать мирных жителей. Между тем не было упомянуто, что Народный фронт, либо другие местные силы послали навстречу войскам добровольцев, которые стремились воспрепятствовать вводу войск. Многие из них погибли. Жертвам соорудили памятники в Нагорном парке, место захоронения стало объектом паломничества. И власть и народ едины во мнении, что эти люди шахиды, мученики. Между тем погибшие в погромах армяне вычеркнуты из исторического повествования: армянские кладбища разрушены, церковь разгромлена, армяне изгнаны из города. Как Вам видится по прошествии стольких лет тот исторический эпизод, свидетелями которого мы были?

Л.Ю.: Первыми беженцами, жертвами погромов были азербайджанцы, проживающие в Армении. Уже в начале 1989 г. они стали прибывать в Баку. В 1989-1991 гг. мы (волонтеры из научных сотрудников Академии наук) проводили социологические опросы среди беженцев из Армении. В 1991 году Ариф Юнусов написал специальное исследование «Погромы в Армении в 1988-1989 гг.», в котором указал число жертв погромов – 216 человек. Тогда же Ариф написал и другое исследование «Погромы в Азербайджане в 1988-1990 гг.», число жертв в этих погромах составило 92 человека.

Исследование о погромах в Армении Ариф завершил в 1989 г., и мы предложили его для публикации в СМИ Азербайджана, передали в ЦК Компартии Азербайджана. Исследование, основанное на конкретных фактах с указанием имен жертв, даты убийств, названия сел и районов, в которых проходила депортация азербайджанцев, сопровождавшаяся погромами.

Однако коммунистические лидеры, реально поощрявшие погромщиков в Азербайджане, отказались напечатать исследование о погромах в Армении. Лично первый секретарь ЦК Компартии А. Везиров запретил. Более того, Арифа вызвали в Генеральную Про-

куратуру и заявили, что он занимается разжиганием межнациональной розни и экстремизма!

Оба исследования о погромах в Армении и Азербайджане были напечатаны в Москве в еженедельной газете «Экспресс-Хроника». (Ариф Юнусов: «Погромы в Армении в 1988-1989 гг.» – Еженедельник «Экспресс-Хроника», Москва, № 9 от 26 февраля 1991 г., Ариф Юнусов: «Погромы в Азербайджане в 1988-1990 гг.» – Еженедельник «Экспресс-Хроника», Москва, № 21 от 21 мая 1991 г.). А позже статья о погромах в Армении была напечатана в Париже с полным перечнем имен всех жертв погромов, их дат рождения и смерти и указанием городов и поселков, где имели место погромы и смерти.

(*Arif Yunusov: "Les Pogroms en Armenie en 1988-1989", Paris, 1991*).

Кому были выгодны кровавые погромы? Почему всемогущий КГБ бездействовал? Почему ни в Армении, ни в Азербайджане погромщиков не остановили силами милиции?

13 января 1990 г. на площади Азадлыг шел многотысячный митинг, а в доме напротив уже стали громить квартиры армян. Начались страшные армянские погромы в Баку. Меня в эти дни не было в Баку, я была по приглашению Народного Фронта Эстонии в Таллинне. Ариф срочно вывез свою маму в Дагестан, спасая от насилия. В Баку милиция и внутренние войска бездействовали. Ярким примером этого бездействия является попытка погрома в нашем доме, находящемся прямо напротив здания МВД республики. Из окна нашей квартиры видно здание МВД, это центр Баку, на улицах которого всегда стояли милиционеры, охранявшие вход в МВД. И вот во двор нашего дома, на третьем этаже которого проживали две армянские семьи, врывается в середине дня толпа погромщиков. Моя 65-летняя мама берет охотничье ружье своего отца и подходит к окну. Она выставляет ружье в окно и кричит погромщикам: «Убирайтесь отсюда! Буду стрелять!». Погромщики в замешательстве. Как мне потом рассказывали соседи, один из них попытался проскочить к лестнице, а мама крикнула «Я не промахнусь!». Толпа выбежала со двора, и погромщики в наш двор больше не возвращались. Долгие годы я все время представляла себе эту картину: 4-х летняя Динара сидит с куклой у бабушкиных ног, а бабушка стоит с ружьем, готовая открыть огонь...

Внимательно исследуя обстановку, в которой проходили эти страшные преступления, понимаешь – преступления были спровоцированы, организованы именно КГБ СССР, определенными силами в ЦК КПСС, курирующими правоохранительные органы страны. А на местах погромы инициировались их ставленниками, агентами КГБ, в Азербайджане – представителями созданной Г. Алиевым клановой сети.

Народный Фронт никаким оружием не обладал, не мог противостоять вводу войск в Баку и не противостоял.

Советская Армия вошла в советский город... как армия оккупантов: под покровом ночи, на танках и бронемашинах, расчищая себе путь огнём и мечом. Давили машины с людьми, даже машины скорой помощи, шквальным огнем убивали всех, включая детей, всех, кто попадал под пули и даже тех, кто находился у себя на балконе или у окна своей квартиры. Именно потому среди погибших 20 января много горожан, которые вообще не выходили из своих квартир. Жертвы шквального огня. Пулеметная очередь прошла окно и в коридоре нашей квартиры...

В общей сложности в результате ввода советских войск в Баку было убито 133 человека, ранено 611 человек, арестован 841 человек, 5 из которых пропали без вести. Военнослужащими были разгромлены и сожжены 200 домов и квартир, 80 автомашин, в том числе и карет «Скорой помощи». Среди убитых были женщины, дети и старики, работники «Скорой помощи» и милиции.

Мы и тогда знали и не раз писали об этом, что «крестные отцы» карабахской трагедии, а, значит, и последующих погромов и этнических чисток в обеих республиках сидели в Москве в ЦК КПСС» (смотри подробнее: Ариф Юнусов: «КГБ и Карабахский конфликт», газета «Экспресс-Хроника», 17-21 декабря 1991 г., № 52). Реформы Горбачева затрагивали интересы старой брежневской гвардии. В Армении организацией выступлений с согласия представителей брежневской элиты из Москвы руководил местный КГБ, собиравший через своих агентов людей на митинги, поставивший своего человека Игоря Мурадяна во главе Комитета движения «Карабах». В Азербайджане нахичеванский клан выдвинул Неймата Панахлы и других. В итоге пролилась кровь, погибли тысячи, а больше миллиона с обеих сторон стали беженцами.

Л.А. Есть ли у Вас надежда на разрешение карабахского конфликта? Кто виноват, что столько времени – это незаживающая рана региона? Есть ли свой взгляд на решение проблемы, чтоб обе стороны согласились?

А.Ю.: В 1988-1994 гг. армяне и азербайджанцы были ведущими игроками в конфликте, а внешним игроком была только Россия, которая единолично использовала этот конфликт в своих интересах, да и то не очень последовательно. Однако после подписания в 1994 г. так называемого «нефтяного контракта века» в регионе появились другие мировые игроки – США и Евросоюз, и карабахский конфликт из этнического противостояния двух соседних народов плавно перерос в геополитическую конфронтацию России с западными странами. А армяне и азербайджанцы из ведущих игроков превратились в ведомых. Проще говоря, стали пешками в большой политической борьбе. В итоге, в карабахском конфликте сегодня не все зависит от самих армян и азербайджанцев, ибо есть еще и вопрос столкновения в регионе интересов ведущих мировых игроков. А тут еще очень многое под вопросом. Вот почему сразу после подписания «нефтяного контракта» в 1994 г. я в своих выступлениях стал говорить, что вопрос урегулирования карабахского конфликта не будет решен как минимум в течение ближайших 25-30 лет, если не больше. При этом все это время будут идти безрезультативные переговоры, а на линии фронта два раза в год – в основном в конце марта – начале апреля и иногда в ноябре до зимы и перед наступлением зимних холодов будут происходить кратковременные боевые столкновения, когда стороны будут стремиться изменить свои позиции в преддверии или после зимы. При этом указывал, что это будет не широкомасштабная война, а кратковременные, максимум на 2-3 дня боевые столкновения на определенных участках фронта.

Меня тогда обвинили во всех грехах, указывали, что никто не будет столько терпеть безрезультатность переговоров и т.д. И что мы видим сегодня? Повторюсь – мы сегодня еще на полпути до урегулирования. Ибо все упирается не в вопрос территорий, не в то, что армяне и азербайджанцы такие плохие и упертые. Главная проблема – отсутствие доверия сторон друг к другу. Это сегодня играет главную роль. А если будет доверие, то вопрос территорий потеряет свою актуальность и остроту. Сегодня армяне и азербайджанцы по-

лагают, что им предлагают выбор между хорошим – справедливым и плохим – несправедливым мирным урегулированием. А под урегулированием каждая сторона имеет в виду урегулирование в свою пользу. Между тем, им предстоит другой выбор: между плохим и очень плохим миром. А до осознания этого еще очень далеко. Единственный путь сегодня для урегулирования конфликта – демократизация в обеих странах (конкретно – замена прежней советской политической системы на демократическую, установление независимой судебной-правовой системы, чтобы решать все проблемы с помощью закона, а не насилия, рост местных органов власти и сокращение роли центра и др.), налаживание и укрепление доверия между обществами, диалог по линии «народной дипломатии». После смены политических систем в наших странах со временем конфликт потеряет свою остроту. Вспомним, сколько такого рода этнических конфликтов было в Европе еще совсем недавно (проблема Корсики, Ольстера, басков и др.), причем очень кровавых, и как они решены сегодня, потеряв свою актуальность.

Л.А. Недавно смотрела английский фильм «Али и Нино», поставленный по знаменитому роману. Не знаю, видели ли Вы его. Герой фильма стремился к тому, чтобы его родной Азербайджан стал первым демократическим государством на Востоке. Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала с 28 мая 1918 г. до 28 апреля 1920 г. Двадцать три месяца – не слишком ли краткий срок, чтоб судить, удался ли этот эксперимент? Как перенесенные Вами испытания повлияли на восприятие идеи: построение демократии в отдельно взятой восточной стране? Или – «Запад есть Запад, Восток есть Восток...»?

А.Ю.: АДР была первой демократической республикой на мусульманском Востоке, в котором были провозглашены все основополагающие права и свободы. Кстати, избирательное право женщинам Азербайджана даровали в 1918 г. Женщины США получили это право много позже.

У АДР были все возможности для полноценного развития. Но история не знает сослагательного наклонения. Оккупация Азербайджана Россией, силами XI Красной Армии стала концом республики. Я не разделяю тезиса «Запад есть Запад, Восток есть Восток...».

Посмотрите на Корейский полуостров. Там проживает один народ с единой культурой, языком и верой. Но на севере одна политическая система, на юге – другая. В итоге – разные модели жизни. Все упирается в политическую систему. Еще недавно восточные немцы жили при одной системе, и у них за короткое время стал меняться образ жизни. Система изменилась, и сегодня видим другую картину. На Южном Кавказе, в Грузии, до Саакашвили ситуация была аналогичной ситуации в Азербайджане. Царил полный правовой беспредел. Но поменяли они систему, и сегодня видим иное развитие страны.

Л.Ю.: Коричневый фашизм утвердился в середине XX столетия в Германии и Италии. А красный фашизм на просторах многонациональной Российской Империи развивался 70 лет. И еще не все преступления этого режима обнаружены.

В 1969 г. историк и правозащитник Андрей Амальрик писал о восприятии западной общественностью фашизма: «...пока фашизм не был повержен и разоблачен, в демократических странах находилось много людей, которые восхищались фашизмом или, во всяком случае, находили в нём те или иные достоинства. Быть может, они считали, что для них самих фашизм не подходит, но для немцев и итальянцев он вполне хорош. (Так же как алиевский деспотизм для азербайджанцев? – Л.Ю.). Многие надеялись также, что, постепенно вовлечённый в респектабельное общество разных международных организаций, фашизм откажется от своих дурных замашек». Увы, не откажется...

16 декабря 2015 г. законопроект «Демократический акт Азербайджана» был представлен в Конгресс США конгрессменом Кристофером Смитом. Законопроект появился после того, как Ильхам Алиев отказался освободить более ста политзаключенных, отрицая существование такой категории заключенных вообще. Если этот закон будет принят, то будет введен запрет на выдачу американских виз для высшего руководства и членов правительства Азербайджана и их семей, а также работникам правоохранительных органов и судебной власти, участвовавших в репрессиях. Документ вводит запрет на кредитование, страхование или финансирование через программы США; препятствует многосторонней финансовой помощи Азербайджану и призывает блокировать американские активы высокопоставленных руководителей и членов их семей. По законопро-

екту санкции могут быть сняты, если правительство Азербайджана продемонстрирует значительный прогресс в деле освобождения политзаключенных, прекратит подавление гражданского общества, обеспечит проведение свободных и справедливых выборов.

Хотелось бы ошибиться, но я сомневаюсь, что такой важный для нашей страны и всего региона закон будет в конце концов принят.

Л.А. Вам как основателям «Института мира и демократии» положено верить в название Вашего института. Но со стороны кажется, что на Востоке создание демократического государства маловероятно.

А.Ю.: Именно поэтому и нужен ИМД, чтобы способствовать развитию демократии, построению правового государства и достижению мира, в частности мирному урегулированию Карабахского конфликта.

Институт мира и демократии за 10 лет своей активной работы стал настолько популярным в стране и за ее пределами, что Лейла получала регулярно десятки писем, на конвертах которых не было указано ни названия улицы, ни номера дома и квартиры. На конвертах было написано «Баку, Лейле Юнус – Институт Мира и Демократии». И почтальоны приносили эти конверты, которые приходили из мест заключения, из провинций, из соседних стран....

А за 20 лет деятельности ИМД и после слома нашего дома-офиса 11 августа 2011 г. конверты приходили и по новому адресу.

В 1998 г. на базе ИМД мы организовали Азербайджанскую Кампанию по запрещению Противопехотных мин (Ариф возглавил, а потом привлекли одного беженца из Карабаха). Эта Azerbaijan Campaign to Ban Landmines (ACBL) стала частью ICBL – International Campaign to Ban Landmines.

В ИМД уже в первые годы стало приходиться много женщин, пострадавших от домашнего насилия. Поэтому в 2001 г. мы были вынуждены учредить специальный Женский Кризисный Центр. Эти две организации – ACBL и ЖКЦ – располагались в офисе ИМД, который был в нашем доме – доме родителей Лейлы.

Л.А. Существует ли сейчас в Баку Институт мира и демократии или его, как Вас и Лейлу, посадили за решетку?

А.Ю.: В феврале 2015 г. наша дочь Динара зарегистрировала Институт мира и демократии в Голландии. В настоящее время мы восстанавливаем его работу: составляем списки политических заключенных, посылаем отчеты в международные правозащитные организации, я провожу исследования по проблеме роста и причин терроризма. Тесно сотрудничаем в том числе с американскими организациями: Human Rights Watch, NED (National Endowment for Democracy), Forum 18, Freedom House и др.

В Азербайджане же в настоящее время резко ограничена возможность для деятельности независимых институтов гражданского общества.

Л.А. Как там писатель Акрам Айлисли? Отстали ли власти от него? Вы с ним общались?

Л.Ю.: Да, мы были на связи, когда оставались в Азербайджане. На него завели уголовное дело: якобы он, 78-летний человек, избил 30-летнего пограничника, который не пропускал его в самолет вылететь в Венецию на литературный фестиваль. Его держат под домашним арестом, оба его сына и жена уволены с работы.

Л.А. Что Вы думаете о будущем ислама как мировой религии? Христианство и иудаизм во многом трансформировались. Есть ортодоксальные ветви, существуют реформаторские течения... Почему в исламе не происходит эволюции?

А.Ю.: Трансформация имеет место во всех религиях, иначе и не может быть, ничто не стоит на месте. Другое дело, что иудаизм и христианство – более старые религии и прошли свой путь раньше. А ислам – более молодая религия и здесь многое сравнительно недавно началось. Но процесс преобразований в исламе на самом деле идет. К тому же следует иметь в виду, что исламский мир не един, он расколот на «арабский», «иранский», или шиитский, «турецкий» и «постсоветский». И между ними есть существенная разница. На постсоветском пространстве после 70 лет правления атеистов люди успели забыть о религиозных истоках, и сейчас идет процесс возрождения многих атрибутов.

Свою роль играет и миграция населения, а также глобализация. Живущие в Европе и других западных странах мусульмане

также многое усваивают в своей жизни. «Арабские» революции – это во многом как раз влияние глобализации, ибо арабская молодежь не хотела жить по прежним правилам жизни у себя на родине. Или возьмите такую вроде бы далекую от политики сферу, как музыку: по религиозным канонам ислама западная музыка – это харам, то есть недостойная для истинных мусульман и потому должна быть запрещена. Но мир изменился, и Интернет, и многое другое. И уже не сенсация – эстрадные группы в исламском мире. Или в Стамбуле в главной мечети проповеди ведет женщина-имам, о чем еще совсем недавно было просто невозможно даже мечтать. Сегодня идет разрушение прежнего образа жизни мусульман. Но этот процесс тяжело многими воспринимается. Особенно на фоне ухудшения социально-экономической жизни. И тогда возникает желание защитить себя и свою идентичность. Так появились радикальные исламские фундаменталисты, фанаты, требующие жизнь по канонам «классического ислама». Так появился и образ внешнего врага.

Л.А. Чем заняты ваши дни? Есть ли культурный шок или, поскольку вы были частыми гостями на Западе, все сглажено?

А.Ю.: Ежедневно работаем, и я, и Лейла над книгой «Наш путь: из советского в азербайджанский ГУЛАГ». Эта книга сегодня – наша главная задача и цель.

Л.Ю.: О каком культурном шоке вы спрашиваете? Мы приехали в Голландию, а не в Занзибар. Мы живем в старинном городке Лейден, родине Рембрандта, а не в поселке племени масаев, с которыми я подружилась, когда была в Африке. Как ходили в Баку в филармонию и консерваторию, так и здесь, в Голландии, ходим. Только билеты в Голландии значительно дороже, потому так часто, как дома, не пойдешь.

Шок от того, что твою Родину, твой любимый Баку оккупировал авторитарный режим, мафиозный клан и ты вынужден был после 60 лет, после 30 лет борьбы покинуть Родину. Мы не бежали с оккупированной диктаторским режимом территории, мы сражались. Но силы неравные... И сегодня мы не можем прийти к могилам родителей.

Л.А. Я прошла путь эмиграции и «культурный шок» употребляю не в негативном смысле, а как практически неизбежный феномен для любого эмигранта. По моему убеждению, его невозможно избежать, когда человек из одной среды постоянного обитания попадает в другую, какую бы страну мы ни взяли. Есть разница менталитетов, разница культур, от этого никуда не деться. Но я рада, что для вашей семьи все проходит гладко и мой вопрос воспринят с недоумением.

Л.А. Поговорим на другую тему. Что Вы думаете об Эрдогане как политическом деятеле? Стоит ли Азербайджану равняться на такого старшего брата?

А.Ю.: А у Азербайджана все старшие братья как близнецы: что Эрдоган, что Путин. Это – авторитарные лидеры, и пусть Эрдоган говорит на одном с нами, азербайджанцами, языке, у нас общая культура и многое другое. Но равняться следует не на авторитарные режимы, а на демократические. И если Азербайджан – часть европейской цивилизации, если курс на евроинтеграцию не оспаривается и является нашим курсом, то ориентироваться нужно на демократические идеалы, европейские ценности.

Л.А. Ариф, в тюрьме Вы пережили и физические и моральные мучения. Что было тяжелее всего? Что внушало надежду? И тот же вопрос по отношению к Лейле.

А.Ю.: Я был не просто в тюрьме, а в тюремной камере СИЗО Министерства национальной безопасности (МНБ). Это – самая закрытая тюрьма, где спокойно творят зло, уверенные, что никто не узнает и ничто за это не будет. Но самое главное – я был в одиночной камере. Чтобы было понятно: в 2011 г. Комитет по правам человека Генеральной Ассамблеи ООН отметил, что полная изоляция может стать причиной серьезных психических расстройств и болезней, и указал, что одиночное заключение может применяться исключительно в целях обеспечения безопасности самого заключенного, однако срок такой изоляции не должен превышать 15 суток, ибо заключение в одиночной камере свыше этого срока представляет собой пытку. Я же провел в изоляции от мира в одиночной камере МНБ, в этом каменном гробу, не 15 дней, а 448 дней... Пытки надо мной можно разделить на психологические, когда первые 8 дней я вообще не имел

контакта с кем-либо, даже с надзирателями. Был в маленькой камере размером около 6 кв. метров (европейские стандарты – на одного человека – 9 квадратных метров), без передач от близких, без адвоката и какой-либо информации. Потом в течение двух месяцев прошел через жестокие пытки в подвале МНБ. От чего и по сей день страдаю – неожиданные сильные болевые атаки в области затылка, как результат от ударов по голове в подвале и многое другое. Но самым тяжелым было пребывание в первые дни, психологическая пытка, когда легко можно было сойти с ума. Помогла любовь к своим близким – дочери и супруге. А также вера, что занимался нужным и правым делом и надо все вытерпеть и выжить, чтобы обнять своих близких.

Л.Ю.: В голове стояло то, что в школе учили:

*«Ты выдай оружие смелым,
И в первую очередь мне....
... Оружие выдадут храбрым,
И в первую очередь, мне».*

Л.А. Прочла интервью, которое дала Лейла заместителю главного редактора телевизионной программы «Azerbaijan Saati», руководителю Русской редакции TuranTV Эмину Ахмедбекову. В нем Лейла писала, что издавна собирает сведения о политзаключенных в Азербайджане. Самая большая группа из недавнего списка 162-х политзаключенных – мирные верующие. Их 103 человека. Чего они добиваются?

Л.Ю.: Они – как и я – борются за свободу, права человека, демократию. Их выступления (председателя Исламской партии Мовсума Самедова, осужденного в октябре 2011 г. на 12 лет заключения, лидера движения «Мусульманское Единство» Тале Багирзаде, осужденного в январе 2017 г. на 20 лет лишения свободы) ничем не отличаются от моих выступлений. Только я, призывая покончить с диктатурой и установить в стране разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, гарантировать право на защиту от пыток, свободу слова, ссылаюсь на нормы международного права, Европейскую Конвенцию, а верующие ссылаются на Коран, в котором так же, как и в Библии, призывают к добру и ненасилию.

Мы все противостояем насилию диктатора своим СЛОВОМ. Но

еще Лев Толстой писал: «слово-поступок». И против нашего слова диктатор применяет насилие. А насилие порождает насилие!..

Л.А. Пока что, опираясь на ислам, постоить демократическое государство никому не удалось. Возьмем Иран, к примеру, с его преследованием сексуальных меньшинств. А женские права, которые не уважаются ни в одной стране, где господствует ислам? Мне, в отличие от вас, эта идея представляется утопичной... Но не буду спорить.

Останутся ли Нидерланды вашим постоянным местом пребывания? В Америку не собираетесь? Будем рады!

А.Ю.: Наша дочь с 2009 г. живет в Нидерландах. Мы сознательно, когда появилась опасность для ее жизни со стороны шакалов режима, выбрали эту страну, в которой гарантированы все права и свободы граждан, и будем вместе с дочкой жить здесь.

Л.А. Я на задала вам вопроса о личном аспекте вашей деятельности.

Хотелось бы еще узнать: как дочь относится к тому, что ее родители полностью в политике? Не упрекала? Как относится она к вашей деятельности?

Л.Ю.: Даже в самое тяжелое время нашего пребывания в заключении Динара не плакала, не просила меня отступить, покаяться, как можно было бы предположить. Нет, во всех своих письмах мне Динара подробно рассказывала о своих встречах, своих поездках и просила держаться с верой в нашу победу. Я бесконечно горжусь нашей дочерью.

После освобождения и переезда в Голландию нам на наших многочисленных встречах в Европе депутаты ПАСЕ, Европарламента, политики и общественные деятели все в один голос повторяют о значительной роли Динары в нашем освобождении. А отпустив нас, диктатор стал отпускать и наших друзей. Вытащив нас, Динара буквально пробила дыру в алиевских застенках, и уже через 2,5 месяца на свободу вышли еще 14 друзей, единомышленников.

Л.А. Да, такой дочерью вы вправе гордиться! Второй личный вопрос, если позволите. Судя по количеству наград, вопрос,



В день приезда в Амстердам и воссоединения семьи 19 апреля 2016 г.

кто является лидером в вашей паре, не стоит на повестке дня. Так ли это?

Л.Ю.: Зато у него 8 книг против моей одной. На самом деле, вы можете мне не поверить, но у нас не партия, в которой нужен лидер, а семья, и главное – взаимопонимание.

А.Ю.: Я военный историк. В СССР я был вице-президентом Ассоциации военных историков. Я думаю, сложно найти женщину, которая бы так же четко, как Лейла, ориентировалась в ситуации, когда я ей говорю «Ганнибал у ворот» (Hannibal adportas), «встретимся у Брандербургских ворот», или «мы на Волховском фронте». Вы знаете, в заключении мы могли посылать друг другу письма только через Красный Крест раз в 6 месяцев. И написать можно было только полстранички текста. И вот на этом клочке я писал: «Дали приказ 227, мы в доме Павлова», а Лейла писала «Мы под Ржевом. Только Марк помогает мне выжить». И Лейлу вызывал начальник СИЗО и требовал объяснений, отказывая в разрешении на передачу писем.

Л.Ю.: Начальник СИЗО мне заявил, что «я призналась, наконец, что меня завербовал в армянскую разведку еврей по имени Марк». И я долго письменно объясняла, что Марк – это Марк Аврелий – римский император 1 века н.э., который говорил: «наша

жизнь – это то, что мы о ней думаем».... Я в деталях описывала битву под Ржевом 33-й Красной армии генерала Ефремова и приказ № 227 – «Ни шагу назад»....

А.Ю.: На фронте нужен не лидер, нужен надежный тыл.

Л.А. **Что ж, пожелаю вам обоим сил и здоровья! Вы удивительная пара, и я горжусь знакомством с вами. Надеюсь, следующий наш разговор состоится не через тридцать лет!**

Лиана Алавердова родилась в Баку. Закончила историческое отделение Азербайджанского Госуниверситета и работала в Институте философии и права Академии наук республики. Неоднократно публиковалась в периодической печати.

В 1991 г. была удостоена Первой премии Корчаковского Общества Азербайджана за стихи, посвященные Яношу Корчаку.

В 1993 г. Лиана Алавердова с семьей эмигрировала в США. Она автор трех стихотворных сборников: «Рифмы», 1997 г., изд-во «Слово/Word», Нью-Йорк; «Эмигрантская тетрадь», 2004 г., изд-во «Alexandria», Нью-Йорк и двуязычного сборника «Из Баку в Бруклин», 2007 г., изд-во «MIR Collection», Нью-Йорк.

Лиана печатается в американских журналах и альманахах на русском и английском языках.

В прошлом году увидели свет две ее новые книги – «Иерихонская роза» и «Наши за границей, или русские эмигранты в Америке».

Живет в Нью-Йорке и заведует Бруклинской публичной библиотекой Kings Bay.

Владимир ФРУМКИН

**ПРИДВОРНЫЕ МУЗЫ
ИЛИ
ПЕГАС ПОД СОВЕТСКИМ СЕДЛОМ**

*А мы обучены этой химии –
Обращению со стихиями!*

Александр Галич. «Заклинание».

1. В нежных объятиях системы

*Во многой мудрости много печали;
и кто умножает познания, умножает скорбь.*

Екклесиаст. 1:18

Судьба тщательно оберегала меня от постижения неприятной правды об обществе, в котором, по ее прихоти, мне довелось родиться. Недодав мудрости и познаний, она щедро наделила меня наивностью и легковерием. В силу чего я долго не понимал, что порожденные этим обществом «творческие союзы» служат не столько расцвету муз, сколько приглядыванию за ними – чтоб вели себя прилично и не шлялись где попало. Уверен, что мне, гордому обладателю членского билета Союза композиторов СССР, показался бы странным, а то и подозрительным, афоризм, произнесенный Борисом Пильняком в 1920-е годы: **«Писатель ценен только тогда, когда он вне системы».**

Смелым и независимым человеком был Борис Андреевич в молодости. Не считал нужным соблюдать идеологический этикет. То и дело вырывались у него фразы, звучавшие как дерзкий вызов. Например: **«Чем талантливее художник, тем он политически бездарнее».**

О себе он сказал так: «Мне выпала горькая слава быть чело-

веком, который идет на рожон». В 1930-е Пильняк заговорил иначе. Он клянется в верности партии и социализму и славит Сталина: **«Поистине великий человек, человек великой воли, великого дела и слова»**. (В. Шенталинский. «Рабы свободы». <http://www.e-reading.club/book.php?book=1027640>).

Поворот произошел не только из-за нависшей над ним смертельной опасности: патологически злопамятный Сталин не простил ему «Повести непогашенной луны», наводившей на мысль, что смерть Михаила Фрунзе произошла с ведома и благословения Кобы. Была и другая причина, довольно таки веская: к началу 30-х годов в стране сложилась система, находиться ВНЕ которой не было никакой возможности. Подобно гигантскому пылесосу, она всасывала в себя все без исключения виды деятельности и всех, кто в них участвовал: промышленность с рабочими и инженерами, образование и науку с учителями и учеными, потом сельское хозяйство с крестьянами – и тут же, без паузы, весной 1932 года принялась за «инженеров человеческих душ» и всех прочих служителей муз.

Возвестило об этом Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художественных организаций», прозвучавшее как гром среди ясного неба. Опешившим от неожиданности литераторам, художникам и музыкантам сообщалось, что их добровольные объединения – левые, умеренные, правые, всякие – отныне больше не существуют. Остатки идейного и эстетического плюрализма, чудом сохранявшиеся с дореволюционных времен, ликвидируются решительно и бесповоротно.

После первого пункта Постановления, объявляющего о ликвидации, следовал второй (цитирую по машинописной копии): «Объединить всех писателей, поддерживающих платформу Советской [стоящих за политику советской] власти и стремящихся участвовать в социалистическом строительстве, в единый союз советских писателей с коммунистической фракцией в нем».

А за ним и третий: «Провести аналогичное изменение по линии других видов искусства [объединение музыкантов, композиторов, художников, архитекторов и т. п. организаций]»;..

Объединить в единый союз. Мысль, хоть и выраженная несколько коряво, была грандиозной по своим последствиям. Через

полвека о Великом переломе в культуре огромной страны с грустной усмешкой написал Булат Окуджава:

*Век двадцатый явился спасателем,
потому и гордимся мы им.
Было трудно в России писателям,
достоевским и разным толстым.*

*Были все одиноки, разрозненны
и не знали, куда им идти,
да и Время зловредными кознями
поперек становилось пути.*

*Чужды были им сборища шумные,
обходились без творческих уз,
и поэтому головы умные
их собрали в единый Союз...*

«Головы умные», сообразившие, как навести железный порядок в сложном и непредсказуемом мире искусств, нашлись тогда не только в советской России. В нацистской Германии перестройщики культуры оказались даже умнее и решительнее своих большевистских коллег-соперников и не стали терпеть у себя годами пестроту и неразбериху на культурном фронте. Впрочем, может, и не такие уж умные они были, а просто очень ушлые: умели учиться – схватывать на ходу полезный опыт у СССР, страны, на 16 лет раньше начавшей неслыханный эксперимент – строительство тоталитаризма в отдельно взятой стране. И поэтому ухитрились учредить у себя Единый Союз в 1933 году, через несколько месяцев после прихода к власти Адольфа Гитлера! От советских творческих союзов этот отличался идеальным соответствием формы и содержания. Архитекторы Третьего рейха решили не кривить душой и в названии новой гигантской организации, объединившей все виды искусства плюс печать и радио, вообще обошлись без слова Union. Как и от прочих слов, намекающих на добровольность, автономность и тому подобные либеральные шалости. Ибо сказано было прямо, без обиняков и экивоков: Господа артисты, отныне вы служите в Reichskulturkammer

– «Имперской Палате Культуры». А она есть не что иное, как одно из ведомств Министерства народного просвещения и пропаганды, во главе которого стоит доктор Йозеф Геббельс. И тот из вас, кто, по тем или иным причинам, окажется вне штата нового ведомства, лишается права заниматься своей профессией!

Советские творческие союзы формально оставались вне государственных структур, и их уставы не содержали столь жестких правил. Тем не менее, результат получился до удивления сходным: казенщина, канцелярия, администраторы, партийные ячейки...

*...Всё вдруг ожило, всё вдруг устроилось,
всё наладилось: только бы жить.
И писателей сразу устроилось,
так что есть кем кого заменить.*

*И как будто в счастливом раёшнике
замелькали, спасения нет,
то начальники, то их помощники...
Что ни комната — то кабинет.*

*И шоферы, и завыв исправные,
секретарши и секретари,
и писатели — самые главные
и не самые, черт их дерит...*

Булат Шалвович опубликовал это стихотворение в 1987 году в нью-йоркском эмигрантском журнале «Стрелец». В родном отечестве полным ходом шла перестройка и процветала недавно объявленная гласность, но все еще здравствовал и казался непотопляемым герой издевательского стишка – писательский Союз, который в конце стихотворения (он приведен ниже) получает убийственный, но вполне заслуженный титул: МИНИСТЕРСТВО.

«Наступает период окончательной бюрократизации литературы» – эти пророческие слова произнес в августе 1934 года один из делегатов Всесоюзного съезда писателей, Алексей Силыч Новиков-Прибой, беседа с друзьями-коллегами в кулуарах съезда.

Маститый писатель не подозревал, что кулуары кишат секретными осведомителями НКВД. Обильный компромат, добытый сексотами в те роковые дни, опубликован в книге «Власть и художественная интеллигенция». Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953. М.: Международный фонд «Демократия», 1999. 872 с.

Самую крамольную и, одновременно, самую образную оценку роли писателей в системе, исключавшей занятия творчеством ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ, дала небольшая группа делегатов в анонимной листовке, перехваченной секретно-политическим отделом ГУГБ НКВД в дни работы съезда:

Мы, русские писатели, напоминаем собой проститутку публичного дома с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой; как для них нет выхода из публичного дома, кроме голодной смерти, так и для нас.

Крамола, обнаруженная властью в среде писателей, без должного восторга отнесшихся к революционным преобразованиям в области культуры, послужила сигналом к проведению глубокой чистки их рядов. В течение нескольких лет после окончания съезда из 582-х писателей с правом решающего и совещательного голоса были арестованы более одной трети – 218 человек! Мало кому из них удалось выжить и вернуться на свободу...

Кнут в руках хозяев страны продолжал исправно работать и в последующие годы, постоянно держа писательскую братию в страхе и послушании. Но одновременно все большую роль в культурной политике приобретал пряник – тщательно разработанная система благ и привилегий. У Окуджавы она предстала в виде колоссальных размеров пирога, покрытого призывно поблескивающей коркой:

*В главном зале под коркою глянцевой,
чтоб никто отвертеться не смог,
перед кровными и иностранцами
вожделенный разлегся пирог.*

*И, забывши всё мелкое, личное,
каждый мог, отпихнувши врага,*

*выбить место себе поприличнее
и урвать от того пирога...*

*Я не знаю, на что и рассчитываю,
но с большим удивлением гляжу,
как и сам от той корки отщипываю
и с надеждой туда прихожу,*

*где на радость миллионам читателей,
словно выйдя из пены морской,
министерство Союза писателей
размещается на Поварской.*

Что-то очень уж деликатно обращается здесь Булат с вожде- ленным государственным пирогом: робко отщипывает от корочки. В реальной жизни мы, члены творческих союзов, норовили отрезать кусок побольше и потолще. Выбить квартиру, получить бесплатную путевку в дом творчества; подписать выгодный договор с издательством; приобрести машину, не томясь в годами длящейся очереди; съездить в интересную творческую командировку или за рубеж(!); сходить на закрытый просмотр иностранного фильма, не допущенного в массовый прокат; провести платный творческий вечер или лекцию, которые устраивал для нас Отдел пропаганды советской музыки (ничуть не коробило меня тогда это слово – пропаганда, ничего сомнительного не ощущал я в нем, пока не попал на Запад...); подправить здоровье у своих, особых – литфондовских, музфондовских, худфондовских и т.п. – врачей; пошить костюм или шубу в специальном ателье и, как венец всему – упокоиться не на общем, а престижном, «лимитном» кладбище...

Большим благом для композиторов было то, что они могли продать свое сочинение по меньшей мере дважды: музыкальному издательству и министерству культуры, которое присылало для прослушивания и отбора достойных произведений своих чиновников. Делегация носила прозаическое название – «Закупочная комиссия», но сколько нешуточных волнений и страстей вызывали ее приезды у наших композиторов. Еще бы! Гонорары министерство платило весьма и весьма внушительные.

2. Невыносимая странность бытия

*Мы тоже дети страшных лет России,
Безвременье вливало водку в нас.*

Владимир Высоцкий

Кому «сучок», а кому коньячок...

Александр Галич. «Поэма о Сталине»

В одном наша культурная элита не отличалась от простого народа и была органической его частью: она любила выпить – и увлекалась этим хобби с неменьшей страстью, чем рядовые граждане страны Советов. Отличия, тем не менее, были, главное из которых заключалось не столько в количестве потребляемого, сколько в его качестве. Водка, которую, по Высоцкому, вливали в советских людей безвременье, творцами культуры пилаась немножечко другая: подороже, почище и повкуснее. «Сучок» – самая дешевая из водок, содержащая 30% технического спирта, как и широко популярные крепленые вина типа «Бормотухи» или Портвейна 777, редко попадали в их стаканы. И уж совсем не брали они в рот одеколон или политуру...

Советская элита, включая творческую, предпочитала коньяки, шампанское, редкие вина, импортные ликеры. С одним из них, голландским яичным ликером «Advokaat», меня познакомил А.А. Галич. Вначале – визуально, когда мы зашли с ним, в компании с Владимиром Максимовым, в московскую «Березку». Дегустация купленного за валюту экзотического напитка произошла у него дома и привела к тому, что «Адвокат» надолго стал предметом моих усердных (и большей частью – безуспешных) попыток его раздобыть. Охладел я к нему вскоре после переезда в Америку, где его можно было купить едва ли не в любом винном магазине...

Было в Ленинграде одно местечко, где можно было и выпить чего-нибудь отборного, и закусить неплохо – бутербродами с икрой обоих цветов, балычком, салями, сервелатом, бужениной и другими вкусностями. Называлось оно «Щель»: это был крохотный бар в здании гостиницы «Астория», в который можно было войти прямо с улицы, точнее – с Исаакиевской площади. И находился он, на наше

счастье, в нескольких минутах ходьбы от прелестного старинного особняка, который когда-то был отнят советской властью у княгини Гагариной и подарен композиторам Ленинграда. Дом композиторов и поныне стоит – под номером 45 – на Большой Морской, в мое время называвшейся улицей Герцена.

Слово «щель» звучало у нас часто и произносилось полушепотом с какой-то особенной, мечтательной интонацией.

– После секции массовых жанров забегу в «Щель». Составите компанию?

– С удовольствием! Интересно, завезли ли им мой любимый коньяк – армянский пятизвездочный?..

Одним из завсегдатаев «Щели» был Василий Николаевич Липатов, композитор, сочинивший в 20-е годы две мелодии, которые стали поистине народными и благополучно здравствуют до сих пор. Выжить им помогло то, что они напрочь срослись с пронзительными есенинскими стихами – «Ты жива еще, моя старушка?» и «Клен ты мой опавший». Автор получал за них баснословные гонорары, но счастье длилось недолго: Есенин впал в немилость, на его поэзию наложили табу, и Липатова издавать перестали. Зарабатывал он обработками фольклора и игрой на фортепиано – в качестве аккомпаниатора. И пить начал – чем дальше, тем безудержнее. К моменту нашего знакомства он был уже тенью прежнего себя, здорового и преуспевающего. Увидев его впервые, я сразу понял, что знаменитую строчку из своей есенинской песни «Письмо матери» – «Не такой уж горький я пропойца...» – он не смог бы спеть, не покривив душой. Был он тогда уже не просто горьким, а горчайшим... И мог бы стать «наглядным пособием», живым предостережением всем нам: «Меньше пейте, ребята! Не увлекайтесь!» Но не стал.

Куда там! Умеренность в обращении с горячительными напитками, которую я, приехав в Америку, с изумлением (и некоторым разочарованием) обнаружил в своих новых соотечественниках, в нашей ДНК, как правило, отсутствовала напрочь. Так что, начав пить в приятной компании, мы сплошь и рядом упускали момент, когда надо было спохватиться и нажать на тормоз. Кончалось это плохо, иногда – трагически. Одна из трагедий произошла в гостинице «Украина» в дни очередного съезда композиторов в Москве, в соседнем с моим номере, где собралась теплая компания солидных

и талантливых людей – руководящее ядро ленинградского Союза. Жертвой веселого и шумного застолья (его отголоски проникали ко мне через стенку) стал Валериан Михайлович Богданов-Березовский, человек старинной интеллигентской закалки. Родился до революции в семье лейб-медика императорского двора. Учился в Петербургском Николаевском кадетском корпусе, затем – в Ленинградской консерватории, где близко сошелся с Митей Шостаковичем. Стал композитором и музыковедом, писал музыку, книги, статьи, рецензии, занимал различные руководящие посты. В ночь с 7 на 8 мая 71-го года его не стало. Разрыв аорты в результате тяжелой интоксикации. Я узнал об этом, выйдя утром из своего номера...

Алкоголь губил и калечил, но и стерильная трезвость ничего хорошего не сулила. Трезвый ум видит реальность как она есть, и себя в ней оценивает трезвее и безжалостней, без уловок и самообмана. А когда реальность кошмарна, и, чтобы выжить в ней, ты всячески юлишь и мечешься, идешь на сделки с совестью, забываешь о человеческом достоинстве и чести, – ты ищешь способа расфокусировать свое зрение и затуманить режущую глаз картину. «С тяжёлыми мыслями надо бороться не выпивкой, а хорошими мыслями», – говорила сильно пьющему Александру Володину его жена Фрида. Саша не соглашался. «Но что если они (хорошие мысли – В.Ф.) появляются именно после того, как выпьешь?», – говорил он...

Тяжелые мысли посещали пишущую братию неравномерно. Труднее доставалось тем, кто был более одарен. Они, обладатели истинного дара, и страдали больше – от невозможности реализовать его неестественно, без понуканий и придиорок.

Невыносимо, когда бездарен.

Когда талантлив – невыносимей.

Это Андрей Вознесенский про Америку написал – в стихотворении о внезапной кончине Мэрилин Монро. Но советский читатель 60-х годов, большой дока по части эзопова языка, без труда переносил подобные намеки на родную почву. Пили ли талантливые композиторы больше, чем их коллеги, писавшие, как сказано

у Зощенко, «маловысокохудожественные произведения»? Пожалуй, нет. Выпить как следует любили и те, и другие. О размерах бедствия было известно на самом-пресамом Верху, о чем свидетельствует Записка Отдела науки и культуры ЦК КПСС «О состоянии советской оперы», где во второй главе под названием «ПРИЧИНЫ» черным по белому написано:

«Министерство культуры СССР и Союз композиторов много лет равнодушно взирают на заметное угасание таланта композитора, находящегося в неблагоприятных семейно-бытовых условиях (отрицательные влияния жены, увлечение спиртными напитками). Создав в свое время оперу «Тихий Дон», ставшую исторической вехой в развитии советского оперного искусства, Дзержинский с тех пор не написал ничего выдающегося и достойного внимания».

Так и не создал Иван Иванович ничего выдающегося и достойного внимания, несмотря на отеческую заботу Центрального Комитета и оздоровительные меры, принятые по следам обширной Записки, составленной в сентябре 1953 года. Хотя и старался вовсю, написал-таки нужное партии сочинение, о котором скажу чуть позже...

Была еще одна отдушина у советского человека, и тоже – в сугубо частной, неподконтрольной государству сфере, где он мог отвлечься и забыться, проявить свое «я», сделать самостоятельный выбор, поступить по своей воле. Это была «наука страсти нежной», область интима, секса, любовных интриг и утех. Как-то не хочется углубляться в эту тему, хотя, возможно, и найдутся не в меру любознательные читатели, готовые, подобно участникам собрания из блистательной сатирической баллады Галича «Красный треугольник», потребовать: «Давай подробности!»...

Советская интеллигенция любила шутить и внесла заметный вклад в один из самых преуспевающих жанров неофициальной культуры – подпольный юмор. Смех, подобно алкоголю и сексу, помогал отвлечься, разрядиться, отвести душу.

Если ты не согласен с эпохой,

Охай, – сострил однажды Юрий Николаевич Тынянов.

Это была мудрая шутка, отразившая суть эпохи, вслух и всерьез с которой спорить было смертельно опасно. Можно было лишь тихо, в очень узком кругу подтрунить над ней и над самим собой – и испытать пусть маленькую и сомнительную, но – радость...

Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин с удивлением обнаружил у русских повышенную склонность к юмору с перчинкой, к едкой насмешке. И сделал интересный вывод: такого рода юмор в несвободном обществе не случаен. *«Насмешка, – написал он в своей знаменитой книге «Россия в 1839 году», – это бессильное утешение угнетенных».* Насмеялись русские и над собственной несвободой, над невозможностью открыто выражать свои мысли: *«Слово не воробей, вылетит – не поймаешь».* И с грустной улыбкой пожимали плечами: а что поделаешь – *«Плетью-то обуха не перешибешь!»* В советской России пословица о слове и воробье зазвучала иначе, таящаяся в ней угроза потеряла свою неопределенность. Новую ее версию Николай Эрдман вложил в уста Егорушки, персонажа своей великой пьесы «Самоубийца» (кстати сказать, запрещенной лично товарищем Сталиным):

«Слово не воробей, выпустишь – не поймаешь, так вот, значит, выпустишь – не поймаешь, а за это тебя поймают и не выпустят».

Через несколько лет поймали самого Николая Робертовича. И выпустили из сибирской ссылки только через три года. Пострадал писатель за басни, которые сочинял в творческом тандеме с Владимиром Массом и которые, будучи сильно под хмельком, прочитал Сталину на кремлевской вечеринке Василий Иванович Качалов. В одной из них говорилось:

*Раз ГПУ, зайдя к Эзопу,
Схватило старика за жопу.
Смысл этой басни ясен –
Не надо басен...*

Советский человек поневоле обращался со словом в высшей степени аккуратно; тем не менее, потайной юмор продолжал жить и цвести буйным цветом. Особенно приятно было пройтись по вышестоящим товарищам, а в нашем случае – по тем, кого власть сдела-

ла руководителями композиторского хозяйства страны. Мишенью анонимных сатириков не раз оказывался Тихон Хренников, назначенный Сталиным Генеральным секретарем СК СССР в 1948 году, после выхода Постановления об опере «Великая дружба». По главному обвиняемому, злостному формалисту Шостаковичу, был нанесен тогда дополнительный мощный удар, но не Хренниковым, а другим руководителем Союза, композитором Марианом Ковалем – в виде серии из трех статей, опубликованных в журнале «Советская музыка». Это был *«политический донос, содержавший сокрушительную критику творчества Шостаковича в целом»*, – как выразился биограф Шостаковича, польский композитор Кшиштоф Мейер.

Тихон Николаевич тоже весьма жестко прошелся по Дмитрию Дмитриевичу – в докладе, прочитанном на Первом съезде Союза композиторов в апреле 1948 года. Как признался по прошествии многих лет сам Хренников, доклад этот был составлен в ЦК КПСС:

«Я не знал, за что хвататься. Никогда прежде с трибун не выступал, двух слов публично связать не мог и текст доклада увидел часа за полтора до начала заседания. Даже времени ознакомиться не было, взял и прочитал всё делегатам».

Эти смягчающие обстоятельства, как видно, были неведомы автору эпиграммы, появившейся после того, как ЦК через пять лет после смерти Сталина отыграл обратно, выпустив Постановление *«Об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба», «Богдан Хмельницкий» и «От всего сердца»*:

*Жил да был композитор Хре.
Получил много Сталинских пре.
И, взойдя на ответственный пост,
Невзлюбил композитора Шост.*

*Но настало другое вре,
И ЦК отменил свое Пост.
И тогда композитор Хре
Полюбил композитора Шост...*

Подпольные хохмачи недолюбливали приспособленчество в любых его формах: в высказываниях, в поведении, в творчестве.

Вскоре после премьеры идеологически правоверной оперы Хренникова «Мать» по роману Горького по интеллигентским кругам загулял ядовитый стишок:

*Хоть опера и новая,
Успеха нет как нет:
И музыка хреновая,
И матерный сюжет.*

Когда ленинградский композитор Александр Чернов-Пэн написал оперу по «историко-революционной эпопее» Федина «Первые радости», она тут же получила у нас неофициальное название «Первые гадости»...

Иван Дзержинский, отвечая на тревожный сигнал из ЦК относительно его творческой судьбы, сочинил оперу по роману Василия Ажаева «Далеко от Москвы», рассказавшего миру о трудовом подвиге советских людей, построивших в годы войны на Дальнем Востоке жизненно необходимый стране нефтепровод. От читателей скрыли, что описанный в романе героический труд был трудом рабов: нефтепровод прокладывали через тайгу голодные и полумертвые ээки. Книга бывшего ээка Ажаева, предавшего своих товарищей по несчастью, получила Сталинскую премию первой степени, как и появившийся вслед за ней одноименный фильм режиссера А. Столлера. Дзержинский, удостоившийся в прошлом похвалы Сталина за оперу «Тихий Дон», возлагал на новую оперу большие надежды. Увы, они не оправдались. «Далеко от Москвы», поставленная в ленинградском Малом оперном театре, быстро сошла со сцены. Почему? На этот вопрос лаконично ответил безымянный юморист:

«В оркестре не хватило труб для нефтепровода».

Композиторский юмор не признавал границ и обрушивался на всё, что давало повод для более или менее удачной остроты. Тихон Хренников был женат на журналистке Кларе Вакс, женщине волевой и влиятельной. Знаменитый композитор-песенник и острослов Сигизмунд Кац сочинил про эту пару фразу, вошедшую в золотой фонд композиторского фольклора: ***«Нашим Союзом управляет Клара Вакс из-под Тишка»***... Ему же приписывается эпитаграмма, в

которой упоминается другая Клара – выдающаяся пианистка Клара Вик, жена Роберта Шумана:

*Карьеру тот испортит вмиг,
Кто скажет необдуманно,
Что Кларе Вакс до Клары Вик,
Как Тихону до Шумана.*

Иван Иванович Соллертинский, талантливейший музыковед и блестящий юморист-импровизатор, после премьеры балета Бориса Асафьева «Кавказский пленник» произнес, не выходя из театра: **«Смотреть бы рад – прислушиваться тошно!»**. Был у нас в Ленинграде композитор Михаил Александрович Глух, симпатичный, интеллигентный человек, с тихим, скромным характером и более чем скромными творческими достижениями. О нем сочинили фразу, которую коллеги, разумеется, произносили за глаза: **«Глух, но не Бетховен»**. К секретарю нашего Союза, любвеобильному Василию Соловьеву-Седому напрочь приклеилась кличка **«Соловьев-Съел-дой»**. Не Василий ли Павлович придумал название кровати в комнате Дома творчества в Репино, предназначенной для приехавших на один день членов Союза, которые опоздали на автобус или электричку: **«Койка для скользящего члена»?**..

Не пощадили наши юмористы и своих коллег – представительниц прекрасного пола. Девушки и дамы, посвятившие себя музыковедению, делились у нас на две категории: **музыковедьмы и мужиковедки**. Первые часто оставались старыми девами, вторые, как правило, выходили замуж, причем – не только за музыкантов, благодаря чему круг нашего общения расширялся и пополнялся весьма интересными личностями. Одной из таких личностей был Виктор Набутов, бывший вратарь ленинградского «Динамо», ставший известным на всю страну спортивным комментатором. Женился он на миловидной и симпатичной Светлане Тихой, которая после окончания теоретико-композиторского факультета консерватории работала редактором на Ленинградском радио.

Как-то поздним летним вечером Светлана и Виктор устроили пикник с шашлыком на пляже напротив репинского Дома творчества композиторов. Разожгли костер, Витя – по какому-то особому

му рецепту – приготовил невероятно вкусный, пахнущий дымком и морем шашлык. Под стать ему был и принесенный им отборный коньяк. Я вспомнил об этом вечере через несколько лет, когда узнал о внезапной и нелепой Витиной смерти. Пошел он как-то с друзьями в баню помыться, попариться и повеселиться – то есть выпить как следует, закусывая традиционным шашлыком. Во время пирушки Виктору стало плохо, он потерял сознание и перестал дышать. Вызвали скорую, врач решил, что у него инфаркт. До больницы Витю живым не довезли. Вскрытие показало, что он подавился куском шашлыка. Если бы не ошибка врача и бездействие сильно захмелевших друзей, его могли бы спасти прямо там, в бане...

3. Укрощение строптивых

*Но однажды, в дубовой ложе,
Я, поставленный на правез,
Вдруг такие увидел рожки –
Пострашней балаганьих рож!..*

Александр Галич.

«От беды моей пустяковой...»

В один из приездов в Москву я услышал от Галича новое стихотворение с заинтриговавшим меня названием: «Слушая Баха». Объявив его, Александр Аркадьевич сказал, что это своего рода псалом. «Из книги псалмов, которые я пытаюсь сочинять. Я посвятил его Славе Ростроповичу». И полились торжественные строки об «одиночестве Божьего дара» – нелегком бремени художественного таланта, которое и «прекрасно» и «горестно»; и о том, что плоды его неуязвимы и неподвластны никому, даже сильнейшим мира сего.

*...Отправляется небыль в дорогу
И становится былью потом.
Кто же смеет указывать Богу
И заведовать Божьим путем?!*

*Но к словам, ограненным строкою,
Но к холсту, превращенному в дым, –*

*Так легко прикоснуться рукою,
И соблазн этот так нестерпим!*

*И не знают вельможные каты,
Что не всякая близость близка,
И что в храм ре-минорной токкаты
Недействительны их пропуска!*

Так оно и есть, – подумалось мне. В каком-то высоком, философском смысле: в единоборстве тиранических режимов с культурой, в извечной борьбе власти и художника, конечная – духовная – победа, как правило, остается за последним. Особенно, если речь идет о словах, холстах и звуках, сотворенных в прошлом и ставших классикой. Хотя и к ним норовила прикоснуться мозолистой рукой наша замечательная власть. Примеров тому – множество, но здесь приведу лишь один, из моего консерваторского опыта: гениальный автор ре-минорной токкаты и его творения преподносились нам, студентам, тщательно просеянными через сито идеологии, не позволявшей углубляться в питавшую творчество Баха протестантскую веру.

Есть у Галича песня – «Летят утки», 1969, – в которой высокое начальство учит уму-разуму все еще **здравствующих сочинителей**: они ведь свои, придворные, – как простодушно назвал советских служителей муз персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев, записывая на магнитофон свои мемуары.* С ними можно не церемониться:

*Не косят, не корчатся
В снегах зэка, –
Разговор про творчество
Идет в ЦК.*

*Репортеры сверкали линзами,
Кремом бритвенным пахла харя,
Говорил вертухай прилизанный,
Непохожий на вертухая:
«Ворон, извиняюсь, не выключает*

*Глаз, извиняюсь, ворону,
Но все ли сердцем усвоили,
Чему учит нас Имярек?
И прошу, извиняюсь, запомнить,
Что каждый шаг в сторону
Будет, извиняюсь, рассматриваться
Как, извиняюсь, побег!»*

Первый свой шаг в сторону, закончившийся крупным скандалом и вскоре заставивший его эмигрировать, Галич сделал незадолго до написания этой песни.

9-е марта 1968-го. Представляю Галича замершей в ожидании публике, набившейся в огромный зал Дома ученых в Академгородке под Новосибирском, где шел концерт фестиваля бардовской песни. «И это всё?» – удивленно пожимает плечами Александр Аркадьевич, скромно сидящий за столиком в глубине сцены. Он, как видно, настроился на обстоятельный разговор о нем и его творчестве... Я же, зная, как накалена атмосфера вокруг фестиваля и участия в нем Галича, предпринял попытку отвести (или хотя бы смягчить) удар, представив поэта-певца как обличителя темных сторон, хотя и недавнего, но все же прошлого. Припас высказывание Шостаковича о том, что «человеческая память – инструмент далеко не совершенный, она часто и многое склонна забывать. Художник этого права не имеет». Не помогла цитата... Выступление московского гостя было воспринято как идеологическая диверсия.

Следующим же утром в том же Доме ученых состоялось собрание, на которое вызвали Галича, участников фестиваля и руководителей клуба «Под интегралом», устроивших всю эту гитарную вакханалию, названную ими вначале «Бард-68» и в последний момент переименованную в безобидный «Праздник песни». Наибольшее возмущение у новосибирского начальства вызвал «Закон природы» – песенка-сказка о том, как по приказу короля выходит в ночной дозор взвод солдат во главе с бравым тумбур-мажором. И вот –

*...Проходит пост при свете звезд,
Дрожит под ним земля,
Выходит пост на Чертов мост,*

Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
Чеканя шаг, при свете звезд
На Чертов мост выходит пост,
И, раскачавшись, рухнул мост –
Тра-ля-ля-ля!
Целый взвод слизнули воды,
Как корова языком,
Потому что у природы
Есть такой закон природы –
Колебательный закон!
Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, два-три!..

И совсем уж доконал начальников последний куплет этой песенки:

Давно в музей отправлен трон,
Не стало короля,
Но существует тот закон,
Тра-ля-ля-ля-ля-ля!
И кто с законом не знаком,
Пусть учит срочно тот закон,
Он очень важен, тот закон,
Тра-ля-ля-ля!
Повторяйте ж на дорогу
Не для кружева-словца,
А поверьте, ей-же-Богу,
Если все шагают в ногу –
Мост об-ру-ши-ва-ет-ся!
Ать-два, левой-правой,
Три-четыре, левой-правой,
Ать-два-три,
Левой, правой –
Кто как хочет!

То есть, как это «*Кто как хочет*»? Куда нас зовет автор? К анархии? А вы, товарищи барды, включая эту песню, как вы сейчас признались, в свои концерты, понимаете ее принципиальную ошибочность? Ее вред? В Москву, в центральные органы, потекли из Новосибирска донесения (где и мое скромное имя поминается не вполне добрым словом), результатом которых стало заседание Секретариата Правления Московского отделения СП СССР, созванное 20 мая 1968 года. На сей раз Александр Аркадьевич отделался легким испугом: ему вынесли строгое предупреждение. Через три с половиной года за те же самые песни Союз писателей исключил его из своих рядов.

Что до меня, то я – за свои опыты в бардоведении и за исполнение «незалитованных» песенок – был наказан дважды. В апреле 67-го меня вызвали в секретариат ленинградского Союза композиторов и строго предупредили, что впредь такого не потерпят. Чего именно? Я выступил в Киеве на выездной сессии Академии наук СССР, посвященной проблемам фольклора. Доклад мой назывался вполне невинно: «Современные песни городской молодежи». Но речь в нем шла о том, чем привлекают эту молодежь песни Окуджавы и других поэтов-певцов. И в чем они проигрывают официальным советским песням. Слушатели мои раскололись на два лагеря: половина публики, те, кто постарше, сидели с насупленными, иногда – с крайне недоуменными лицами, тогда как молодая половина реагировала живо и одобрительно.

«Слух обо мне» быстро пробежал по цепочке: Украинская Академия наук – Украинский ЦК КПСС – ЦК КПСС в Москве – Ленинградский обком – Ленинградский СК... Второй втык был гораздо ощутимее: меня не пустили на Парижскую музыкальную неделю 1970 года. Без объяснения причин. О них я узнал – по большому секрету – от своего приятеля, композитора Юрия Зарицкого, который был тогда секретарем партбюро ленинградского Союза. Его вызвали в Большой дом (ленинградское отделение КГБ) для беседы и показали мое досье. «Вот такое! – Юра поднял левую ладонь над правой примерно на полметра. – И всё, представь, про твои бардовские дела. Просили объяснить, зачем это тебе, профессиональному музыковеду, надо. Я что-то им наплел. Нейтральное. Сказали заодно, что наш обком твою поездку в Париж утвердил, а зарубили тебя они – из-за этой папки»...

Сплошь и рядом бывало, что праведный начальственный гнев вызывал какой-нибудь пустяк, например, неосторожно сказанные несколько фраз. Предположим, на тему о руководящей и направляющей роли партии в развитии советской культуры.

...Как сейчас помню: идет собрание композиторов, посвященное историческим встречам Никиты Сергеевича Хрущева с творческой интеллигенцией в конце 62-го – начале 63-го года, где он, стуча кулаком по столу, объяснил, что в области идеологии никакого сосуществования не будет и что так называемая хрущевская оттепель накрылась: отныне будет или лето, или мороз! Нам полагалось выразить благодарность партии и правительству за отеческую заботу и подтвердить свою готовность бороться против чуждых влияний. Выступает композитор и музыковед Александр Чернов-Пэн, умница, красавец, любимец женщин. Да, говорит он, мы, музыканты, должны внимательно прислушиваться к советам и наставлениям наших руководителей. Иначе и быть не может, и так было всегда, во все времена: люди нашей профессии нуждаются в покровительстве и поддержке, в частности – материальной. Музыканты зависели от королей, князей, баронов, епископов. И считались с их мнениями и советами. Но те, тогдашние покровители были высоко образованными людьми и, как правило, хорошо разбирались в музыке... Не знаю, собирался ли Алик произнести эту тираду – или сымпровизировал ее по ходу речи. Об этом наверняка узнали те, кто вызывал его в свои кабинеты и требовал объяснений возмутительного, дерзкого выпада против наших мудрых руководителей. Как раз в то время досталось и мне – за мой шагжок в сторону от дозволенного.

Я только что вернулся из Москвы с совещания музыкальных лекторов, где моя московская коллега Раиса Глезер вручила мне рукописный листок со стихами Евтушенко, написанными после премьеры (в декабре 1962 года) оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» (в новой редакции – «Катерина Измайлова»), запрещенной в 1936 году после знаменитой погромной статьи в «Правде» «Сумбур вместо музыки».

*Нет, музыка была не виновата,
ютясь, как в ссылке, в дебрях партитур,*

*из-за того, что про нее когда-то
надменно было буркнуто: «Сумбур...»*

*...И тридцать лет почти пылились ноты,
и музыка средь мертвой полутьмы,
распята на них, металась ночью,
желая быть услышанной людьми...*

Лекция моя была о русской музыке XIX века, до вечера, посвященного творчеству Шостаковича, надо было ждать еще месяца два, но мне не терпелось поделиться новинкой. Выход был найден: я рассказал о московском совещании лекторов и о том, что там мне удалось познакомиться с новым стихотворением Евтушенко о возрожденной опере Шостаковича. И выразил уверенность, что оно вскоре будет опубликовано...

Через несколько дней Правление Ленинградского союза композиторов решает лишить меня на шесть месяцев права чтения публичных лекций. Мера пресечения была ответом на два «сигнала»: гневный звонок из обкома и заметку в «Вечернем Ленинграде» – о том, что музыковед Фрумкин в своей профессиональной деятельности игнорирует новейшие усилия партии и правительства на культурном фронте. О факте публичного чтения самиздатского стишка газета предпочла умолчать. Правление предложило мне написать в стенгазету Дома композиторов (а как же без стенгазеты в советском учреждении!) покаянное письмо и обещало в обмен на него снять запрет на чтение лекций. Я выжал из себя несколько строк: надо быть требовательнее к себе и не использовать в лекциях – в погоне за сенсацией – материалы, к теме лекции не относящиеся. За это мое туманное покаяние мне досталось от Сережи Слонимского. «Зря ты на это пошел, – сказал он. – Никаких уступок этой власти, никаких компромиссов!» Мой друг был прав. Я проявил слабость – и это одно из пятен, лежащих на моей совести...

Однажды мне досталось за чужие грехи. Подвел меня мой приятель Юрий Темирканов, руководивший тогда вторым оркестром Ленинградской филармонии. А я руководил клубом любителей музыки при Доме композиторов. И пригласил Юру выступить на од-

ном из клубных вечеров. Тему он выбрал такую: оперное искусство «у нас и у них», то есть в СССР и на Западе. Принес записи советских и зарубежных оперных спектаклей, сравнивал, комментировал и явно клонил к тому, что мы уступаем им едва ли не во всем, особенно же – в смысле вокала. Наша вокальная школа, говорил Юра, сильно проигрывает по сравнению с зарубежной, где преобладает итальянская манера пения. Слушая докладчика, я поглядывал на директора Дома композиторов Кирилла Боброва, бывшего фаготиста, мужчину цветущего и упитанного, сидевшего в первом ряду. Лицо его постепенно мрачнело и покрывалось сероватым налетом. А потом и вовсе позеленело, когда Юра переключился с вокалистов на дирижеров и заговорил о том, что в XX веке на первый план вышли дирижеры-диктаторы, такие как Тосканини, Караян, Мравинский... «Почему бы это? – Юра оглядел зал и сделал паузу. – А не потому ли, что наш век породил также диктаторов-политиков, таких как Муссолини, Гитлер, Сталин?..»

На следующий день меня, беспартийного, вызвали на заседание партбюро. «Как вы допустили! Оставили без ответа такое...» «Что оставил?» – спрашиваю. – «А то, что ваш гость упомянул Сталина в одном ряду с такими одиозными личностями...» Я напомнил партийным товарищам про доклад Хрущева на XX съезде и про суровую оценку, вынесенную Сталину на XXII съезде партии. И спросил, есть ли официальные документы, пересматривающие решения обоих съездов. Товарищи, подумав, сказали, что таких документов пока нет. И отпустили меня с миром...

Навсегда прощаясь с родиной, я получил от нее дополнительную дозу «антиносталягина». 19 марта 1974 года, за день до отлета в Вену, я привез в таможенную международный аэропорт «Пулково» для проверки свою коллекцию кассет. Львиную их долю составляли записи Окуджавы. Через несколько часов таможенник вынес чемодан с кассетами: «Можете везти». Это был подлый, садистский розыгрыш. С моей коллекцией они разделались за несколько минут при помощи электромагнита. Когда я принес свои сокровища в студию звукозаписи Оберлинского колледжа, где я получил работу ди-

ректора Русского дома, из динамика, вместо пения Окуджавы, раздалось какое-то невыносимое, прерывистое завывание...

В день отлета мной был получен еще один «укол». Молодой, полуинтеллигентного вида сержант пограничной службы, пропалывая мою картотеку, вытащил из нее почти всё, что относилось к культуре фашизма – немецкого и итальянского. На мое протестующее недоумение сержант реагировал укоряющей усмешечкой: не разыгрывайте наивность, мы-то с вами прекрасно понимаем – наши недруги могут найти в этих материалах нездоровые и нежелательные ассоциации. Вряд ли этот парень действовал на свой страх и риск. Скорее всего – в соответствии с инструкцией...

В верхах уже довольно давно поняли, что серьезный анализ фашистских режимов, включая их культуру, может привести к весьма неприятным открытиям. Года за два до своего «прыжка в свободу» я услышал о печальной судьбе одной кандидатской диссертации, написанной в Киеве после войны и посвященной музыке Третьего рейха. Диссертацию защитить не дали, на тему наложили табу. Автор, однако, от удара оправился, тему поменял, сделал кандидатскую, затем докторскую, дослужился до старшего научного сотрудника ленинградского НИИ театра, музыки и кинематографии. Не хотелось мне бередить старую рану маститому коллеге, но велик был соблазн: тема эта сильно меня интересовала, а материалов почти не было. Услышав мой вопрос: не сохранилось ли чего от той работы – плана, тезисов, библиографии? – Абрам Акимович Гозенпуд как-то потускнел, отвел глаза: дело давнее, ничего не помню, ничего не осталось. И быстро переменял тему разговора...

Горевал я об утраченных карточках недолго. На Западе всё довольно быстро возместилось и даже нашлось кое-что новое, дающее пищу не для одних только «нездоровых ассоциаций». Мне открылось, что в культурной политике гитлеровской Германии и сталинской России и впрямь было немало общих черт. Таких как тотальная национализация культуры, подчинение ее одной, «единственно верной» идеологии, враждебность ко всему, что казалось чрезмерно условным и экспериментальным, культ здоровья и силы, требование «доступности», «народности» и «реализма». В обеих странах господствующим ритмом массовой культуры стал марш и велось наступление на джаз.

Через пять лет после моего отъезда в Союзе композиторов разразился громкий скандал, отголоски которого прокатились по Европе и Америке. На VI съезде СК СССР (ноябрь 1979 года) были подвергнуты публичной порке и бойкоту семь композиторов, произведения которых прозвучали на фестивалях в Кёльне и Венеции без ведома и без разрешения руководства СК! Произведения глубоко порочные, ибо написаны были – как заявил в своем докладе («Музыка принадлежит народу») Тихон Хренников – *«только ради необычных тембровых комбинаций и эксцентричных эффектов... Музыкальная мысль в них если и присутствует, то безнадежно тонет в потоке неистовых шумов, резких выкриков или невразумительного бормотания... Им ли представлять нашу страну, нашу музыку?»*.

Группу осужденных композиторов окрестили «хренниковской семеркой». В ней были шестеро москвичей (Елена Фирсова, Дмитрий Смирнов, Виктор Суслин, Соня Губайдулина, Вячеслав Артемов и Эдисон Денисов) и ленинградец Александр Кнайфель. Эти имена вошли в «черный список» неисполняемых композиторов, имевшийся на радио, телевидении и в концертных организациях. Шурику Кнайфелю досталось немного легче, чем другим «авангардистам»: ленинградским СК руководил Андрей Петров, который был гораздо меньшим ортодоксом, чем Генеральный секретарь Хренников... В 1966 году Андрей, на свой страх и риск, допустил к показу на нашей камерно-симфонической секции сочинение, за которое могло сильно влететь его автору. Это был «Реквием» для сопрано, тенора и большого симфонического оркестра, написанный Борисом Тищенко на крамольные стихи Анны Ахматовой, которые в то время можно было прочесть только в самиздате. О публичном исполнении «Реквиема» не могло быть и речи. Хорошо еще, что Бориса не обвинили в «идеологической диверсии»: помогло заступничество Петрова. Подумать только – всего-то 12 лет назад из стен Ленинградского СК вышло произведение, безупречное во всех отношениях – симфоническая поэма «Павлик Морозов» Юрия Балкашина... И вот – в этих же стенах – прозвучали слова, которые Боря пел под свой собственный аккомпанемент и которым мы внимали, не веря своим ушам:

*Звезды смерти стояли нам нами,
И невинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь...*

Окончание – в следующем номере

Владимир Фрумкин – известный музыковед, журналист, эссеист. Закончил теоретико-композиторский факультет и аспирантуру Ленинградской консерватории, в 1957 году был принят в Союз советских композиторов.

Среди опубликованных работ – «От Гайдна до Шостаковича» (очерк истории симфонии), «Особенности сонатной формы в симфониях Шостаковича», «Песня и стих» (о музыкально-поэтическом стиле Булата Окуджавы). В начале 60-х годов стал заниматься исследованием и распространением песен Булата Окуджавы, Александра Галича, Новеллы Матвеевой, Юлия Кима и других поэтов-певцов.

В 1974 году эмигрировал в США, где опубликовал два сборника песен Б. Окуджавы с нотной строчкой и буквенным обозначением гармонии (издательство «Ардис», 1980 и 1986). Преподавал в Оберлинском колледже (штат Огайо), в Русской летней школе при Норвичском университете (штат Вермонт), с 1988 до 2006 года – сотрудник Русской службы «Голоса Америки» в Вашингтоне. В 2005 году в издательстве «Деком» (Нижний Новгород) вышла книга «Певцы и вожди», в которой автор размышляет о взаимоотношении искусства и власти в тоталитарных государствах, о влиянии «официальных» песен на массы и о возникшей после смерти Сталина альтернативной, свободной песенной культуре.

В. Фрумкин живет в Маклейне – вирджинском пригороде Вашингтона.

Галина КЛИМОВА

ПОЭЗИЯ

Моя Украина

Мотив Украины с детства на слух уловив:
Миколаїв мій,
Київ, Канів и Львів!

Память – жгучая в сердце проталина –
дольше возраста, строже устава.

Адрес:
ул. Дундича, д. Рибцы, Полтава.
На войне потерявши руку,
девочка Леся
одной левой для всей деревни писала
портреты Сталина
под кремлёвскими звёздами –
главными в поднебесье.

Яхт-клуб в Николаеве,
во Львове – парк Костюшки,
там под галушки
литературные две старушки
про Мицкевича на мове всё пропели-порассказали,
потом Одесса...
На Морвокзале
мы с друзьями отплясывали гопак и рок,
и ты к утру попросил:
роди мне сына...

И я родила – синеглазого – в срок!

Україна, моя Україна,
наших судеб взведённый курок.

Кто-то умер, скончался, сыграл в долгий ящик,
кто-то преставился, переставил себя –
сделал E2-E4 ход –
с этого света на тот,
где у всех есть время и у всех – настоящее.

Жизнь себя переварит,
потому что она – *живот*.
Начни хоть с лица, хоть с изнанки –
там те же дорожные знаки,
как у нас в неолите,
и те же на выселках штрафстоянки.

Пусть только сунется хищный эвакуатор,
ты – раз! – и на зебре,
раз – и уже проскочил небесный экватор.

Каракули чёрной каракульчи
на небе
как на бумажном конверте.
Куда?

– Новый адрес дождя.

Кому?

– Не молчи

так долго о жизни, но дольше – о смерти.

Читай, вдруг успеешь в себе понять
чуть больше, чем в судьбе Атлантиды.

Кому в завитках – мелким бесом – обиды?
А шуба – кому – из небесных ягнят?

Стихи?

Стихи – неходовой товар,
по осени, считай, их не читают,
они повсюду не витают,
но питают
как болеутоляющий отвар.
В библиотеке, в магазине, на складах
стоит неходовой товар –
не ходики с комода,
не строй цикад в классических садах,
стоит безлюдье – будто время года,
но жизнь идёт где прахом, где стихом
сквозь немоту и сны, и вёсны революций, –
собранием избранных идёт –
и в горле ком:
стихи не продаются.

К Бунину в Грассе

Изношено небо до чёрных дыр,
горько дозрели до чёрных ягод оливы.
Чтоб вернуться к себе счастливым,
ступай, как дождь, по адресу:
Грасс, Бельведер.

Ищи-свищи эту будто бы виллу
на рогах, на куличках –
пропаций день!
Не там ли вымахала через силу
русской ели колючая тень?
Игольчатый воздух на кромке лета,
и разговоры все о конце света

или конце слова...

который из них скорей?

Ни антоновских яблок, ни тёмных аллей –
пусто в парке принцессы Полины,
по-кошачьи кричали павлины,
и молчал соловей –
не из глины.

Волной из Тель-Авива

1.

– Морские волны, что вы говорите?
Я вас не понимаю на иврите.
Мне в Средиземье хочется зимы,
а здесь в цвету и зелени холмы,
как – до небес – хвалебные псалмы.
А на вершине с цитрой царь Давид,
и тоже на иврите говорит,
а я кричу про русский окоём,
и мы с Давидом – каждый на своём –
споём:
Блаженны живущие в доме Твоём...

2.

Попугаю с улицы Дизенгоф

Он хохотал на весь квартал
и голосом стареющей кокетки
калякал, вякал, верещал, трещал,
куражился, как акробат, на ветке
себе же бурно хлопал, хлопотал –
вставай, аврал!

Дом просыпался.
Дом вставал
почти что в пять,
хоть веки в скобках умоляли: *спать!*

Наш ара – как будильник – безупречен,
готов залезть к тебе в кровать.
А сколько басен, сплетен, песен?!
– Ты не проспай.
Ты вскочишь точно в пять.

Блаженные стихов не пишут,
не бьются над строкой ночами,
они немым восторгом пышут,
и крепко спят, и ровно дышат,
храня – как золото – молчание.

*Моему прадеду Моисею,
сапожнику из местечка Прянички*

Старые Прянички, Новые Прянички –
пряников нет.
Речка да кладбище. Постное пастбище.
Бархатцев цвет.

Где здесь хозяйство Моше-сапожника –
дратва, колодки, клей?
То-то в балетках и даже в баретках
легче и веселей.
Окна повыбиты, крыша проломлена, –
есть кто живой, отвечай?
Мы, на словах, двести лет возвращаемся,
к прадеду едем на чай.
В доме как в коме: ни взгляда, ни отклика.

выдохлась тишина.
Здесь, на юру родового беспамятства
обувь уже не нужна.

Старые Прянички, Новые Прянички –
нет никаких:
мятных, медовых и шоколадных,
и комсомольских,
и городских.

Зимой слова длиннее к ночи
и – холодней,
лишь с ясным наступленьем дней
слова теплее и короче.

Жизнь жалует на разных языках,
жалует, жалит.

И в какое время года
сильнее голоса мой безглагольный страх?
– Нишкни, природа!

Галина Климова – поэт, переводчик. Закончила Московский государственный педагогический институт и Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Евг. Винокурова)

Первая поэтическая подборка вышла в 1965 г. Печаталась в центральных газетах («Советская Россия», «Московский комсомолец», «Литературная газета»), журналах («Дружба народов», «Арион», «Вестник Европы», «Континент», «Интерпоэзия», «Иерусалимский журнал», «Радуга» и др.), в альманахах «Поэзия», «Предлог» и др. и антологиях («Антология русского верлибра». М., 1991; «Библейские мотивы в русской лирике 20-го века». Киев, 2005 и др.)

Стихи Галины Климовой переведены на болгарский, сербский,

польский, чешский, армянский, китайский, голландский и другие языки.

Заведующая отделом поэзии журнала «Дружба народов» (с 2007).

Лауреат литературной премии СП Москвы «Венец» (2005) и премии «Серебряное летящее перо» международного поэтического фестиваля «Славянска преградка» (Варна, 2007). Дипломант поэтического фестиваля «Московское время» (2014).

Эмиль ДРЕЙЦЕР

МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДВЕРЬ В СТЕНЕ

– Так, молодой человек, – говорит майор КГБ, протягивая руку к моему портфелю, – давайте посмотрим, что вы пытались пронести в посольство иностранной державы...

Бывает так: несмотря на ненастную погоду, вы решаете отправиться в путь. Готовясь шагнуть за дверь и бороться со стихией, набираетесь мысленно внутренних сил. Поднимаете воротник пальто. Нахлобучиваете поглубже, чуть ли не на глаза, шапку. Но вскоре после того, как ступаете наружу, погода резко меняется. Тучи рассеиваются... Выглядывает солнце... Попутный ветер, счастливое стечение обстоятельств – и вы прибываете в намеченный пункт гораздо раньше, чем предполагали.

Так случилось и со мной. Подавая в мае 1974-го документы на эмиграцию, я приготовился ждать долго, пока получу разрешение. Внутренне напрягся, заранее продумывая, что буду делать, если откажут. Повода для такого исхода вроде не было. Допусков к госсекретам я никогда не имел. Но отказывали сплошь и рядом без всяких причин. Делалось это просто так. Чтоб досадить.... Дать знать, что получить разрешение на выезд нелегко. Что любой подающий на выезд рискует получить отказ. А это значит – навсегда попасть в список неблагонадежных. Чтобы морально подготовиться к такому повороту событий, я познакомился с несколькими отчаянными отказниками. Стал понемногу заряжаться их храбростью...

Но произошло неожиданное: немногим более чем три месяца спустя я получаю разрешение. Причина такого моего везения выяснилась позднее. Как раз в это время, летом 1974-го года, американские законодатели принялись обсуждать поправку к закону о торговых льготах иностранным государствам. Генри Джексон, сенатор от штата Вашингтон, и Чарльз Ваник, конгрессмен от штата Огайо, настаивали, что негоже поощрять такими льготами страны, в кото-

рых права человека, в том числе право на эмиграцию – не более чем половичок, о который вытирают ноги, входя с улицы в слякотную погоду. Во время дебатов Джексон выразился в том духе, что в таких странах и голосуют-то по-настоящему разве что... ногами. Двигаясь в сторону государственной границы...

Поставьте себя в положение советскую власть предержавших. Ну, как тут быть? С одной стороны, СССР – самая прекрасная страна в мире, а с другой – из нее хотят эмигрировать?.. Что вы, что вы, господа! Ничего подобного! Если есть у нас чудачки, которые подают на выезд, то это щепотка тех, кого семейные узы заставляют, скрепя сердце, покинуть нашу великую страну. Формулировка для общественной огласки была такая: «Исходя из гуманных соображений, в интересах воссоединения семей, разрешить выезд из страны индивидуумам тех национальных меньшинств, большинство которых проживает в капиталистических странах». К ним отнесли армян, немцев и евреев. Было, конечно, немало как армян, так и немцев, которые были не прочь воспользоваться неожиданно объявившейся возможностью вырваться на свободу. Включили их в заветный список, однако, в основном, чтобы прикрыть преимущественно еврейский характер движения за эмиграцию.

И вот получаю я из ОВИРа сообщение, что раз я уж так сильно хочу, могу собирать свои манатки и убираться из страны подобру-поздорову, на что сроку мне дается тридцать дней. С мотыльками, порхающими в голове, – я бы сказал, то была не пара-другая крылатых насекомых, а целый рой – направляюсь в голландское посольство.

Причем тут голландское посольство? – возникает естественный вопрос у непосвященных. Я хочу выехать, как и все остальные, по израильскому вызову. Стало быть, отправляться мне надо в посольство этой страны. Но вот уже больше семи лет как оно прекратило свое существование. Дело в том, что в ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль так осрамил, превратив в гору металлолома, советскую военную технику, проданную арабским странам, что СССР порвал с ним дипломатические отношения. Голландское посольство взялось представлять интересы Израиля и оформлять въездные визы в страну отъезжающим советским эмигрантам.

Вот я и направился, вместе с мотыльками, в это посольство.

Оформить документы и заодно, если удастся, переправить мой литературный архив. Я был уверен, что моя пишущая жизнь, какой я ее знал до того, кончилась. Стремление сохранить свой архив-не архив, а ворох бумаг с записями, сделанными по разному поводу и в разное время, не имело никаких практических целей. То было не более чем спазматическое желание сохранить для себя, в помощь собственной памяти, какую-то часть прежней – в преддверии предстоящей, полной неизвестности – жизни...

Конечно, можно было попытаться пойти прямым путем, установленным порядком. Представить бумаги в «Главлит,» как скромно называла себя советская цензура, полное имя которой было – «Главное управление по охране государственных тайн в печати при Совете Министров СССР». Там твои писания проверят, и, если не обнаружат ничего крамольного, поставят на каждой странице печать — и вывози себе...

Никакого желания этого делать у меня, естественно, не было. Во-первых, если сдашь бумаги, то неизвестно, когда их вернут. А могут и не вернуть. Какое советское учреждение, тем более столь грозное, когда-либо соблюдало сроки! А уж когда дело касается личностей, лишенных, по собственной к тому же инициативе, советского гражданства, то их бумаги очень даже могут отправить в главлитовскую печь. Хоть какая-то от них польза – согреть о кафельные плитки нежные цензорские пальцы

Во-вторых, среди прочих бумаг были мои дневниковые записи, слишком личные, чтобы показывать посторонним. Все равно что раздеться догола при всем честном народе. Эксгибционистских импульсов у себя никогда я не замечал. Скорее наоборот, с детства мама укоряла, что слишком скрытен.

А в-третьих, были там среди прочего сатирические опусы моей последней эпохи – эпохи писания в стол. Вполне возможно, что их сочтут крамольными. Не только не разрешат их вывезти, но еще, чего доброго, припишут, как сообщают в подобных случаях советские газеты, попытку «опорочить советский государственный и общественный строй»... Гляди, как бы мне в таком случае, вместо западного направления, не покатиться в противоположном. В товарном вагоне с известной надписью «40 человек, 8 лошадей»...

Что делать? Как обойти советские порядки? Вопрос был не нов. Ему было столько же лет, сколько самой власти. Им, этим вопросом, занималось с утра до ночи все население Советского Союза с момента ее установления

Выход, однако, нашелся. Среди отъезжающих стало известно, что во время похода в голландское посольство можно попросить кое-какие бумаги переслать через границу с дипломатической по-чтой....

Середина сентября. День выдался солнечный, хотя и прохладный. Голландское посольство расположено в Калашном переулке, недалеко от Дома журналиста. Вхожу во двор. Гм, похоже, что поговорка «калачом не заманишь» к посольству в Калашном переулке не относится. От ворот до входа в вестибюль под плоским козырьком змеится длинная очередь. Привыкший за советскую свою жизнь к очередям любой протяженности, набираюсь терпения и по привычке спрашиваю:

– Кто последний?

Судя по всему, стоять придется долго. Дело нервное — навсегда покинуть страну, в которой родился и вырос. Особенно если ты никогда за ее пределами не был. Знаешь только, как выглядит за-граница по кадрам иностранной кинохроники, полной наводнений, смерчей, землетрясений и очередей за пособием по безработице. Неудивительно, что на нервной почве хочется переброситься словцом с рядом стоящими. Как-никак, вас объединяет судьба. Канун решающего жизненного поворота... Будущие попутчики... Всегда настороже, чтоб не выдать посторонним самый факт подачи на выезд, иначе тебя начнут сторониться, сейчас, наконец, можно немного расслабиться. Тут-то, в этой очереди, ты – среди тебе подобных, тех, кто, закрыв глаза, решил прыгнуть в неизвестность без парашюта. И вот теперь вы вышли на последнюю прямую. Визы, билеты – и прощай, немытая Россия!..

И тут, как бы в ответ на эти ожидания, материализовался рядом со мной в очереди такой же, ищущий легкого трепя, обмена ничего не значащими фразами, как то, осень наступила слишком рано, не по расписанию, высокий вертлявый мужчина. Сухощавый, с испитым, бледным и измятым, словно простыня после бессонной ночи, лицом. В руках, как и у меня, – портфель. Изрядно поношен-

ный тонкий портфельчик, в своей измятости конкурирующий с лицом владельца. Ясно, человек не физического, а умственного труда, и в этих трудах и его лицо, и портфель, неизменная часть экипировки работника такого труда, порядком износились.

Попыхивая сигареткой с изжеванным мундштуком, вертлявый жалуется мне, что вот в Главлите очередь на квартал, и где же тут время найти на всякое визирование бумаг, когда и так перед отъездом дел невпроворот?

Чтоб поддержать беседу, киваю головой. Говорю, что тоже вот хочу переправить кое-какие свои записи, а тут, в посольстве, тоже длинная очередь, черт ее подери.

Выслушав меня, обладатель тощего портфеля не теряет времени на театральный этюд на тему «Сочувствие» – качание головой, охание и ахание, а тут же, выпрямившись, – он намного выше меня ростом, почти каланча – машет рукой в сторону ворот. Там, у входа в посольский двор, – будка с телефоном внутри, в которой мается без дела пожилой усатый милиционер с крапленным оспой лицом.

Оборачиваюсь, когда страж порядка уже пересекает двор. Делает он это не спеша, даже несколько величаво, словно в замедленном кадре на киноэкране. Шаг у него неспешный, уверенный, каким должно передвигаться человеку при исполнении служебных обязанностей, которые сами по себе особого восторга, быть может, у него и не вызывают. Позвали – вот и иду....

Наконец, он приближается к нам и, сложив руки на груди, останавливается, глядя на меня безучастно. Особого пиетета к вертлявому он тоже при этом не выказывает. Как, впрочем, не выказывают его все полицейские мира, носящие форму, к своим хамелеонным коллегам....

Видимо, полагая что в соседстве с милицейской формой его цивильная одежда приобретет силу мундира охранительных органов, вертлявый говорит сдержанным, видимо, чтоб не привлечь внимания близстоящих, и в то же время строгим, не допускающим возражения, тоном:

– Пройдёмте с нами.

Чтобы побыстрее сдвинуть меня с места, трогает нежно, как девушку, за локоть и добавляет:

– Тут... недалеко...

Оба джентльмена становятся по бокам, берут меня, как говорится, под белые руки и ведут вон, из посольского двора.

За воротами, в Калашном, сначала поворачиваем налево, потом — направо и выходим на Суворовский бульвар. Минуем особняк Дома журналиста. Еще полквартала – и входим в небольшой дворик. От улицы он отгорожен высоким, покрытым плющом, листья которого уже тронуты осенней охрой, каменным забором с чугунными, выкрашенными смолой, железными пиками. Тихий московский дворик, который трудно представить местом, в котором могут развернуться какие-либо драмы, тем более трагедии...

Наискосок от ворот – обитая кровельным, начинающим ржаветь, железом дверь, к которой меня ведут. То, что она обита железом, как бы дает вам знать, что, как только она за вами захлопнется, выбраться на волю будет непросто. На ум поневоле приходит «Оставь надежду всяк сюда вошедший!», надпись над вратами ада в дантовской «Божественной комедии».

Тут же, совсем, казалось бы, не к месту, в голове мелькает другая ассоциация. «Маленькая железная дверь в стене» – так называется повесть Валентина Катаева, вышедшая в свет за несколько лет до этого. Эта книга о жизни Ленина в годы эмиграции, о его, как с придыханием писала советская пресса, борьбе за партию, за грядущую революцию. На ходу отмечаю изрядную долю иронии. У Катаева маленькая железная дверь в стене ведет в то место, где Ленин готовил будущую Октябрьскую революцию. Прошло больше полувека как она победила, и вот теперь созданная им советская тайная полиция ведет меня, пытающегося двинуть в обратном направлении, к такой же маленькой железной двери в стене.

Вертялый достает из портфеля огромный ключ, которым впопугу открывать ворота средневековой крепости. Оказываюсь, похоже, как в бывшей дворницкой, которую приспособили для допроса задержанных у посольства. Дом этот, как и другие дома рядом с ним, включая Дом журналиста – бывший дворянский особняк. Входим в клетушку, без окон, с одинокой свисающей с потолка лампочкой. В комнатке только и могут поместиться несколько веников и деревянная лопата для разгребания снега. Да и полуразвалившееся кресло, предназначенное, видимо, для дворника, чтоб мог посидеть, передыхая после чистки барского двора.

Вертлявый усаживает меня в это кресло, сам садится на табуретку у двери и изрекает:

– Здесь вам придется обождать, пока не приедет куратор из Комитета госбезопасности.

Усатый милиционер с все тем же скучающим выражением лица так же неторопливо удаляется, чтобы вернуться на свой пост.

Ждать в той маленькой комнате с обитой железом дверью пришлось битых три часа, не самых приятных три часа в моей жизни... Три часа – то ли от того, что у куратора КГБ дел в тот день было невпроворот, то ли он дремал после обеда дольше обычного в своем офисе, то ли это был способ попытаться задержанного неизвестностью.

Именно из-за нее в голову мою лезут, как правило, самые худшие сценарии. Вот придут, утащат прямо в Лефортово... А, может, просто побьют и выбросят на тихой улице... Впрочем, такой оборот дела я как-то исключал. В открытых протестных акциях я не участвовал. Если и писал то, что советской власти может не понравиться, то в стол....

И тут вдруг вспоминаю: да оно же у меня в портфеле, который держу у себя на коленях! Лихорадочно перебираю в уме тексты. «Колесо»... Бабушка мечется по стране в поисках коляски для внука. Ну, тут сатира, скажу, на плохую организацию дела, которая «кое-где еще встречается» ...

Что там у меня еще? «Первый диалог» – вполне невинный юмор. Ребенок, едва появившись на свет, заговорил. Поскольку ничего хорошего в жизни для себя не ожидает, требует у матери объяснить, для чего родили.... Правда, в самом конце, когда дед ему объясняет, что он должен страдать «за счастье грядущего поколения», новорожденный присвистнул: «Вот-те на! Я думал, что я — грядущее». Впрочем, вряд ли станут к этому привязываться. В конце концов, раз уезжаю, и без того понятно, как отношусь к лозунгу «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме».

Постой, там еще «Искусствовед»! Это уже прямо по их адресу... Еще, гляди, припишут оскорбление мундира. Оскорбятся... Всем известно, что «искусствооведами в штатском» прозвали всех гебистов. Посылают какого-нибудь художника за рубеж продемонстрировать превосходство искусства соцреализма над гнивающим

буржуазным искусством. А с ним — «искусствоведа». На случай, если художнику вдруг взбредет в голову попросить политубежище в какой-нибудь капстране.

Напрягаюсь, припоминая текст:

ИСКУССТВОВЕД

Я почувствовал, что за мной давно наблюдает прилично одетый гражданин. Он сопровождал меня, держась поодаль, всюду. В метро, на улице, в кафе. У подъезда дома, куда я забежал поприветствовать симпатичное мне семейство, наконец, я не выдержал и пошел к нему.

Он поздоровался первым.

– Здравствуйте, — сказал он. – Будем знакомы. Портупеев, искусствовед.

– Товарищ искусствовед, — сказал я, — в чем дело? Почему вы ходите за мной по пятам?

– Изучаю.

– Что?

– Все. Походку, одежду, блеск ваших глаз, темп и ритм вашей жизни. Мне все в вас интересно.

– Что во мне такого интересного? И почему именно во мне?

– В принципе мне интересен каждый человек. Вы первый, с кого я начал.

– Что начали?

– Изучение человечества. Я же заочно на искусствоведческом.

– Вот и изучайте себе искусство. А меня оставьте в покое.

– Простите, — вежливо сказал он, — я не хотел вас обидеть.

Дело в том, что изучение искусства — это вчерашний день искусствоведения. День сегодняшний — это изучение самого предмета искусства. То бишь, человека.

– Позвольте, кто же вам разрешает ходить за другим человеком, подсматривать?.. В конце концов, это и неэтично, и оскорбительно.

– Ну, вот вы и совсем обиделись, — с сожалением сказал он. — А ведь в сущности я вам ничего дурного не сделал. Просто старался быть к вам немножко ближе. Простите, не двигайтесь минуту.

Я застыл. Что-то щёлкнуло.

– Ну, вот, спасибо, — сказал он. — Никак, знаете, не удавалось вас

увидеть в чистый анфас. Очень вы беспокойный человек, – улыбнулся он. – Или книгу читаете, или с друзьями о чем-то говорите... Ну, о друзьях ваших мне все известно. Наша группа на заочном их между собой разобрала, кто кому попался... А вот читаете вы что?.. Извините.

Он засунул руку в накладной карман моего портфеля и вытащил книгу:

– Чехов А. П... Очень хорошо. Совпадает с моей концепцией.

– Какой?

– Что классику тоже иногда читают.

– Вот здорово! – хохотнул я. – А что, есть другие мнения?

– Смешной вы, – сказал он. – И даже чем-то симпатичный. Наблюдения показывают, что читают Бог знает что... Впрочем, не только Бог, но и мы, искусствоведы...

– Да что же это за наука такая! – воскликнул я. – По чужим портфелям лазать!

– Если вам интересно, пожалуйста, посмотрите мой. Можете задавать вопросы.

Он распахнул потрепанный портфель, который держал под мышкой.

Там лежала краюха хлеба, алюминиевая кружка и портрет человека с бородкой клинышком.

Вопросов у меня не было...

Да, тут я пропал... Как пить дать, оскорбятся. Так ли уж трудно просечь, что предметы в портфеле у «искусствоведа» – символика ГУЛАГа. И краюха хлеба, и алюминиевая кружка, и чей же еще, спрашивается, портрет может быть в таком портфеле, если не незабвенного учителя и наставника чекистов – Феликса Эдмундовича Дзержинского?

У меня внутри все холодеет... Надо же, до 37 лет все как-то проносило, с ГБ не сталкивался, а тут, напоследок, сподобился... Черт меня подери!.. Мог ведь предвидеть, в конце концов, такой оборот дела! Чего, спрашивается, не подумал дважды, что класть в свой портфель! Вот простофиля!.. Потом, потрепанный портфель... Выходит, когда сочинял, заранее знал, что именно с такими портфельчиками, не новенькими, чтобы снять подозрения, эта братия отправляется на свои акции. Забыл об этом, что ли, на нервной почве, когда вертлявый со своим тощим портфельчиком ко мне подбирался?...

Смотрю на вертлявого. А тот – на потолок. Скучно, небось, торчать в дворницкой с задержанным....

Наконец, дверь открывается, и на пороге появляется сравнительно молодой, лет тридцати пяти мужчина. Блондин. Редкие прямые волосы то и дело сползают на лоб. Светло-голубые, чуть навывкате, глаза. Полноватые губы.... Знакомое лицо. Позволь, где же я его видел? Причем сравнительно недавно? Ну, конечно! Тот же костюм с галстуком. Нейлоновая, недавно вошедшая в моду рубашка с малахитовыми запонками. Те же светло-голубые, чуть навывкате, глаза.... Ба! Кафе Дома журналистов! Видел его там не раз и не два. Он там часто околачивался... Выходит, специалист, приставленный к журналистской братии...

Где-то еще... Вдруг вспоминаю. Лет десять назад, на заре моей литературной юности, я заглядывал пару раз на заседания литературного объединения при газете «Московский комсомолец». Среди прочих молодых людей был там и он, этот блондин с голубыми навывкате глазами. Не припомню, читал ли он что-то свое. Похоже, был он там если не инженером человеческих душ, как Сталин окрестил совписателей, то, по крайней мере, их техником-смотрителем...

Помнится, тогда он представился группе начинающих авторов как «Леонид». И вот сейчас, с профессиональной полуулыбкой, улыбкой Моны Лизы на устах, видимо, предназначенной для кафе Домжюра, он усаживается на табуретку, любезно поданную вертлявым. Сам же каланча становится у двери, скрестив руки. Словно опять напоминая: оставь надежду всяк сюда входящий!

«Леонид» раскрывает перед моим носом бордового цвета книжицу в кожаном переплете – служебное удостоверение личности. Оттуда на меня глядит его же, на этот раз неулыбчивое, лицо. (На всех советских удостоверениях у меня такое же, серьезное-подавленное выражение лица, какое в Америке можно увидеть только на полицейских фотографиях арестованных, так называемых mugshots). В Союзе как-то само собой понималось: какая такая может быть улыбка на официальном документе! Надо же, майор КГБ!.. Ранг не предвещает ничего хорошего в случае осложнений. Был бы какой-нибудь лейтенантик – еще туда-сюда. Может быть, удалось бы как-то отвертеться...

Видимо, чтобы не помешать удостовериться, что на фотогра-

фии именно он, а не кто-то другой, «Леонид» мгновенно убирает с лица улыбку Моны Лизы. Так сказать, шутки в сторону. Перед вами – не какой-то там рассеянно покуривающий и прихлебывающий кофе посетитель Домжура, а майор КГБ при исполнении служебных, государственной важности, обязанностей...

Фраза, которую он затем произносит это прямо и подчеркивает:

– Так, давайте посмотрим, что вы пытались передать в посольство иностранной державы.

Каким-то сторонним способом недоумеваю про себя: с каких таких пор Голландия стала державой? СССР – да, держава.... Есть еще империалистические державы – США, Великобритания, Франция... Но Голландия, размером с подмосковную область? Очевидно, кагебист употребил этот термин для пущей важности. Чтобы подчеркнуть серьёзность возможного преступления. «Посольство иностранного государства» – выглядит, должно быть, слабовато.... Лихтенштейн – тоже государство. Или Люксембург. Еще есть Монако, в котором Монте Карло...

Отвечаю, пожав плечами:

– Так, наброски всякие, записки....

В ответ «Леонид» тоже пожимает плечами.

– К чему это? Там, – произносит он со значением, – все это никому не нужно. Совсем другой мир...

Говорит он это неожиданным для следователя – безнадежным – тоном, глядя не на меня, а куда-то в сторону. И у меня мелькает мысль, что, похоже, он сам эту возможность – перейти в тот другой мир как-то продумывал уже и для себя. Как ни странно это звучит, но на мгновение я даже немного успокаиваюсь от того факта, что кагебешник подтверждает мои собственные сомнения насчет нужности моих бумаг в будущей жизни за пределами СССР. В самом деле, какого черта я тащил их в посольство?..

«Леонид» начинает рыться в моих бумагах, которые, шагнув от двери, вертлявый выпотрошил перед ним из моего портфеля на откуда-то появившийся раскладной столик.

У меня от волнения начинает першить в горле. Тут тебе не «Что день грядущий мне готовит?», а что готовит следующая минута...

Вдруг вспоминаю: большинство моих бумаг написаны от руки.

Почерк у меня на редкость неразборчивый. Как говорится, курица лапой нацарапала.... Еще в бытность мою в школе отец время от времени укорял, что неплохо бы мне заняться исправлением почерка. Но до этого руки у меня так и не дошли. И вот сейчас то, чего я стыдился многие годы, может обернуться для меня удачей. Поди разберись, что я там накалякал... Так что, если Бог пронесет, «Леонид» не доберется до «Искусствоведа» или чего-нибудь еще в том же, нелицеприятном для советской власти, духе...

Внутренне сжавшись, слежу за майором. Сначала, стараясь не терять строгости, приличествующей его служебному положению, он напрягает зрение. Щурится... Затем, хмыкнув, подносит один листок за другим к слабому свету лампочки, свисающей с потолка.

Наконец, с раздраженным выражением лица, видимо, от того, что приходится выдать перед задержанным свой физический недостаток, достает из внутреннего кармана кителя небольшой, элегантной отделкой выдающий импортное свое происхождение, футлярчик. Извлекает из него, подцепив с голубой бархатной подкладки, очки в изящной роговой оправе. (Несоветского производства вещь, мелькает у меня, таких у нас не делают. Как пить дать, умыкнул под благовидным предлогом при обыске какого-нибудь интуриста).

Кагебист надевает очки. Я замираю. Он хмыкает, прокашливается, снова хмыкает. Похоже, что очки не помогают.

Наконец, отчаявшись что-либо разобрать в моих бумагах, «Леонид» бросает их с раздражением обратно на раскладной столик. На лице появляется то злое и брезгливое выражение, какое бывает у пса, которого ткнули носом в новенькую, еще не надеванную, разящую резиной, калошу.

Я облегченно вздыхаю. Кажется, пронесло....

«Леонид» переходит к тем моим бумагам, которые отпечатаны на моей «Олимпиа». На их счет я не беспокоюсь. Я печатал на машинке только то, что собирался нести в редакцию. Ничего крамольного в них, естественно, быть не могло. Полистав странички, «Леонид» набрасывается на одну из них, очевидно потому, что в заголовке значится — «Открытое письмо».

(Как я понял потом, задача подсадной утки в очереди в голландское посольство была одна – не пропустить за рубеж никаких

материалов, писем протеста, предназначенных для западной прессы. Уже шла борьба отказников за выезд. Публичная ее огласка была их единственным оружием).

Кагебешник начинает читать это «открытое письмо», а мне хоть бы что. Это набросок старого, не пошедшего в печать, фельетона, в котором жанр открытого письма – иронический прием. (Если не изменяет память, что-то вроде открытого письма директора одного из сочинских санаториев, в котором он изобличает самого себя в получении взяток от отдыхающих, приехавших на юг не по путевкам.)

Переворотив остальные бумаги, так и найдя ничего крамольного, раздосадованный напрасно потраченным временем, «Леонид» бросает в мою сторону усталый взгляд и выносит свой приговор:

– Если вы хотите это вывезти, идите установленным порядком. Обратитесь в Главлит. Получите разрешение.

На непослушных ногах, все еще не веря, что отделался легким испугом от крупных неприятностей, выхожу на Суворовский бульвар. Миную Домжур и, стараясь не прыгать от радости, направляюсь к станции метро «Никитские ворота», чтобы поехать домой, в мое Чертаново. В вагоне то и дело оглядываюсь, не следят ли за мной. Только при выходе из метро вдыхаю, наконец, полной грудью. Пронесло...

Конечно же, у меня и в мыслях не было «следовать установленному порядку». Придя в себя после эпизода в Калашном переулке, я немедленно переправил свой литературный архив брату Володе в Одессу. Он с родителями был уже в подаче. Переправил с наказом на правах старшего брата, в данном случае жизненным опытом действительно умудренного:

– Когда приедешь в Москву и пойдешь за визами в голландское посольство, там, стоя в очереди, не говори ни с кем. Ни о чем! Даже о погоде...

Брат послушался. Спустя год, уже в Лос-Анджелесе, где я впервые поселился, он вручил мне мои бумаги....

Встреча с КГБ во дворе голландского посольства была, однако, не последним, как я полагал, контактом с устрашающим ведомством. В «Шереметьево» перед самым вылетом из страны, во время

досмотра багажа дело дошло до моих альбомов в обложках, покрытых темно-зеленым сукном. Сделал я их на заказ у знакомого переплетчика. В альбомах — вырезки из газет и журналов с моими публикациями. Так же, как и в случае с рукописями, вывозя их из страны, никакой определенной цели я не преследовал. Просто-напросто хотелось сохранить для себя свидетельство того, что когда-то у меня была жизнь, с которой связано было так много самых разных эмоций. Волнений и радостей, маленьких триумфов и больших разочарований...

Наткнувшись на альбомы, таможенник, высокий мрачного вида мужчина лет сорока, извлек их из чемодана, положил на инспекционный стол и нажал под ним какую-то кнопку.

Через минуту из-за перегородки в дальнем углу таможенного зала возник молодой человек в мундире КГБ, судя по погонам, лейтенант. Приблизившись, он, не удостоив меня взглядом, стал просматривать альбомы и, ни слова не говоря, выдирать одну за другой мои газетно-журнальные вырезки. Вырвав, он комкал их в кулаке и бросал в корзину для мусора.

Вернув таможеннику выданные, казалось, наполовину альбомы, офицер так же молча, так ни разу на меня не взглянув, как бы давая знать, что добровольно покидающие великую Родину-мать того не стоят, скрылся за той же перегородкой, из-за которой появился...

Удивило меня, однако, не то, что он сделал. За советскую свою жизнь я привык к тому, что власть предержавшие могут поступать с тобой как им заблагорассудится, — а то, что вырывал он не все подряд, а делал это выборочно.

Спустя несколько месяцев, когда, обосновываясь в Лос-Анджелесе, разбирая багаж, я осматривал свои альбомы, выяснилось, что большинство уничтоженных материалов пришлось на вырезки из московской областной газеты «Ленинское знамя». (Удалены были и некоторые другие материалы — я узнавал их по ошметкам того, что не удалось из-за крепкого клея вырвать начисто. Но те, другие — из «Крокодила», «Комсомолки», «Известий» — выдраны были скорее всего просто так. Чтоб досадить...)

Открытие меня озадачило. Странно! Сдалось ему «Ленинское знамя»!...

Понадобилось немало времени, чтобы разгадать эту загадку. Произошло это много лет спустя, когда я стал заниматься биографией Дмитрия Быстролетова, бывшего советского разведчика и узника ГУЛАГа. Когда его, эмигранта, завербовали в Праге, первым его заданием было читать местную прессу (к тому времени он хорошо знал чешский язык). Из какой-нибудь малозначащей статейки о местном заводе он выуживал такие, казалось бы, невинные вещи, как имя директора, его секретаря, номенклатуру продукции. Все это вносил в базу данных, которой пользовались для разведывательных целей. Такой разработкой открытой печати занимается любая разведка мира. Кагешник на таможе вырвал мои фельетоны, опубликованные в «Ленинском знамени», московской областной газете. Критикуя разгильдяев-хозяйственников на каком-либо подмосковном заводе или фабрике, я упоминал их имена. Вот для того, чтобы эти сведения не просочились из печати в западную копилку разведанных, следуя инструкции, кагешист на советской таможе и вырывал мои публикации....

Понял я также, почему он не трогал остальные материалы – мои фельетоны в «Известиях», «Комсомолке», «Крокодиле», «Труде». На центральную советскую прессу подписывались в зарубежных странах. Уничтожать вырезки из нее не было смысла...

Все это, однако, выяснилось потом. А пока что, вскоре после приезда в Америку, находясь по делам в Вашингтоне, я наведалься в Библиотеку Конгресса. Знакомясь с ней, порылся в каталоге и обнаружил микрофиши советских газет. Среди прочих и... «Ленинского знамени». Получалось, что советская разведка работала так же, как любое другое советское учреждение – через пень-колоду....

Я отнес микрофиши номеров газеты с моими материалами в копировальный отдел библиотеки. Вернувшись домой, из чистого, задним числом, злорадства вклеил ксерокопии в альбомы именно там, откуда их вырвала гебешная рука....

Эмиль Дрейцер родился в Одессе в 1937 г. С 1964 по 1974 г.г. под псевдонимом «Эмиль Абрамов» сотрудничал как фельетонист в центральной прессе. В США с 1975 г. Окончил аспирантуру калифорнийского университета. С 1986 г. — профессор русской кафедры

колледжа им. Хантера в Нью-Йорке. Среди его книг — сборники рассказов «Пещера неожиданностей» и «Потерялся мальчик», книга воспоминаний «Кто ты такой: Одесса 1945-53» (в издании на английском — «Shush! Growing up Jewish under Stalin»), роман об эмиграции «На кудыкину гору», биография разведчика Дмитрия Быстролетова «Stalin's Romeo Spy», а также социологические исследования, «Taking Penguins to the Movies: Ethnic Humor in Russia» и «Making War, Not Love: Gender and Sexuality in Russian Humor.» (Авторский сайт: www.emildraitser.com)

Леонид ГОЛЬДИН

СЛАВА И СЛАВА

В этом году мир отмечает памятные даты из жизни двух великих российских музыкантов, оставивших уникальное творческое наследие, отразивших свою эпоху и вечные духовные ценности, титанов, убедительно показавших, что современность может достигать артистических вершин, сопоставимых с античностью и Ренессансом. Святослав Рихтер умер 20 лет назад, и в этом году Мстиславу Ростроповичу исполнилось бы 90 лет. Они были современниками, часто выступали вместе, родственники и друзья называли их одинаково: Слава, но их общественная и личная жизнь совершенно были несхожи как в том, что зависит от судьбы и обстоятельств, так и от личного выбора.

Рихтер уводил в дали небесные, поднимал на космические высоты, Ростропович открывал царствие Божье внутри нас. Рихтер – отстраненный от мира небожитель, олимпиец, сложно сближающийся с людьми, склонный к одиночеству и депрессии, часто саркастичный, желчный, нетерпимый, оторванный от политики и общественных страстей; Ростропович – земной и близкий всему земному жизнелюб, экстраверт, всегда в центре внимания, обаятельный, способный расположить с первого взгляда, успешно играющий в политические игры, тонко ощущающий дух времени и ветер перемен. Рихтер со всеми был на Вы, даже с женой и с юным Андреем Гавриловым, ставшим его близким другом, Ростропович немедленно переходил на ты, каждый был для него «дружочек», он придумывал вместо имен клички, которые не всегда были приятны, но прилипали навсегда.

Даже в сугубо личном плане такие разные: Рихтер, живущий, как теперь говорят, с альтернативными ориентациями, и Ростропович, жизни не знающий без бесконечной череды женщин

и сумевший сочетать любвеобилие с никогда не угасавшей привязанностью к жене, самой для него важной и привлекательной. Ростропович и Рихтер пользовались величайшим признанием на родине, но не были в числе придворных музыкантов как Ойстрах и Гилельс. Охотно играли совместно, оба поддерживали, включая в репертуар, опальных композиторов Шостаковича, Прокофьева, Шнитке, зарубежных «формалистов». Однако, скажем, когда они играли с оркестром под управлением Герберта Караяна, Рихтер высказал неудовлетворенность знаменитым дирижером, а Ростропович дипломатично выражал восторги. В то же время, Ростропович пригласил к себе на дачу опального Солженицына и терпел непростой характер постояльца; трудно представить Рихтера проявившим такое гостеприимство, он и с близкими нелегко уживался.

Формально организацией концертной деятельности Рихтера занимались Госконцерт и Москонцерт, но на деле его агентом, пресс-секретарем, менеджером, конфиденантом была жена Нина Львовна Дорлиак, сам он никогда переговоров не вел. На Ростроповича работала армия обслуги, но никто не мог договориться лучше, чем он, с нужными людьми. Рихтер, по существу самоучка, приехал в Московскую Консерваторию в 35 лет, и его наставник Генрих Нейгауз сказал, что учить его нечему. А Ростропович с 4 лет учился у великих музыкантов. Рихтер не любил и почти никогда не участвовал в конкурсах, фестивалях, жюри, президиумах. Для Ростроповича участие в широкой культурной и общественной жизни, борьба за гражданские права, разного рода инициативы, проекты были неотделимой частью жизнедеятельности.

И при всех эти различиях оба музыканта заняли уникальное, невосполнимое место в мировой культуре. Есть и сегодня яркие звезды, но век их недолог; Рихтер и Ростропович – навсегда.

Рихтер

Святослав Теофилович Рихтер – один из величайших музыкантов всех времен и народов – оставил колоссальное творческое наследие огромным репертуаром, оригинальностью и глубиной интерпретаций, достоверным пониманием композиторского замысла.

Он поднял интерес и уважение к музыкальной культуре, к личности исполнителя на небывалую высоту.

Для поклонников он был пророком, демиургом, творящим бескрайнюю Вселенную, увлекающим слушателя на космические высоты, раздвигающим границы душевного пространства. Слушатели видели в нем мистическую, знанию и опыту неподвластную личность. Музыка начиналась еще до того, как его рука касалась рояля. В мире несвободы и лицемерия он и его искусство было светочем независимости и торжества над ложью и фальшью. Вожди и хозяева жизни с их тоталитарным авторитетом, Лубянкой и лагерями были малы и беспомощны перед величием его музыки.

Кем был Рихтер, сегодня понятнее, чем вчера. Сцену захлестнула поп-культура, даже серьезные и талантливые музыканты не могут не считаться с духом времени и состоянием аудитории. После смерти Рихтера Владимир Виардо сказал: «Он был последним, после него лишь эртертеймент». Это не в упрек, а в сочувствие одаренным артистам. Евгений Кисин – гений, Даниил Трифонов – ему под стать, но массовые представления о классике формируют виртуозные клоуны и акробаты Ванесса Мэй, Ланг Ланг, Юйцзя Ван, Найджел Кеннеди – имя им легион. Когда такой «ценитель искусств» как Рамзан Кадыров приглашает Ванессу на день рождения, платит полмиллиона долларов и осыпает подарками за прыжки по сцене со скрипкой, новые поколения музыкантов видят в том момент истины и зов судьбы.

Рихтер дожил до крушения Союза – он умер в 1997 году в Москве. С тоталитарной страной он был в неоднозначных отношениях. Народный артист, Герой Социалистического Труда и многих других наград, лауреат Ленинской, Сталинской и Государственных премий. Для него по высшему повелению была построена квартира с уникальной звукоизоляцией. Он мог без каких-либо проблем отменить концерт, если не был настроен, или сыграть в любое время. Достаточно было позвонить хоть среди ночи Владимиру Захарову, директору Консерватории, и зал был полон, финансовых и бюрократических преград не возникало. Мог подолгу не появляться на сцене, не покидать Москву или дачу, и мог уехать в долгий тур по стране, играя порой на разбитом фортепиано в провинциальном клубе.

В то же время, были долгие годы, когда он был невыездным,

несмотря на мировую известность и бесконечные приглашения. Он никогда не был близок властям как Гилельс и Ойстрах, он вообще не имел дела с начальниками страны и советской культуры. Это был способ бытия Рихтера, но и верховные правители, понимая его масштаб, не пытались приблизить его к себе. Немыслимо представить Рихтера, выпрашивающего субсидии у президента и министров, ублажающего спонсоров, торгующегося из-за гонораров или выступающего на корпоративе. Сегодня же, в духе времени, дирижер с репутацией суперэстета не стесняется выступить с любимцем криминального мира, оперная дива в дуэте с попсовым клоуном спеть что-то несусветное... Многие надеялись, что такая демократизация поможет классике выжить в поп-культуре и интернете. Но с каждым годом таких иллюзий все меньше.

К нынешнему времени о Рихтере создана огромная литература. Пишут музыкальные критики, культуроведы, коллеги, друзья и знакомые, которых, хотя Рихтер был замкнутым человеком, вдруг оказалось множество. Человеку, достигшему мировой славы и известности, нужно понимать, что любые детали его биографии станут достоянием пересудов, не всегда приятных. Но, похоже, в случае Рихтера границ вообще не осталось. Здесь есть всё – и возведение во святые, и водворение в царство дьявола.

Не беру на себя роль знатока и арбитра, но и мне есть что вспомнить. В течение лет десяти я был знаком с женой Рихтера Ниной Львовной Дорлиак, камерной певицей, профессором вокала. Я не пропускал концертов Рихтера и мечтал с ним познакомиться. У меня нет музыкального образования, но в Консерватории бывал почти каждый вечер. Театра, кино, телевидения для меня не существовало, в моем кругу было нормой: «Что в мире есть такого, о чем нет у Баха?» Мир музыки казался вершиной мироздания. И вершина вершин – Рихтер. Я не хотел обращаться к знакомым с просьбой представить меня и нашел другой путь. Встретив в Консерватории Нину Львовну, показал ей несколько своих статей и сказал, что хотел бы написать о Рихтере, не рецензию, я не критик. Нина Львовна сочла это моим преимуществом и вскоре пригласила домой.

С ней у меня были долгие разговоры, но с Рихтером было трудно найти общую тему. Говорить о музыке я не осмеливался, философия казалась более подходящей, но среди друзей дома был Валентин

Асмус, знаменитый знаток истории философии, поэтому разговор о Гегеле и Канте исключался. Специально для встреч с Рихтером я ходил в Ленинку читать Теодора Адорно, но на «После Освенцима не может быть поэзии» Рихтер не отреагировал, а когда я сказал, что Адорно считал музыку Бетховена тоталитарной, вышел из комнаты. Не знаю, кем он был больше недоволен – мной или немецким философом.

Недавно я прочитал в мемуарах близкого Рихтеру человека: «Слава терпеть не мог все что связано с теоретизированием на музыкальные темы, он мог даже оттолкнуть от себя и навсегда потерять какого-нибудь хорошего и интересного человека, если он начал теоретизировать».

Много позже я узнал, что Рихтера отчислили из Консерватории, потому что он не хотел учить общественные предметы. Нейгаузу пришлось долго воевать с парткомом, чтобы Рихтера восстановили. На кафедре марксизма-ленинизма работали профессора, понимающие, кто такой Рихтер, и всё, что от него требовалось, иногда прийти на занятия и принести зачетку на экзамен. Но и на такой малый компромисс он не соглашался.

Наше общение не облегчалось тем, что я не пил спиртного. Рихтер, как и его партнеры – Ростропович, Берлинский, Светланов, многие другие – мог выпить умопомрачительное количество, но на уровне мышления это не отражалось. Он любил разного рода капустники, маскарады, я в таких играх не участвовал и не понимал, чем они интересны. Помню, кто-то сказал, что в музыке Юдиной слышна ее религиозность. Я добавил: «Тогда у Чайковского должен быть слышен гомосексуализм». Ляпнуть в доме Рихтера что-либо более неуместное было невозможно...

Я опубликовал в «Вопросах философии» большую статью «Музыкант века», первую об исполнителе классической музыки в главном академическом журнале. Нина Львовна прочитала рукопись, ничего не сказала, но я знал уже, что это означает одобрение. Я принес журнал к ней домой, попросил позвонить после прочтения. Нина Львовна не звонила, встретив ее в Консерватории, я спросил о впечатлении. «Ой, мы так заняты, пока не читали». В это время подошла Наталья Гутман, виолончелист, близкий друг дома: «Мы все собрались и читали статью вслух, замечательно».

Понравилось однако не всем. Популярный скрипач сказал мне, встретив в Консерватории: «Никто не нанес музыке столько вреда как Рихтер». Только сегодня я понимаю смысл сказанного – при жизни Рихтера и титанов его времени поп-звёзды от классики знали свое место.

Я опубликовал в популярном издательстве «Знание» «Космическое и земное», о Рихтере. Цитаты из классиков и похвала советской культуре здесь были неизбежны. Нина Львовна сказала: «Все, что сделал Рихтер, было не благодаря, а вопреки.» Это был единственный случай, когда она что-то сказала о политике, в доме Рихтеров эту тему считали неприличной.

В рихтеровские времена кульминацией культурной жизни Москвы были «Декабрьские вечера». В музейный зал ведет высокая лестница. Наверху стоит Рихтер в окружении, поправляет на стене картины, иллюстрирующие тему концерта. Увидел меня и очень громко, все слышат: «Это философ Гольдин. Он утверждает, что у Рихтера есть философия. Я протестую! – у Рихтера нет философии, есть только музыка». Окружение в улыбках, я готов провалиться сквозь землю. Философы – это Аристотель и Гегель, докторская диссертация и профессорский диплом меня в философы не производят. После этого эпизода я продолжал ходить на концерты, но с Рихтером больше не разговаривал. Не доказывать же, что талант исполнителя определяется в первую очередь глубиной философской интерпретации.

В каждой публикации о жизни Рихтера большое внимание уделяется его отношениям с Ниной Дорлиак, а в последнее время все больше тому, что было за пределами этих отношений. Гей-комьюнити охотно подкрепляет свою борьбу за права великими именами. И вот лавиной пошли публикации о сексуальной жизни Рихтера. Инга Каретникова в мемуарах пишет, что брак был фиктивным, это утверждение приводит Википедия. Кто знает сегодня, в либерализме без берегов, единственно правильное определение брака?! Я думаю, что у Рихтера и Дорлиак был идеальный брак – союз людей, прекрасно понимающих друг друга, связанных духовно, творчески, профессионально. Нина Львовна была секретарем, пиар-менеджером, конфидантом, психотерапевтом, домоправительницей, освободившей мужа от отвлекающих забот. Ближайшая аналогия этого

союза – Владимир и Вера Набоковы. Мечта любого творческого человека иметь такого друга жизни.

Сенсацией стала книга Андрея Гаврилова «Чайник, Фира и Андрей». Фира – это Рихтер, его так называли в узком кругу с подачи Ростроповича. Андрей, пианист уникального дарования, долгие годы провел в борьбе с КГБ и советскими охранителями культуры. Я понял величие Первого концерта Чайковского только в исполнении Гаврилова. Его Шопен – подлинное откровение, узнаваемое среди тысячи интерпретаций. Мы были знакомы немного, больше с его мамой, музыкантом, разделившей с сыном все многосложности его творческой и личной судьбы. Кажется, я один из первых писал о нем в «Литературке» после того, как его отлучили от советской сцены. Во время нашей телезаписи возник конфликт (Андрей был прав), больше мы не встречались.

Несмотря на разницу в возрасте, Рихтер ни с кем не был в таких близких духовных отношениях как с Андреем. Раз уж не обойти этой темы, сексуальной связи между ними не было, можно не сомневаться в свидетельстве Гаврилова. Его исповедь не знает границ и страха.

Он заставил заглянуть по ту сторону добра и зла – и ужаснуться. Те, кто боготворит Рихтера, дочитают книгу, не выпуская из рук, и отношения к нему не изменят. Но лучше бы она мне не попалась. Как говорят американцы, «больше, чем хотелось бы знать». Дмитрий Быков говорит, что «Это повествование об ужасной изнанке прекрасного – или, если хотите, о плате за талант и славу». Если же, придя в себя после шока, перечитать то, что касается Рихтера-музыканта, то есть много важного, другими не сказанного.

«Музыка Славы, пишет Гаврилов, несмотря на его техническое мастерство, вымученная, тюремная, советская музыка». Не буду спорить, попытаюсь понять. Думаю, если игнорировать негативную коннотацию, Андрей имеет в виду то, что Адорно называл тоталитаризмом в музыке – ее абсолютную, неотвратимую убедительность. У Рихтера нет столь милых либерализму и постмодернизму сомнений, неопределенности, замешательства перед противоречиями в человеке и в мире. Можно признать, что Рихтер не приглашает к диалогу – подчинение ему безоговорочно. Он знает, и мы ему верим. Надо же верить хоть кому-нибудь! Пожалуй, в его музыке больше тьмы, чем света, но разве в мире это не так?

Вот еще у Гаврилова: «Он ненавидел все, что любит толпа, но сделал все возможное и невозможное, чтобы стать кумиром для сестры». Уточнив, что Рихтер был кумиром и для культурной элиты, поставим сказанное Гавриловым не в упрек, а в заслугу. Как Пушкин и Чайковский, Рихтер стал кумиром для всех. Никто из нынешних звезд такого универсального признания не имеет. Читая эту исповедь, нужно не упускать свидетельство автора: «Не бывает дня, чтобы я о нем не думал. Он присутствует на каждом моем концерте». Проклятье или благословение?!

Долгие годы великие музыканты казались мне самыми интересными людьми, я соизмерял их дарование с масштабом и достоинством личности, был горд общением. Отношения не выдержали испытания временем. Сегодня это очень мешает слушать бывших знакомых в концертах, даже в записи. Ничего хорошего не добавляет и беспредел откровений из частной жизни небожителей. Когда-то говорили: «Сокрушая памятники, сохраняйте пьедесталы». Но сейчас рушатся все устои.

Слушать, читать, видеть творения гениев – только это неотчуждаемое достояние. Приблизиться, если на то не судьба, а эмоциональный порыв, не нужно. «Не прикасайтесь к памятникам, на руках остается позолота», говорил Флобер. Общение ничего не добавит и, очень возможно, помешает увидеть главное. Дискография скажет больше, чем мемуары.

Ростропович

Он родился не так, как обычно бывает – беременность матери длилась не 9, а 10 месяцев. Музыкальная жизнь его была predeterminedена генетикой и обстоятельствами: отец был известный виолончелист, ученик Казальса, мать яркий пианист, музыкантами были и многие другие члены семьи. Первые уроки Слава получил с матерью, а потом с отцом. В Московской Консерватории его профессором был его дядя, виолончелист Семён Козолупов. Он учился также фортепиано, дирижированию и композиции.

Первую золотую медаль Ростропович выиграл в 17 лет на Всесоюзном конкурсе, затем в Праге и Будапеште. В 23 года он получил звание лауреата Сталинской премии и стал профессором. Крупней-

шие композиторы эпохи – Шостакович, Прокофьев, Кабалевский, Шнитке, Бриттен, Пендерецкий, Берио – посвящали ему свои произведения.

Несмотря на железный занавес, он много концертировал на Западе. Казалось бы, о чём ещё можно мечтать, чего ещё не хватает в жизни! Столь ранняя мировая слава, высшие награды, лучшие исполнительские сцены, благополучие, семья, множество друзей и поклонников...

Слава был очень умным и расчетливым человеком. Для многих его трезво мыслящих коллег это означало необходимость считаться с реальностью, не лезть на рожон, проявлять осторожность в словах и выборе друзей и жить без проблем с властями, занимаясь своим делом. Советский Союз умел поддержать тех деятелей культуры, которые знали своё место и говорили о великих возможностях, открытых социализмом для творчества во имя народа и Коммунистической партии. Члены многотысячных творческих союзов, хоть далеко не все были так уж талантливы, получали от государства материальную поддержку, квартиры, дачи, лечение, допуск к распределителям дефицита. Кремлёвская когорта музыкантов, выступавших на правительственных концертах, имела права и привилегии не меньше, чем цековская номенклатура. Сталин внимательно следил за музыкальным искусством, лично встречался с выдающимися музыкантами, благоволил некоторым из них, понимая их значение для репутации страны. Да и любил он музыкальную классику, мог оценить, к примеру, опальную, редко выступавшую Марию Юдину. Во времена репрессий в сравнении с другими творческими сферами музыканты пострадали меньше всех.

Но и при личном благополучии своём и супруги Галины Вишневской, властвующей в Большом театре, Ростропович пошёл на конфликт с властями, прекрасно понимая, к чему это приведёт. У Славы были не только друзья, но и противники, даже враги, не только в охранительных ведомствах. И среди коллег были люди, которые утверждали: Слава и Галина рассудили, что в Союзе они взяли всё что можно, что подлинный карьера и благополучие возможны только на Западе, и они сознательно готовят почву для новой жизни

Объяснение несостоятельное. Начать с того, что при любой лояльности к режиму ни у кого не было гарантий безопасности, не

говоря уж о свободе творчества, когда даже в выборе репертуара исполнитель был зависим от цензуры и надзирателей из Минкульта. В 1948 году, когда Ростропович был студентом, подвергся уничтожающей критике Дмитрий Шостакович, несмотря на мировую известность и личные отношения со Сталиным. Шостаковича зачислили в формалисты, осудили в «Правде» и партийных решениях, лишили профессорской должности, почти перестали исполнять. Композитор долгие годы жил в ожидании ареста.

Ростропович не хотел молчать, он устроил публичную демонстрацию во время концерта против советского вторжения в Чехословакию, поддержал Солженицына в самый трудный для него период, дал ему возможность работать. Последовали неотвратимые меры: Ростроповича лишили зарубежных гастролей и ограничили выступления в своей стране. Арестовать его власти не решились; он с женой и детьми покинул страну. Его лишили советского гражданства.

На Западе он развернул широкую политическую активность. Когда рухнула Берлинская стена, Ростропович играл на ее руинах. Он прилетел без визы в Россию в 1991 году, чтобы поддержать российскую демократию во время путча. Когда советские танки покинули Чехословакию, он выступил в Праге с концертом, посвященным освобождению страны. В 1993 году во время попытки госпереворота в России вместе с Национальным симфоническим оркестром США он дал концерт на Красной площади в поддержку демократии. Он собирал деньги для больниц в Москве и Санкт-Петербурге, спонсировал лечение российских детей в госпиталях США и Европы, организовывал фестивали, концерты, сборы от которых шли на помощь жертвам гражданских войн и катастроф, таких как Чернобыль и цунами в Азии. Он пытался играть миротворческую роль в конфликтах между Арменией и Азербайджаном, Израилем и палестинцами. Будучи неизлечимо больным, в последнем телеинтервью российскому телевидению он говорил, что умирает счастливым, поскольку его страна свободна. Что бы сказал Слава сегодня?!

В доперестроечные времена среди бесчисленных друзей и знакомых Ростроповича я занимал весьма скромное место, заходил в артистическую после концерта, бывал на его даче, однако разговоров

о судьбе мира и искусства не было, даже в застольях я не участвовал. При Горбачёве появились возможности до того немислимые – заниматься культурными проектами, не спрашивая разрешения ЦК и Минкульта и даже приглашать для участия живущих за рубежом и лишенных гражданства музыкантов, художников, литераторов.

Я предложил Виталию Игнатенко, главному редактору «Нового времени», в котором часто публиковался, создать ассоциацию деятелей русского культурного зарубежья и попросил Ростроповича ее возглавить. Слава охотно включился в организацию Сахаровского фестиваля и очень много сделал для его проведения. Ростропович к Сахарову относился с высоким уважением. В Консерватории на концерте, посвящённом памяти Андрея Дмитриевича, стоя под его портретом на сцене, он сказал, что очень горд тем, что с годами становится все более на него похожим. По темпераменту, стилю жизни они были совсем разными, но внешнее сходство было очевидным, к тому же, хоть оба не евреи, сильно картавили и подвергались антисемитским нападкам.

Поначалу фестиваль проводился в Нижнем Новгороде, где Сахаров провёл несколько лет в ссылке. Я предложил Владимиру Панченко, президенту Госконцерта, организовать его в зарубежных странах. У нас были прекрасные отношения, он сразу же включился в работу. Я познакомил с проектом Президента Международной организации биополитики Агнию Арванидис, она предложила провести фестиваль в Греции, родине демократии и обещала богатых спонсоров.

Нужно было заручиться согласием Елены Боннэр. Жена Андрея Дмитриевича никогда не отличалась легким нравом, а когда имя Сахарова обрело мировую известность, очень настороженно относилась ко всякого рода, по ее словам, «проходимцам», пытающимся «примазаться». Узнав, что президентом фестиваля будет Ростропович, она обрадовалась и согласилась приехать в Афины.

Вскоре у Славы было выступление в Афинах. Я прилетел в Грецию и вместе с Агнией мы встретились со Славой в его гостиничном номере. Слава вышел к нам с крохотной собачкой на руках, в других комнатах мелькала какая-то молодая барышня, нам она представлена не была. Слава писал и звонил, объясняя знаменитостям, почему фестиваль так важен, и убеждал выступить без гонорара. Сам он от

оплаты отказался. Музыкальные программы обеспечил Госконцерт и греческий импресарио. Министерства иностранных дел, образования и науки, Патриархия Греции организовали академические слушания и дискуссии, в которых участвовали десятки, литераторов, художников, религиозных деятелей. Гала-концерт состоялся в июле 1994 года в античном театре Херода Аттикуса в Афинах, кроме аудитории в 6 тысяч человек его слушали и смотрели во многих странах мира.

Славу и Боннэр встретили долгой овацией. Боннэр говорила о трудной судьбе диссидентов, назвала особо Ростроповича и Темирканова; Слава – о наследии Сахарова и наших обязательствах продолжить его дело. Боннэр и Ростропович говорили по-русски, внук Боннэр не всегда в ладах был с переводом, и Слава его периодически поправлял. Просматривая толстый том материалов о фестивале, я обнаружил, что моя речь была самой длинной; Слава похвалил, а Боннэр не отругала, что было комплиментом. Программа включала произведения Вагнера, Шопена, Сен-Санса, Чайковского. Слава исполнял «Вариации рококо» с Афинским госоркестром, дирижировал Юрий Темирканов.

Сахаровский фестиваль стал не только культурным событием, он отразил время больших ожиданий и надежд. Слава говорил со слезами на глазах, что и мечтать не мог дожить до такого времени.

Мне Афины запомнились не только официальной программой. Я уже уехал из Москвы в Нью-Йорк, это был мой последний опыт такого масштаба. После концерта какой-то греческий судовладелец устроил грандиозный банкет. Слава был счастлив, обнимался и целовался со знакомыми и незнакомыми, пил со всеми безостановочно, но не пьянел; сколько он мог выпить и когда он спал, всегда было загадкой. Часа в три ночи он сообщил оставшимся, что у него трагедия – возлюбленная его покинула, но это не была Вишневская, спутница до конца его жизни. Несомненно, Слава вскоре утешился...

Когда под утро расходились, Слава попросил «не в службу а в дружбу» помочь донести до гостиницы его многочисленные подарки. Нагрузили в две большие бумажные сумки; мне было не по пути, но отказать я не мог. Слава шёл впереди, оживленно гово-

рил с поклонниками, я плелся со своей ношей далеко позади. Вдруг пакет порвался, все высыпалось на тротуар, Слава немедленно заорал: «Леня, я просил же, осторожнее!» Как он мог услышать и понять что случилось, в городском шуме, увлеченный разговором, после бессонной ночи и всего выпитого?

Другой случай. На фестиваль приехали из России, как он их представил, его друзья, какие-то мордвороты из новобогачей, думаю спонсоры какого-то Славиного проекта. И Слава опять же «не в службу, а в дружбу» попросил взять его лимузин и привезти их жен из гостиницы, дал мне адрес, записанный на бумажке. Отказываться я не стал, но отдал бумажку шоферу. Через полчаса прибежал разгневанный Слава – шофер не нашел жен. Слава сел в машину и сам поехал на розыски. Приехал торжествующий, с задачей он справился, обиды на меня не держал.

Мне трудно было понять, почему Слава обращается ко мне с такими просьбами, я не был близким другом, вокруг было полно людей, которые сочли бы за счастье выполнить его поручение. Думаю, Слава, как и положено гению, считал, что мир специально для него обустроен, и он платит за то миру своим талантом. Еще вопрос, кто кому должен. Наверное, обращения с просьбами он рассматривал как проявления особого расположения.

Еще один эпизод. В Париж отправилась моя приятельница, Тамара, известная модель, жена продюсера Леонида Сарочана, организатора наших проектов по связи с русским культурным зарубежьем. Я попросил ее передать Славе документы по фестивалю. Тамара привезла восторженные впечатления от встречи и Славиной просьбу – найти подходящее место для публикации его статьи «К вопросу о перетаскивании трупов». Грустный рассказ о том, как Слава пытался перезахоронить отца, но с советскими бюрократами было невозможно договориться. Я пошел к Виталию Коротичу в «Огонек», в ту пору самый читаемый журнал. Коротич подпрыгнул от восторга: «В номер, Славу на обложку». Но несколько номеров вышло, статья не появлялась, я звонил, секретарша с Коротичем не соединяла. Стало ясно – в статье Слава горько перечислял свои и Галины Вишневской обиды на элиту Большого театра, а с ними Коротичу не хотелось портить отношения. Другие редакторы предыдущих изданий тоже отказались. Саша Глезер, редактор «Курьера»,

напечатал сразу же. Я послал еженедельник Славе, но при встрече он сетовал, что издание маленькое, объяснить ему реальные причины я не мог.

Помню только один случай, когда Слава решил со мной поделиться личными переживаниями, и было понятно, что для него это серьезный и большой вопрос. Крупнейший российский музыковед Леонид Гаккель опубликовал в «Известиях», в ту пору перестроечной газете, статью «Музыканты, подальше от властей». Автор скептически оценивал политическую активность Спивакова, Башмета и Ростроповича. Идея статьи – занимайтесь своим делом, а не партийным или антипартийным служением. Слава относился к Гаккелю с большим уважением, но свою позицию ратоборца пересматривать не собирался. Он долго объяснял мне, почему не может оставаться в стороне, почему его участие в переменах так важно в российских условиях. Не знаю, имел ли Слава в виду, что я напишу о его позиции и мотивах, но я считал, что участие мастеров культуры в политике, в особенности, нынешней, высокому искусству и личности художника противопоказано. Может быть, я не прав, но я так думаю.

Статья Гаккеля вызвала бурные дискуссии в музыкальной среде и печати, она актуальна и по сию пору. Гергиев, Мацуев, Башмет, Кисин, Кремер, Аркадьев на виду не только как блестящие музыканты, но и как политические активисты. Это не только российский феномен. Вспомним Тосканини, Стерна, Баренбойма, Мазура, список можно долго продолжать. Ныне в башне из слоновой кости обитают немногие селебритис, и не всегда понятно, где идеи, а где пиар.

Интересно, что виолончелисты особенно заметны диссидентством. Пабло Казальс был сторонником республиканского правительства и уехал из Испании, когда Франко захватил власть. В изгнании он активно выступал против фашизма. Журнал «Слейт» опубликовал статью «Революционеры со смычками» – о виолончелистах из разных стран, конфликтовавших с властями. Центральное место уделено Ростроповичу.

...В последний раз я встречался с Ростроповичем в Нью-Йорке после концерта в Карнеги-холле. Я передал ему архивные фотогра-

фии – того времени, когда Слава прилетел в Москву поддержать сопротивление путчу. Слава их долго разглядывал со слезами на глазах. Я не увидел в нем былой энергии и жизнелюбия, наверное, он был уже тяжело болен.

Леонид Гольдин окончил Московский университет, где защитил кандидатскую и докторскую диссертации по философии. Профессор социальной психологии. В течение 30 лет заведовал академическими кафедрами в Москве.

22 года преподает в Нью-Йорке. Автор книг и около тысячи публикаций в периодике. В выборах, политической и общественной деятельности не участвует.

Альдо НИКОЛАИ

МОНОЛОГИ

От переводчика

Даже поверхностное знакомство с жизнью классика итальянской драматургии Альдо Николаи позволяет утверждать, что это был счастливый человек. Всю свою долгую жизнь – а он скончался в 2004 году в возрасте 86 лет – драматург занимался любимым делом, став одним из самых популярных театральных писателей второй половины XX века. Всего им написано более 80 полноформатных и одноактных пьес, свыше 50 монологов для театра и множество сценариев для радио- и телепостановок.

Его театральные тексты наполнены тонкой иронией и сдержанным пессимизмом, с какими он препарировал исторические и социальные реалии второй половины XX века. В своём творчестве он бесстрашен. Он высказывает о человеке такую суровую правду, которую многие из нас отказались бы выслушать, не будь она облечена в блистательную форму. Сюжеты, характеры, диалоги, юмор – всё выдает руку мастера. Юмор присущ большинству его пьес. Он чутко уловил изменение отношения человека к трагическому и комическому в результате страшного опыта XX века с его двумя мировыми войнами. Да и сегодня пришибленный безумными темпами и направлениями развития цивилизации современник решительно выбирает комедию, ибо взгляд на мир через призму комического дарит радость и вселяет надежду. Необузданный, не укладывающийся ни в какие рамки театр Альдо Николаи наполнен живой энергией, богат фантазией и напроць лишён моралистики. Богатая стилевая палитра драматурга позволяет ему с лёгкостью переходить от символизма к неореализму, от сюрреализма к театру абсурда, вписываясь в самые современные тенденции мирового театра.

В 1997 году в нью-йоркском «Линкольн центре» Николаи была

вручена премия Итальянского Общества авторов и Издателей (SIAE). Этой премией награждаются самые востребованные за рубежом драматурги Италии. Его пьесы, переведённые более чем на два десятка языков, до сих пор не сходят со сцен всех континентов. До самой своей кончины мэтр драматургического цеха занимал посты Председателя Союза драматургов и Председателя Совета авторов ИТИ (Итальянского института театра). Кроме того, он был Президентом Международного сообщества драматургов и комиссаром Международной конфедерации авторских союзов.

Малая театральная форма занимала в творчестве Николаи особое место. С полным правом можно сказать, что именно он вернул ее на сцену итальянского театра. Широко распространённая в конце XIX-го века форма монолога вскоре оказалась на периферии театра, актёры отдавали предпочтение многоактной пьесе. Редко кто из больших актёров обращался к одноактовкам или монопьесам. В основном они шли на сценах небольших «подвальных» театров – владельцы крупных театров как правило отказывались заниматься этим малоприбыльным для них делом. Да и драматурги с большой неохотой тратили время на подобные формы. Альдо Николаи был не исключением.

Но вот в начале 50-х годов у Альдо произошла встреча, повлёкшая резкую смену его отношения к монопьесам. В одном из таких «подвальных» театриков он познакомился с очень популярной в те годы актрисой театра и кино Паолой Борбони ...

Предоставим слово самому Альдо:

Паола была необыкновенная актриса. Она позволяла себе делать на сцене то, от чего шарахались другие. Она постоянно что-то придумывала, экспериментировала, расширяя границы творческой свободы. Театральный монолог казался ей самым подходящим инструментом для этого. Первое, что она сказала мне, едва нас познакомили:

– Альдо, напиши для меня монолог шлюхи.

– Я подумалю, – ответил я, вовсе не собираясь делать этого.

С этого дня каждую ночь ровно в три часа у меня звонил телефон, и в трубке раздавался бодрый голос Паолы:

– Альдо, что там с моим монологом?

Как-то раз я, как мне показалось, аргументированно, постарался выпутаться из этой ситуации, сказал ей:

– Паола, никак не пишется, я незнаком ни с одной шлюхой твоего возраста.

Паоле в то время было уже за пятьдесят.

Ничего не ответив, она положила трубку. Я вздохнул с облегчением, подумав, что наконец отвертелся. Я плохо знал Паолу. Она позвонила следующей же ночью:

– Альдо, я провела сегодня потрясающий вечер! Ни за что не догадаешься, с кем! С проституткой, которой шестьдесят два года! А она все ещё пользуется спросом!! Она мне порассказала такое!! В общем, она согласилась встретиться с тобой сегодня вечером!..

Я вздохнул. Мне не оставалось ничего другого, как смириться со своей участью.

Так был написан первый монолог, блестяще исполненный Паолой Борбони у рампы Туринского коммунального театра. За ним последовали новые в исполнении той же Паолы. Между прочим, и сам автор иногда разыгрывал с ней на сцене свои одноактные диалоги.

Монологами Николаи увлеклись и другие известные итальянские актёры. Альдо вошёл во вкус. В результате им было написано более пятидесяти театральных монологов, с успехом шедших (и идущих) на подмостках многих театров мира.

Как и в «больших» пьесах, драматург оставался верен себе и в малых. Присущие ему ирония и юмор, сдобренные хорошей порцией лёгкой грусти, поэтичность, парадоксальность, а порой и макабризм, даже выигрывали, поданные зрителю в концентрированном виде.

В этом вы можете убедиться лично, читая представленные здесь два монолога Альдо Николаи.

**Валерий Николаев,
Москва**

СОЛИДАРНОСТЬ

Холостяцкая квартира. На столе в серебряной рамке фотография красивой женщины. Рядом ваза с цветами. На кровати лежит одетый мужчина лет тридцати. Смотрит на фотографию. Протягивает к ней руку, берет, садится на кровати.

Ничего не скажешь. Как женщина она выше всяких похвал. Красивая, элегантная, остроумная. Немного привязчивая, но это, впрочем, свойственно большинству женщин, когда они влюблены. (Возвращает фотографию на место). Она как-то сказала, что не встретить она меня, наверняка покончила бы с собой. Настолько была несчастна. (Встает, ходит по комнате). Она была несчастна оттого, что после десяти лет жизни в браке муж разлюбил ее. Он тяготился ее присутствием, не ценил и не понимал ее. Из таких вещей женщины часто делают трагедию.

Мы, мужчины, более уравновешенны. Мы тоже переживаем, но пытаемся как-то регулировать свои чувства, забивать голову работой, придумывать разные способы отвлечься... игра в футбол, прогулка с друзьями, легкое приключение, какое-нибудь хобби... Несчастливая любовь случается у всех. Но для нас, мужчин, это не повод считать, что мир рушится. Другое дело – женщина. Может, поэтому, что она домашнее животное. Едва она разочаровалась в любви, она считает, что жизнь кончена, разыгрывает из себя жертву, обвиняет в этом противоположный пол, общество, страну, впадает в отчаяние, покупает барбитураты, прибегает к услугам психиатра, не слезает с телефона, рассказывая всем и каждому, как глубоко она несчастна, рыдает. Пока, в конце концов, что логично, это не надоедает ей самой. И она, припудрив носик, заводит себе любовника.

Но для начала... осложняет ему жизнь. Как произошло у меня с Анной. Как только мы познакомились, она тотчас дала выход своим чувствам, нагрузив меня всеми перипетиями своей трагедии. Всякая женщина, заведя любовника, первое, что делает, рассказывает ему гадости про своего мужа. Я терпеливо ее выслушал и попытался объяснить, что это естественно, когда муж после десяти лет совместной жизни теряет ту пылкость, которая так влекла ее в первые дни. Анна словно не слышала меня. Она чувствовала себя

разочарованной, оскорбленной и преданной. Джорджо, ее муж, превратился в ее врага, она называла его мерзавцем, садистом и преступником, который задался целью поломать ей жизнь. Как она его ненавидела! Но о том, чтобы оставить его, не могло быть и речи. Джорджо за те десять лет, что они прожили вместе, сделал прекрасную карьеру и заработал кучу денег, и она хотела этим пользоваться. И мстить, тратя его деньги и изменяя ему со мной.

Часы, которые мы проводили вместе, были восхитительны. Мы виделись ежедневно. Она приезжала ко мне и сразу же заключала меня в объятия, не отпуская до той самой минуты, когда должна была уходить. Она словно с цепи срывалась. Ее Любовь – она так и понимала ее, с большой буквы – обрушивалась на меня, переполненная желанием и страстью. Она требовала от меня постоянного подтверждения ответного чувства. Я должен был говорить, как я ее люблю, даже в самые неподходящие для этого моменты. Например, когда натягивал носки или принимал душ, вынужденный кричать, чтобы перекрыть шум воды.

Она постоянно желала поддерживать высокий градус этого чувства, отсюда страстные поцелуи, объятия, обещания, клятвы, будто каждая проведенная вместе минута – последняя в нашей жизни. Она лишила меня малейшей возможности думать о чем-либо ином: я был обязан только любить ее и позволять ей любить меня, все остальное было вытеснено из моей жизни. Я пытался угождать ей как мог, но даже если я очень сильно старался, мне не всегда это удавалось. Потому что, хотя любовь и великая вещь, но она не единственная на этом свете. Даже животные посвящают любви один сезон в году. А мне достаточно часа в день. После чего я нуждаюсь в личной свободе. Так или иначе, наши встречи доставляли мне удовольствие, потому что, если опустить чрезмерную страстность, во всем остальном Анна была превосходна, а как любовница – необыкновенна. И потом, она меня любила. Говорила, что я для нее все, что если бы не я, она бы уже умерла. Я испытывал к ней похожее чувство, и, несомненно, переживал бы, оставь она меня. Но я перенес бы это с достоинством, не делая из потери трагедию.

Она продолжала обволакивать меня своей любовью со все возрастающим пылом, ревнуя меня даже к моим мыслям. И повторяла, как она мечтает жить со мной под одной крышей. Как-то раз она

вдруг заявила, что это стало бы реальностью, если убить Джорджо. Она унаследовала бы его состояние, и мы могли бы пожениться. Убить ее мужа должен был я! И это при том, что я мирный человек, убийство и насилие мне претят. С какой стати я должен лишать жизни человека, которого я даже не знаю и который не сделал мне ничего дурного! Больше того, любезно позволяющего спать с его женой и тратить заработанные им деньги! Анна не принимала никаких доводов. Только убийство. Муж должен умереть. Она говорила мне об этом с блестящими глазами, уже предвкушая его похороны и представляя себя вдовой с перспективой нашей совместной жизни.

Я ее любил, разумеется, но эта самая перспектива меня смущала. Опыт, который я приобрел, проведя с ней всего один уик-энд, мягко говоря, не был позитивным. Она не отлипала от меня, глаза в глаза, рука в руке, я не мог освободиться от нее ни на миг, у меня не было ни секунды подумать о себе. Ее любовь была огромна. На мой взгляд, чрезмерно огромна. А между тем, и в любви необходима свобода. Я не мог больше общаться с друзьями, отдавая себя ей с утра до вечера и с вечера до утра. Посвящать ей свою жизнь до остатка дней своих мне не слишком улыбалось, и я изо всех сил старался отговорить ее от разрыва с мужем. Она в своей одержимости ничего не хотела слышать. Погрузившись в чтение полицейских романов, она искала в них подкрепления своей идеи-фикс, а также наиболее эффективного и наименее опасного способа избавиться от мужа. Ее упорство было вознаграждено. Она нашла такой способ. Простой и классический. Ударить Джорджо по голове, чтобы он потерял сознание, раздеть его, положить в ванную, открыть газ, закрыть двери и включить радио на полную громкость. Джорджо имел привычку, вернувшись с работы, принимать ванну. Все наверняка воспримут случившееся как обычный несчастный случай, какие происходят довольно часто. Оставалось только выбрать подходящий день. Но я по-прежнему не был готов бить незнакомого человека по голове, а затем тащить его в ванну, чтобы он там умер. По-моему, в этом есть какая-то невоспитанность. И дурной вкус. Чтобы хоть как-то оттянуть время убийства, я уговорил Анну познакомить меня с Джорджо.

Он показался мне приятным человеком: симпатичным, откры-

тым, вежливым, интересным собеседником. Он прекрасно разбирался в искусстве, литературе, политике, знал кучу смешных анекдотов. И еще он был красив, со своей обаятельной дружелюбной улыбкой. Я не понимал, как Анна могла столь сильно ненавидеть его. И почему решила убить его таким унижительным способом: утопив в ванной в бессознательном состоянии.

Джорджо и я сразу же почувствовали симпатию друг к другу. Она была так велика, что мы тайком начали видеться. Нам нравилось спорить, обмениваться взглядами на те или иные проблемы. Каждый раз мы находили в нашем общении что-то новое. Самое интересное, что я понял, почему Анна влюбилась в меня. У меня был точно такой же характер и такой же менталитет, что и у Джорджо.

Однажды мы столкнулись с ним у выхода из театра. Он был, так же как и я, потрясен увиденным спектаклем. С тех пор мы стали ходить в театры вдвоем. Спустя некоторое время он начал рассказывать мне о себе, о своей жизни с Анной. Когда-то он, так же как и я сейчас, был сильно влюблен в нее, но ее чрезмерная требовательность лишила его всякой свободы, он стал чувствовать себя несчастным. Чтобы защитить собственное «я», он был вынужден отдалиться от нее. И лишь когда страстная любовь сменилась тихой привязанностью, он вздохнул свободно. Помимо симпатии и восхищения, я ощутил огромную благодарность ему за преподанный урок.

Моя жизнь с Анной после убийства Джорджо имела все шансы стать похожей на ту, какую прожил с ней он. То есть на Ад. Анна, естественно, не знала о наших встречах с Джорджо. Она полагала, что теперь, когда я познакомился с ним, у меня не осталось больше отговорок и пора приступить к делу. Но она все еще никак не могла определиться с датой. Я же, напротив, испытывал все большее и большее смятение. Если я не осмелился убить Джорджо раньше, как я мог сделать это, когда мы стали друзьями? У меня не было никаких заблуждений по поводу того, что речь идет о преступлении, и я, будучи эгоистом, конечно, думал прежде всего не о Джорджо, а о собственной судьбе, о собственной свободе, о тех милых моему сердцу привычках, которых, свяжи я свою жизнь с Анной, она наверняка бы меня лишила. Об одиноких прогулках, о ночных часах у открытого окна, в которое льется музыка моря... Нет, я не мог

убить Джорджо. Я не мог лишить жизни друга и сломать собственную жизнь. Я должен был найти выход из этой ситуации, я должен был спастись.

Анну бесили мои колебания. Она продолжала повторять, что речь идет всего об одном мгновении, что план ею продуман до мельчайших деталей и нам нечего опасаться, зато после этого мы будем счастливы, счастливы всю оставшуюся жизнь. Но именно это и тревожило меня больше всего. Всю оставшуюся жизнь! Вот где настоящий ужас. Я не смог найти ничего разумнее, чем обратиться за советом к Джорджо. Он отнесся ко мне с пониманием и сочувствием, дав понять, что я могу рассчитывать на его дружбу и солидарность. Никогда прежде я не чувствовал его таким близким мне, как в этот весьма деликатный момент. То, что он сказал, помогло мне определиться с решением и придало мужества действовать. Все произошло так, как задумывала Анна. Ее план, действительно, был проработан до мелочей. Всего лишь мгновение – и Анна даже не успела понять, что это она умирает вместо Джорджо. Ее прекрасное обнаженное тело в ванне выглядело очень трогательно.

Все восприняли происшедшее как несчастный случай, ни у кого не возникло никаких подозрений. Джорджо и я, мы присутствовали на похоронах с глазами, полными слез. В конце концов, мы оба ее любили. Мы просто вынуждены были поступить так... в порядке необходимой самообороны. Память об Анне еще крепче сплотила нас. Мы часто видимся, вместе ходим в театр, в кино, в плавательный бассейн. Джорджо оказался прав. Любовь – великая вещь. Однако добрая дружба – вещь более разумная. Нет ничего более честного и порядочного, чем мужская солидарность. Мы ощущаем себя свободными людьми, хозяевами своей независимости. (Снова подходит к фотографии, поправляет рамку). Хотя Анну очень жаль. Ничего не скажешь, она была великолепная женщина. И умерла в расцвете красоты...

Со счастливой улыбкой открывает окно и, облокотившись на подоконник, смотрит на улицу.

ЧУТЬ БОЛЬШЕ, ЧУТЬ МЕНЬШЕ

*Безликая палата в роскошной, дорогой клинике.
Посередине сцены женщина, без макияжа, в длинной белой рубашке.*

Как давно я здесь?.. Меня привезли в субботу... сегодня вторник... Десять дней. Я в порядке. Хотя я в клинике, я нисколько не нервничаю. Наоборот, я абсолютно спокойна. Засыпаю без снотворного, без успокоительного. Сплю допоздна.

Санитарка старается меня не будить, когда приносит поднос с завтраком. Ставит его аккуратно на тумбочку у кровати и тихо уходит. Тут все любезны и внимательны, хотя никто не знает, кто я такая. Но я и сама этого не знаю.

Все только и делают, что спрашивают:

«Вы, действительно, ничего не помните? Совсем ничего?»

«Ничего, совсем ничего», отвечаю я.

«И даже как вас зовут?»

«И даже как меня зовут».

Всем моя история кажется невероятной еще и потому, что тот, кто нашел меня и привез сюда, оказался главным врачом этой клиники. Здешний Бог-Отец.

Все, все желают узнать у меня, как это случилось.

«Что вы там делали?».

«Где?»

«Где вы были».

«Я не помню ничего, кроме того, что сидела на раскладном стульчике на обочине шоссе».

«Вы кого-то ждали?»

«Понятия не имею. Я просто спокойно сидела и разглядывала машины, которые проносились мимо меня...».

«Но как вы там оказались? Откуда вы ехали? Куда вы ехали?»

Все время одни и те же вопросы, на которые у меня нет ответов. Я была там, и все. Я помню только, что неожиданно огромный автомобиль темно-оливкового цвета остановился прямо передо мной, потому что у него заглух мотор. Из него выскочил сердитый элегантный синьор и начал стучать машину на обочину. А потом

попросил у меня разрешения позвонить по телефону, висевшему на столбе. Видимо, принял меня за сотрудницу службы дорожной технической помощи.

«Звоните», разрешила я.

Он набрал номер и сказал, что очень спешит и просит немедленно прислать кого-нибудь, сообщил, где находится, сел рядом со мной на парапет и стал говорить. О том, что не может понять, почему заглох мотор, который всего несколько дней назад целиком перебрали, что вообще-то машина всегда работала как швейцарские часы, и что нужно было случиться такому именно сегодня. Еще он сказал: если день так плохо начинается, к вечеру вообще не жди хорошего.

Он рассчитывал найти во мне сочувствие как всякий мужчина, на которого сваливается неприятность. Им нужно утешение. Я сказала, чтобы он не принимал это близко к сердцу, могло случиться что-то похуже, и что главное – это здоровье. Потому что, если есть здоровье, все остальное наладится. Он задал мне вопрос, работаю ли я здесь, а когда я ему сказала: нет, – он спросил, что в таком случае я здесь делаю. Я задумалась в поисках ответа и поняла, что не знаю, что я здесь делаю. Я ему так и сказала.

И тут до меня дошло, что я вообще ничего не знаю. Абсолютно ничего не знаю о себе. Что я потеряла память. Меня это потрясло. Он принялся подбадривать меня, сказал, чтобы я не волновалась, что подобные провалы в памяти случаются, и что мне повезло, потому что он – представить только! – невролог и попытается вылечить меня. Когда прибыла техпомощь, он посадил меня в машину, которую ему прислали взамен поломавшейся, и привез сюда, в свою клинику.

Он очень любезен и заботлив, и ведет себя со мною так, будто я знатная синьора. Может, я такая и есть. И даже если не такая, то, по крайней мере, внешне выгляжу как она. Так мне кажется. А он – он просто воспитанный человек.

Короче говоря, меня здесь приютили. Выделили отдельную палату и оставили в покое, пока он куда-то уезжал. Через несколько дней он вернулся и пришел ко мне. Он хотел узнать, не вспомнила ли я чего-нибудь: свое имя, адрес...

Нет. Я абсолютно ничего не помнила. Будто моя жизнь нача-

лась с того самого момента, когда большой автомобиль темно-оливкового цвета остановился передо мной там, на обочине дороги. Все, что было до этого, напрочь вылетело из памяти. Кроме машин, пронесившихся по шоссе. Как будто на обочине этого шоссе я родилась, росла, старилась. Как трава. Но не могла же я сидеть на этой обочине на раскладном стульчике всю свою предыдущую жизнь! Было же у меня имя... была фамилия... место жительства!..

Ничего не могу вспомнить. Единственное, что я о себе знаю наверняка, это то, что я особа женского пола... и мой рост один метр шестьдесят пять сантиметров. Слишком мало для того, чтобы реконструировать свою жизнь.

Кто бы сказал мне, сколько времени я провела, сидя на стульчике! Хорошо, на дворе лето, иначе со мной могла приключиться какая-нибудь беда. Вот еще что я знаю: что есть времена года, дождь, град, снег, ветер. Какие-то представления о мире я имею. Когда я читаю газеты, я понимаю все, что в них написано. Я умею соотнести события между собой, я знаю персонажей, о которых идет речь: политиков, певцов, артистов, спортсменов. Знаю, что существуют хорошие писатели, и, уверена, что читала их книги... В общем, кое-что о других я знаю. О себе – ничего.

Сколько я ни пытаюсь взглянуть в свою прошлую жизнь, мне не удается увидеть ничего, кроме разноцветных автомобилей, несущихся по серо-голубому асфальту на фоне полей с золотистой пшеницей, расцвеченной пятнами красных маков. А выше – зеленые шапки деревьев. Еще выше – голубое небо... Цвета... краски... краски я помню... голубая... зеленая... фиолетовая... желтая... оранжевая... Профессор говорит, что я счастливица, потому что краски – это воспоминания, которые не приносят страданий...

Я сама удивляюсь, как это у меня получается так красочно описывать профессору закаты и рассветы, которые я видела, сидя на обочине, или небо, которое из кармазинного становится розовым... Он заметил, что точность моих формулировок свидетельствует об определенном уровне культуры... Он, например, не знал, что за цвет – кармазинный... А я знаю все краски. Индиго... киноварь... кобальт... бирюза... амарант... Я даже подумала, что была художницей. Но когда мне принесли карандаши и акварель, стало ясно, что я совсем не умею рисовать.

И все же, как только я закрываю глаза и пытаюсь заглянуть в свою жизнь, я не вижу ничего, кроме красок: розовой, голубой, лиловой... Или у меня тоже, как у Пикассо, жизнь распадалась на периоды, сначала был розовый, затем голубой. Профессор прав, я обладаю определенным уровнем культуры, поскольку, например, все знаю о Пикассо. Я неплохо пишу, у меня есть чувство слова, я ощущаю мелодию фразы... Но вряд ли я была писательницей.

А может, я любила краски, потому что мое имя совпадало с каким-нибудь цветом? Скажем, Виолетта? Или Роза? Или Беллина? Синьорина Беллина!.. Почему синьорина? Я что, еще девица?

Это вряд ли. Мне кажется, я из тех, кто много знает о жизни. О женщине говорят, что она знает жизнь, если у нее было много мужчин. Глупости! Сколько проституток, через которых прошли тонны мужиков, знают в жизни только одно. Это важно, кто бы спорил, но в ней есть еще кое-что и поважней.

Я что, правда не замужем? Когда меня привезли сюда, у меня на пальце не было обручального кольца. Может, я сняла его перед тем как вымыть руки и оставила на умывальнике? Или я живу с мужчиной гражданским браком? Когда-то такое оборачивалось скандалом. Сегодня так поступают все. Браки трещат по всем швам. Ну правда, как можно заключать брачный контракт, который обязывает тебя всю жизнь любить одного мужчину?

То, что я девственница, исключено. В моем возрасте это было бы смешно. Для этого я, по меньшей мере, должна быть игуменьей монастыря затворниц. Такие монастыри до сих пор существуют. Пожизненная добровольная тюрьма. Кто входит в ее дверь, не выходит никогда. Ни живой, ни мертвой. Мамма миа! Но даже по поводу девственности игуменьи монастыря затворниц я бы не дала руку на отсечение. Неисповедимы пути Господни.

Наверняка я была знакома со многими мужчинами, не будучи шлюхой. Ничего не помню ни об одном из них. А чем они могли запомниться? Удовольствием, которое они мне доставляли? В таком случае я должна помнить... скажем, какие-то сорта мороженого, которые мне особенно нравились и от которых я тоже получала удовольствие. Особенно летом... Или только любовь сладка?

Считается, что первая любовь никогда не исчезает из памяти. А из моей исчезла. Первая. И последующие. Вспомни я первую лю-

бовь, возможно, мне удалось бы пройти по берегу реки моей жизни и восстановить все ее детали. Первая любовь как пружина могла бы запустить воспоминания о том, что было дальше...

А мужчины... Почти все женщины, с которыми я общаюсь здесь, в клинике, твердят, словно сговорившись: мужчины не стоят того, чтобы их помнить. Одну ежедневно колотил муж, другую муж выбросил из дома, чтобы жить в нем с любовницей...

Девчушка из соседней палаты до сих пор в состоянии шока, оттого что обожаемый мальчик пригласил ее на свою виллу у моря, где несчастную изнасиловали по очереди все его дружки... С мужчиной нельзя опускаться до проявления чувств. Получи от него удовольствие как от вкусного мороженого или свежих устриц, и забудь о нем навсегда.

Может быть, я именно так и поступала? Не знаю, почему, но я убеждена, что у меня было много мужчин. Красавцев-блондинов, с зелеными или голубыми глазами, высоких, широкоплечих, узкобедрых... Или нет? Разве не могла я сожительствовать с прыщавым коротышкой, щуплым, с кривыми ногами и вислой задницей? Вполне могла. Мы, женщины, причудливые создания. Притягательность для нас мужчины не поддается объяснению. Как часто мы видим писанных красавиц, не сводящих влюбленных глаз со своих отвратительных мужчин с отталкивающей внешностью! В отношениях полов есть нечто загадочное, что не поддается рациональному объяснению. Но если бы еще и секс был рационален, это была бы катастрофа. Тем не менее много народу думает гениталиями. И поэтому думает плохо.

Были ли у меня дети? Надеюсь, что да. Дети мне нравятся. Интересно, нравились ли они мне раньше? Мне хотелось бы иметь детей. Материнство – главное в жизни женщины. Если бы меня осмотрел гинеколог, вероятно, я смогла бы узнать, рожала я или нет. Но я боюсь, это будет унижительно – узнать, что материнство оставило след не в моем сердце, а лишь в моей матке.

Но почему, почему я не помню ничего, кроме красок? Голубая, бирюзовая, зеленая... У меня такое ощущение, что зеленый цвет – мой любимый. Когда главврач нашел меня на шоссе, на мне была зеленая блузка, выпущенная поверх джинсовой юбки.

По тому, как я была одета, невозможно было понять, к какому

социальному слою я принадлежу. Когда-то бедняки безуспешно старались одеваться как богачи. А сейчас богатые одеваются как бедные, и это у них получается намного лучше. Говорят, такова мода. Американцы, помешанные на социальной справедливости, додумались уравнивать всех жителей планеты с помощью джинсов. Лицемерная гримаса капитализма. Так создается алиби богатым, морочащим головы бедным.

Вот и на мне была джинсовая юбка. Потому что я бедная женщина? Или богатая модница? Белье мое было самое обыкновенное. Что ни о чем не говорит. Сегодня и состоятельные женщины одеваются в обычных магазинах. Когда-то было иначе. Женщины носили корсеты, лифчики, корсажи, нижние юбки, сорочки, панталоны. Из материи, которую носила на себе одна женщина, сегодня можношить приданое для всех дочек. Тогда мамы учили дочерей расшивять вручную гладью горы полотна, вязать кружева и украшать ими платья. Существовай в те времена стриптиз, успех был бы оглушительный. Это сейчас женщине, чтобы раздеться, достаточно стянуть колготки!..

На мне не было ни колготок, ни чулок. Потому что лето. На ногах только дешевые веревочные туфли, которые носят и бедные, и богатые. Безликий наряд. Простенькая плетеная сумка. Никаких документов. Только записная книжка без адресов...

Неужели я вышла из дома без документов? Вряд ли. Женщина, которая потеряла память, вполне могла потерять и документы. И деньги. Потому что у меня не оказалось ни монетки.

Я все время изучаю себя. Потому что стараюсь понять хоть что-нибудь.

Вот, скажем, руки. Они ухоженные, с мягкой кожей. На ногтях ни следа лака. Почему-то мне кажется, я всегда ненавидела лак. Как может женщина покрывать ногти этим ужасным веществом, чтобы они становились красными, оранжевыми, фиолетовыми? Если бы я была членом правительства, я распорядилась бы красить лаком ногти исключительно вора́м, запретив им носить перчатки, чтобы их было видно издалека.

Мои руки – явно не руки крестьянки или фабричной работницы. Скорее всего, они принадлежат женщине умственного труда, чиновнице, преподавательнице, ученой. Или домашней хозяйке.

Почему нет? Со всеми этими моющими средствами, которые изобрели в последнее время, сегодня у домашних хозяек руки как у феи. Чистота стала идеей фикс современной жизни. Словно с помощью мыла можно смыть все тревоги, все отчаяние человечества. Мир катится к гибели? Неважно, лишь бы трусы оставались белоснежными. Главное – современной цивилизации удалось обеспечить нам фантастический уровень стирки! Все остальное неважно и может отойти на задний план: социальная несправедливость, расизм, репрессии, религиозные войны, нищета, голод, дети, ежедневно тысячами умирающие в слаборазвитых странах... Мир может провалиться в тартарары, только бы наши рубашки были белее белого!

Мы живем в прекрасное время. Грязи объявлена тотальная война. А то, что всем этим расчудесным моющим средствам удалось загрязнить и отравить целый мир, реки, озера, моря, холмы, леса, горы – плевать! Не говоря уже о людской совести. Чистое белье и грязная совесть. Никогда прежде не было белья столь чистого и совести столь грязной, столь зловонной.

Но что ни говори, белье пахнет чистотой и руки у домохозяек нежные и благоухающие.

Нет, что касается рук, я вполне могла бы быть домохозяйкой.

А что лицо?

Лицо женщины моего возраста.

Какого возраста?

Такого, какой мне дают.

А именно?

Главный врач полагает, что мне около пятидесяти. Чуть больше, чуть меньше.

Так, наверное, может рассуждать мужчина. Для женщины одно дело – иметь за плечами пятьдесят прожитых лет и совсем другое – еще их не иметь. Это «чуть больше, чуть меньше» главврача звучит двусмысленно и обидно.

Санитарка, слегка чокнутая блондинка, говорит, что для своих лет я выгляжу превосходно. Как она может судить, если не знает, сколько мне лет?!

Грудь. Посмотрим на грудь. Она еще упругая. Достаточно упругая. Что значит достаточно? Так себе. То есть не слишком отвисает.

Хотя уже есть немного. Немного. Разве это много? Грудь женщины моих лет. Чуть больше или чуть меньше.

В девичестве у меня была прекрасная грудь.

Откуда я могу это помнить? Все забыла, а какая была грудь, помню?

Наверное, все женщины считают, что в девичестве у них была роскошная грудь, и если бы не роды, не кормление ребенка, не тяжкий труд...

Но раз все женщины утверждают, что в девичестве у них была прекрасная грудь, значит и у меня была такая же.

Ладно, идем дальше, раз уж груди не помогают мне выйти на тропу воспоминаний.

Волосы. Они точно не крашенные. Цвет естественный. Цвет волос женщины моего возраста. Пятидесяти лет, чуть больше или чуть меньше. Может, я их не красила, а носила для разнообразия парики? Вряд ли. Парики вызывают у меня отвращение. Искусственные волосы, они как кукольные. Парики из натуральных волос – другое дело. Но я никогда бы не напаялила на себя волосы женщины, о которой ничего не знаю. Может, они принадлежали несчастной, вынужденной их отрезать, чтобы купить еды для своих детей. В некоторых странах Азии такое случается. Носить волосы, которые эта бедняга была вынуждена продать из-за голода, мне кажется аморальным. Разве в наших странах кто-то отрезает косу, чтобы продать ее? Нет, ее бережно заворачивают в бумагу и хранят в ящике комода. Достают только тогда, когда хотят показать друзьям, какие прекрасные волосы у них были в юности. «Только посмотрите, какие они были мягкие, блестящие, словно шелковые!».

Волосы можно сохранить. Грудь – нет. Их нельзя отрезать и положить в ящик, чтобы потом показывать подругам, какими они были в девичестве. Тут без формалина не обойтись.

Есть какая-то святая, ее всегда рисуют с отрезанными грудями, а груди лежат на большом блюде. Садизм католической иконографии. Восторг перед самыми ужасными муками.

Олива. Эту святую звали Святая Олива!

Боже мой, я помню даже имена святых! И не помню свое...

Зубы. Все на месте. И все мои. Хотя нет, вот два искусственных. Мост, связывающий коренной и малый коренной. По зубам можно

что-то узнать, но где найдешь того ортопеда, который ставил этот мост!

Лицо. Посмотрим на лицо. Вода и мыло, никакого макияжа. Может, я никогда им и не пользовалась. Только чуть-чуть подвести глаза. Удлинить карандашом, немного зеленой или синей тени на веки. И слегка помадой по губам. С годами губы блекнут. Вянут как цветы. С каждым днем мы понемногу умираем, а с нами и наши краски: кожа сереет, волосы седеют, глаза теряют свой блеск... Может, лет в восемнадцать я одним взглядом покоряла мужчин, но сейчас глаза помутнели, оболочка глаза потеряла свой блеск, а зрачок – свое сияние.

Была ли я красива в юности?

Я провожу целые часы перед зеркалом, стараюсь вспомнить, каким был мой взгляд, какой – улыбка...

Но мое лицо ничего мне не говорит. Оно мне близко как лицо знакомого или часто встречающегося человека, имени которого я не знаю, как не знаю ничего, что могло бы нас с ним связывать. Иногда мне кажется, что из зеркала на меня смотрит вообще чужой человек.

У меня амнезия. Лопнул какой-то едва заметный сосудик, и в мозг поступает меньше крови. Люди – совершенные механизмы, но достаточно пустяка, чтобы мы поломались. Из-за этого лопнувшего сосудика я больше не знаю, кто я такая, не нужная ни себе, ни другим.

Хотя все кругом убеждают меня, что я не права, что я могу еще приносить пользу. Кому? Кому может быть полезен человек, потерявший память?

«Вы могли бы ухаживать за пожилой женщиной...»

Но человек, забывший свое прошлое, будет забывать давать вовремя сердечные капли, таблетки от давления, мази от артроза...

Мне не нравится чувствовать себя бесполезной. И меня не утешает, что мир полон бесполезных особей, которые, тем не менее, остаются счастливыми и довольными. Вы полагаете, что если однажды исчезнут все до одного из тех, кого мы называем «высшим обществом», кто-нибудь это заметит? То же самое можно сказать о многих политиках... И о тех старых упрямяках, которые не желают принимать мир таким, каков он есть, а только и заняты тем, что критикуют его! Они не хотят признать, что мир давно принадлежит не им, а молодым, которые перекраивают его на свой вкус.

Господи, сколько среди нас бесполезного хлама, не отдающего себе отчета в том, что есть всего лишь пара причин, оправдывающих наше присутствие на этой земле: любить и быть нужным кому-то другому.

Я стараюсь занять себя делом, навещаю других пациенток, разговариваю с ними, подбадриваю, пытаюсь помочь персоналу... Но этого мало, чтобы придать смысл моей жизни. Если у меня нет воспоминаний, что я могу рассказать кому-то? Я слушаю их воспоминания. Потому что они есть у всех. Хорошие, плохие, печальные. Воспоминания о любви, об изменах, о смертях, об отчаянии и о радости. О радости реже всего. Не могу понять, почему все предпочитают воспоминания грустные. Может, потому, что они придают жизни содержательность. Когда говорят: «как вы страдали» – это все равно что сказать: «как много вы пережили».

Чем жизнь полнее трагедиями, тем она интереснее.

«Как же вы страдали, у вас была воистину героическая жизнь!»
А я? Я тоже была героиней в своей жизни?

Наверняка. Все люди, даже малоодаренные и малозаметные, являются героями в своей жизни.

Какой была моя? Романтической? Авантюрной? Или унылой? Может быть, я была охвачена любовной страстью? Или кровосмесительной любовью, положим, к сыну моего мужа или к моему отцу, или к моему брату... упав ничком на кровать и безутешно рыдая, кусая подушку и страдая от того, что моя любовная мечта абсурдна и несбыточна?..

Нет, любовь не бывает абсурдной. Даже если ты любишь женатого мужчину, у которого жена-паралитичка и выводок малолетних детей... или высокопоставленного прелата... или мужа своей сестры... всегда найдешь возможность заняться любовью с любимым мужчиной. Не сможешь жить с ним? Это еще лучше. Совместная жизнь съедает самые сильные чувства. Чтобы придать жизни смысл – достаточно часа счастья. Настоящего, полного, волшебного часа счастья, разделенного с любимым человеком. Может быть, больше и не надо, чтобы сохранить свои иллюзии.

Мамма миа, как я цинична! С другой стороны, если женщина в пятьдесят лет, чуть больше или чуть меньше, остается сентиментальной, то она просто дура.

Хотя вряд ли в моей жизни действительно была кровосмесительная любовь.

С потерей памяти я чувствую себя непорочной, свободной, почти воздушной. Поскольку нет воспоминаний – нет и угрызений совести, нет ни тревог, ни сожалений. Я ощущаю себя девочкой, жизнь которой только-только начинается.

Но порой я чувствую внутри такую пустоту, что хочется выть от отчаяния.

Не знаю, на что я готова ради воспоминания. Хотя бы одного-единственного. Неважно какого, пусть самого ужасного, самого отвратительного, зато моего и только моего. Мне бы хватило одного, чтобы заполнить пустоту. Хотя после одного воспоминания мне наверняка захочется следующего, потом еще и еще, чтобы узнать все, что случилось в моей жизни. Я не могу дальше выносить этого существования, в котором нет детства, нет юности, нет радостей, нет горестей. Мне мало только красок. Что мне делать с этими красками?

В этих стенах я единственная, у кого отсутствуют воспоминания.

«Так не может быть, синьора, чтобы вы вообще ничего не помнили!..»

Может. Я правда ничего не помню. Кроме того, что сидела на раскладном стульчике в тот момент, когда передо мной остановился огромный автомобиль. С этого момента начинается моя жизнь.

А что, если это мой муж высадил меня на обочине шоссе?

«Выходи, мое сокровище, через полчаса я вернусь за тобой. Я захватил стульчик, садись и дыши свежим воздухом».

«А ты куда собрался?»

«Туда, где тебе будет скучно. У меня деловая встреча. Ну, выходи же».

Вот так все было. Именно так. А я, кретинка, его послушалась. С какой стати?

А с той, что любящая женщина всегда делает то, что говорит ей любимый мужчина.

Он нажал на акселератор и исчез.

А потом наступила ночь, а он все еще не возвращался, и я очень испугалась. На рассвете я все еще была там, рыдая и моля о помощи.

Но машины пролетали мимо, не обращая на меня внимания. Никто меня не замечал. А если и замечал, то делал вид, что не замечает.

Люди стали настолько равнодушны, настолько безразличны ко всему. Это подтвердила доктор-блондинка: человек может биться в агонии среди бела дня на тротуаре центральной улицы, и никто не озаботится его состоянием. Людские сердца очерствели. Мы обращаем внимание только на то, что нам интересно. Ну не мерзость ли!

Почему мой муж оставил меня на шоссе? Может быть, я для него перестала существовать, потому что больше ничего не могла дать ему? И как результат той ужасной ночи, когда он не вернулся, со мной случился нервный шок, и я потеряла память?

Как бы мне хотелось знать, почему на самом деле он так поступил со мной? Я ему надоела? Он нашел себе другую, моложе? Мужики так устроены, когда они чувствуют приближение старости, обманывают себя тем, что могут вернуть молодость в объятьях девчонок. Но девчонкам старики очень быстро надоедают, и рано или поздно они бросаются в объятья парней своего возраста. Скоро и мой муженек останется один. И без нее, и без меня. И поделом ему!

«Выходи, мое сокровище, я скоро вернусь за тобой. А пока подыши свежим воздухом».

Как ему удалось уговорить меня? Кажется, я не из тех, кто легко поддается уговорам. Видно, мне и в голову не могло прийти, что он действительно хочет избавиться от меня. Я верила ему, потому что очень любила.

Любовь – самое дурацкое из чувств.

«Ты правда не хочешь, чтобы я дальше ехала с тобой?»

И в эту минуту он нажал на газ, так что только его и видели.

Негодяй! Такой же, как те, кто, желая избавиться от кошки или собаки, делившей жизнь с ними и их детьми, выбрасывают животное из окна автомобиля и уезжают. А несчастная тварь, воспринимая это как очередную игру, несется вслед за машиной и в девяноста случаях из ста гибнет под колесами автомобилей.

Я не погибла. Под колесами автомобиля. Я сидела на стульчике на обочине и этим спаслась. Я не животное, которое живет только инстинктами, у меня есть мозги, я ими соображаю и понимаю, что мой муж бросил меня.

Подумать только! Я любила его, дарила ему свою нежность, со-

держала в порядке дом, гладила его рубашки, готовила разную вкуснятину, поскольку он был гурман!

«Сделай мне курицу с ростками бамбука... – говорил он, – приготовь на ужин кролика в горчичном соусе... испеки творожный пирог...»

И я делала, готовила, сбивая, нарезаая, помешивая, жаря...

«Надо пригласить моего шефа. Он вхож к важным людям и обещал посодействовать моей карьере. Если он захочет поухаживать за тобой, позволь ему это...»

И я танцевала с этим монстром с потными ладонями, позволяла ему обнимать себя короткими жирными ручками, терпела его влажную щеку на моей щеке. Все ради того, чтобы доставить удовольствие моему мужу, помочь его карьере... Потому что мужчины хуже детей. Если они чего-то хотят – вынь им и положи. А после всего этого они бросают вас на шоссе.

«Куда мы поедем?»

«На уик-энд».

Ну да, сейчас мода на уик-энды. Их изобрели американцы или англичане? Я не знаю, но именно в американских фильмах он и она знакомятся на уик-энде, влюбляются на уик-энде и кончают с собой во время уик-энда. В каком-нибудь мотеле.

Убогая фантазия у глупых авторов этих глупых фильмов. Разумеется, в Америке есть и умные люди, но в массе своей американцы невежественны. Пациентка из одиннадцатой палаты заработала нервное истощение как раз из-за того, что два года жила в небольшом провинциальном городке Соединенных Штатов. Там никто ничего не читал. За два года синьора из палаты номер одиннадцать видела только одну книгу – Библию. Но и из нее они читают пару абзацев во время воскресной мессы в церкви и все. Как-то она взяла Библию в руки, полистать, и одна пожилая женщина спросила: «у этой книги счастливый конец?»

Мы тоже научились ездить на уик-энд как американцы. С тем результатом, что мужчина – мой муж – бросает свою жену – меня – на обочине шоссе, где она – я – могла бы умереть с голоду, не сломайся мотор у автомобиля главврача психиатрической лечебницы.

Если только он – муж – не собирался приехать за мной, но не сумел, поскольку стал жертвой дорожной аварии... Возможно та-

кое? Вполне возможно! В него врезался какой-нибудь кретин на угнанной машине, и он оказался беспомощным, зажатый искореженным металлом. Не исключено, что его даже извлекли оттуда еще живым, и он пытался говорить... произнести мое имя... и не смог. И умер в отчаянии, что не успел вернуться за мной, и в страхе, что я так и буду сидеть в ожидании его до конца своих дней. Он любил меня, мой бедный Витторио...

Витторио?! Я сказала: Витторио?! Ну да, я была замужем за человеком, которого звали Витторио. И я была счастлива с ним. Так счастлива, что постоянно говорила ему: «Мы слишком счастливы, Витторио, я молю Бога, чтобы не случилось того, что разрушит наше счастье»...

В тот вечер у меня было тяжелое предчувствие, и я сказала ему, что будет лучше остаться дома, а он рассмеялся и ответил, что глоток свежего воздуха пойдет мне на пользу.

Быстро стемнело... опустился легкий туман... машины ехали с зажженными фарами... шоссе освещалось лучами фар, бегущими по асфальту. Было очень много машин... Я сидела и смотрела на них...

Когда же он высадил меня из машины?

Когда, Витторио?.. Витторио? Кто такой Витторио? Мой муж? У меня был муж, которого звали Витторио?

Витторио? Витторио.

Какой еще Витторио?

Мне кажется, я никогда не жила с человеком по имени Витторио. Больше того, я вообще не помню, чтобы я жила с каким-то мужчиной. Я ничего не могу с этим поделать, не помню и точка.

Ну да, это тот самый Витторио, который...

Нет, в моей жизни не было никакого Витторио.

Тогда кто же бросил меня на шоссе?.. Кто это был? Не знаю. Не помню. Я ничего не помню. Я изо всех сил пытаюсь поймать хотя бы лоскуток, хотя бы тень воспоминания... Ничего.

Витторио?

Ни Виттторио, ни Джакомо, ни Леопольдо, ни Джульельмо. Никто.

Это моя проклятая фантазия скачет в вакууме в поисках воспоминаний. А поскольку не находит – придумывает их.

И это воспоминания не подлинные, а придуманные.

Истина в том, что у меня нет воспоминаний.

Мне нужно быть очень внимательной, чтобы не пытаться сочинить их себе.

Сколько людей, в конце концов, верят фальшивым воспоминаниям! Уговаривают себя, что они настоящие, и вцепляются в них зубами и ногтями!

Точно как я, желая убедить себя в том, что у меня был муж по имени Витторио.

Мы все лгуны? Вовсе нет. Ну какие мы лгуны? Даже когда принимаемся выдумывать себе воспоминания и затем продолжаем повторять их, уверяя себя, что они подлинные, мы не лгуны. Мы фантазеры, населившие свой мозг событиями, которых на самом деле не было. Например, есть мужчины, которые в юности, с тем, чтобы преодолеть робость перед слабым полом, придумывают себе несуществующие похождения. А со временем привязываются к этим историям, добавляя в них подробности, чтобы они звучали достовернее. Мужчины так здорово приучаются рассказывать эти выдуманные истории, что уже и сами верят в то, что это когда-то случилось в их жизни.

Так фальшивое воспоминание становится более подлинным, чем реальное. Больше того. Тогда как некоторые реальные события, редко извлекаемые из памяти, выцветают до такой степени, что полностью исчезают, выдуманные – обретают такую достоверность, что полностью занимают место истинных.

Откуда я знаю подобные вещи? Из собственного опыта. Я женщина пятидесяти лет, чуть больше или чуть меньше, хотя и потеряла собственные воспоминания, не забыла своего жизненного опыта.

Но, кажется, у меня слишком буйная фантазия, стоит попридержать ее.

Витторио никогда не существовал. Это ложное воспоминание.

А что если у меня все-таки был муж, которого звали Витторио? И если этот муж действительно бросил меня на обочине шоссе?

Но почему это обязательно должен быть муж? Это мог быть сын... кузен... могла быть сестра... монахиня...

Монахиня? А почему не монахиня?

Среди них есть ужасные особы, вполне способные избавиться

от синьор, которые у них на попечении. Возможно, оставляя их на обочине дорог. Такое случается. Я читала об этом в какой-то газете.

Нет, неправда. Я никогда не читала ничего подобного.

В таком случае – бандиты. Которые похищают людей, а потом требуют выкуп. Они меня украли и оставили ждать на автостраде, а их схватила полиция. А я была в таком шоке от похищения, что потеряла память. А перед этим могла провести месяцы или годы одна в пещере, со связанными руками и ногами, с повязкой на глазах...

Однако ни на запястьях, ни на щиколотках нет синяков.

Значит они просто надели мне на голову мешок. И постоянно угрожали убить меня. И со страху...

Опять у меня разыгралось воображение.

Главврач сказал мне, чтобы я была внимательна к снам. Не исключено, что один из них даст какую-то подсказку, отталкиваясь от нее, я вспомню все о моей жизни.

Я спросила его: какие сны, черно-белые или цветные?

Цветные, ответил он, краски для вас все.

Первый сон, который я рассказала главврачу, был неприятный. Мне приснился мужик с густыми черными усами и такими широкими плечами, что я никак не могла подобрать ему пиджак. Меня это встревожило. Главный врач так прочитал мой сон: даже не просыпаясь, я брожу в поисках самоидентификации.

Потом мне приснилось, что я в Индии с заклинателем змей, и мы с ним скачем на верблюде...

А самый постоянный мой сон – как я безуспешно пытаюсь вспомнить мое прошлое.

Ладно, оставим сны в покое.

Итак, никакого Витторио, никаких бандитов, единственная реальная вещь – это раскладной стульчик, на котором я сидела. Где я могла взять его? Их продают с грузовика, стоящего у поворота шоссе. Люди покупают их, кладут в багажник машины и чаще всего о них забывают.

Потому что не я одна страдаю амнезией. В их случае это – мини-амнезия. Одно дело – забыть о стульчике, о дне рождения тети Маргариты или о том, как звали одноклассницу с косичками, что вышла замуж за соседа. И совсем другое – забыть собственную жизнь.

Учитывая, что я не помню никого из тех, кто жил со мною бок о

бок, посмотрим, не помню ли я какие-нибудь вещи, к которым была особенно привязана. Расческа... маникюрные ножницы... шкатулка для лекарств... лампа... кресло...

Ноль. Абсолютный ноль.

А ведь у меня же был дом. Как у всех. Каким он был? Хотелось бы, чтобы небольшим, уютным, полным книг и воспоминаний...

Воспоминаний о чем?

О путешествиях, допустим.

Я, конечно, куда-то ездила. Вряд ли я провела всю жизнь безвылазно в маленьком городке. Или в деревне. Это было бы ужасно. В тысячу раз лучше не иметь никаких воспоминаний, чем помнить о том, что была домашней хозяйкой в деревне, пекущей пироги и сыплющей корм курицам и уткам.

А собственно, почему? Разве так уж плохо жить в деревне? Спокойная, размеренная жизнь на природе. Лучше иметь маленький домик с окнами в сад, чем большой, забитый всякой ерундой. Один мой друг коллекционирует ремесленные керамические вазочки, он покупает во всех странах мира. В Испании, в Конго, в Таиланде, в Бразилии. Все вазочки похожи друг на друга: терракотовый цвет, красное окаймление и синий орнамент. Одна и та же форма, один и тот же тип, один и тот же рисунок.

О чем это говорит?

О том, что ремесло одинаково по всему свету.

У меня есть друг, который коллекционирует вазочки?! Откуда я это взяла? Может, об этом рассказывала синьора с нервным истощением?

Я с такой жадностью отношусь к воспоминаниям, что краду их у всех кряду. Я воровка. Воровка воспоминаний.

Может, было бы лучше, если бы я умерла.

Интересно, что бы написали на моей могиле? «Здесь покоится Неизвестная женщина». Или еще смешнее: «Здесь покоится женщина пятидесяти лет, чуть больше или чуть меньше, умершая идиоткой».

А какой памятник поставили бы? Такой же, как Неизвестному солдату?

Боже, что за чушь я несу!

Говорю, говорю, говорю без конца, но так ни на йоту не приближаясь к тому, чтобы узнать, кто я, кем я была.

Может быть, учительницей?

Вряд ли, для учительницы у меня мало терпения.

Адвокатом?

Тоже вряд ли. Я робкая и не умею выступать на публике.

Профсоюзным функционером? Агентом бюро путешествий?
Секретаршей на предприятии?

Ладно, оставим и эту тему. Единственное, о чем я могу судить с уверенностью, что я не Красная Шапочка и не встретила на своем пути злого Серого волка. Или встретила? Кто-то же бросил меня на обочине шоссе! Или держал в пещере...

Все. Хватит фантазий.

Я постоянно размышляю над самыми разными фактами в надежде, что вдруг мелькнувшая мысль подаст мне намек на какие-то связи с прошлым. Увы, никакого результата.

Я знаю только, что я не из буржуазок, у меня не буржуазный менталитет. Я легко ориентируюсь в проблемах современности и понимаю логику молодых.

Господи, одного-единственного воспоминания мне было бы достаточно, чтобы проникнуть в собственную тайну. Потянуть за него, как за кончик нити, и осторожно размотать весь клубок, нигде не порвав...

Я что-то говорила о доме?..

Да. Каким он мог быть?

Мне хотелось бы иметь собственный дом. Спокойное и уютное место, пристанище, где можно укрыться, готовить еду, отдыхать, читать в окружении дорогих людей. Большой дом, где у каждого была бы своя зона свободы.

Мне не хотелось бы быть хозяйкой огромной квартиры, обставленной модным дизайнером, лишенной индивидуальности, где каждая вещь хотя и размещена со вкусом, но чужая. Дом есть дом, и когда человек обживает его сам, понемногу, дом становится его домом. Еще лучше, если бы он представлял собой одну-единственную огромную комнату, полную книг и картин, с балконом, открывающимся в сад.

У синьоры из одиннадцатой палаты, этой старой карги, целый дворец, стены которого увешаны портретами ее предков.

«Мой род насчитывает больше тысячи лет», любит похвастаться она.

У каждой семьи тысячелетняя история. Только простые люди не помнят ее, зная, да и то не всегда, лишь своих дедушек и бабушек.

О чем это я? О чем я говорила?

С годами память слабеет. Атеросклероз. Достаточно маленького сбоя, и уже не помнишь, о чем шла речь. Надо чего-нибудь попить для укрепления памяти...

Для укрепления памяти? А что укреплять, если я ее всю потеряла!

А, вспомнила... Я говорила о синьоре из одиннадцатой палаты, владелице огромного дворца в двадцать комнат, в котором она чувствует себя одинокой и потерянной, умирая в нем от тоски. Вот почему она частенько ложится в эту клинику. Чтобы развеяться. Ей бы приютить в своем дворце несколько семей из бараков – она бы враз забыла об одиночестве. У нее была бы большая компания. Молодежь, старики, мужчины, женщины. А главное – детишки, которые скакали бы от радости на креслах и диванах в заляпанных грязью башмаках или раскачивались бы на гигантских дворцовых люстрах как на качелях. И она умерла бы от инфаркта, увидев, как мальчишка грохнулся на пол вместе с люстрой. Инфаркт не от того, что она переживала бы за мальчишку, а оттого что люстра разбилась вдребезги.

Это была бы красивая смерть. Потому что она ушла бы без страданий. А в мире стало бы одним бесполезным человеком меньше.

Я везучая. У меня ничего нет. Халат на мне и ночная рубашка принадлежат клинике. Даже расческа и щетка для волос не мои, они предоставлены мне клиникой во временное пользование. Как и мыльница. Мыло можно считать моим, поскольку я имею право использовать его до конца. Единственная вещь, принадлежащая мне, – зубная щетка. Мне подарил ее главврач. Я капиталистка или нет?..

Как бы то ни было, когда ты не владеешь ничем, кроме зубной щетки, ты себя прекрасно чувствуешь. Ты как бы пребываешь в естественном состоянии, в каком пребывал первый человек.

У меня в собственности нет даже ни единого воспоминания. Что ж, придется с этим смириться. Со временем у меня появятся новые воспоминания. Я просто обязана сотворить их сама себе. Невыносимо не иметь воспоминаний. Без них мои ночи превратились в кошмар. Я кладу голову на подушку, закрываю глаза и начинаю

вспоминать, что со мной приключилось сегодня днем, затем перехожу к дню вчерашнему, иду все дальше и дальше, пока все не заканчивается моей встречей с главным врачом на дорожной обочине.

Будет ужасно, если у меня так и не появится других воспоминаний.

Если бы на меня вдруг набросился некто и попытался задушить меня, а мне удалось бы вырваться, я запомнила бы нападавшего, и у меня появилось бы воспоминание.

Так что же, я должна пожелать, чтобы на меня напали, чтобы его обрести? Глупости.

Не будем отчаиваться. Я всегда могу придумать себе воспоминания. Тем более, что в моем возрасте, в пятьдесят, чуть больше или чуть меньше, мозги уже не так сопротивляются, когда ты навязываешь им ложные воспоминания. Я их сочиню такими, какими мне понравятся. Я придумаю, что у меня была необычная, богатая страстями жизнь, какой не было ни у одной женщины на свете. Жизнь, наполненная радостью, успехами, без страданий и тоски, без малейших сожалений и раскаяний.

Я придумаю, как была любима и желанна, как путешествовала и видела красивейшие уголки мира, как мне дарили чудесные вещи, о которых мечтают все женщины.

Я могу еще полюбить. И могу еще быть любимой. Разве нет? Больше, чем обрести память, я хотела бы обрести мужчину, который будет нежен со мной, будет ласково перебирать мои волосы и, обнимая меня, будет уверять, что очень меня любит. Видеть его лицо рядом с моим, когда просыпаешься утром, а ночью слышать его дыхание... гладить его тело, отдыхающее возле меня... не только от самого любовного акта, но и от всех деликатных трепетных проявлений любви...

Что я могу знать о любви, если ничего не помню?

Любая женщина, даже потерявшая память, знает, что такое любовь. Ее инстинкт подсказывает. Как мне хотелось бы, чтобы эта женщина без прошлого обрела в будущем хотя бы немного любви!

Я смотрю на себя в зеркало... вижу свое бледное, без макияжа, лицо... вижу глаза, исполненные печали... печали, но не отчаяния... потому что, несмотря ни на что, я остаюсь оптимисткой.

Я верю в жизнь. И я не сдаюсь. Во мне горит страстное желание

жить. Ведь жизнь не кончается в пятьдесят, чуть больше или чуть меньше. Если доверять линии жизни на моей ладони, мне предстоит долго жить. Она начинается здесь, между большим и указательным пальцами и тянется до самого запястья. Выходит, я могу дожить до ста лет.

Здесь, на ладони, записано все, что случится и уже случилось со мной в течение жизни. Если бы я только умела толковать эти знаки, я бы узнала свое прошлое... Все эти кресты, звезды, впадины и выпуклости несут в себе конкретный смысл. Хиромантка могла бы сказать: «Вот в этой точке вашей жизни, когда вам было двадцать лет, вы были бесконечно счастливы, вы любили и были любимы». «И как долго это длилось?»

Какая разница? Что значит время? Год, час – одно и то же. Что имеет значение, так это интенсивность чувства. Всего один час счастья может наполнить смыслом все ваше существование... Ах, если бы у меня было такое воспоминание!..

Я ничего не понимаю в хиромантии, но вот в этой точке моей линии жизни, должно быть, случилось что-то важное. Все остальные линии встречаются, пересекаются, сливаются в ней. Точка важной встречи, напряженного трафика. Может, это фиксация того момента, когда меня нашли на обочине шоссе сидящей на стульчике в двух шагах от проносающегося мимо автомобильного стада...

В конце концов, мне доставляет страдание не столько амнезия, сколько безмерная эмоциональная пустота. Я чувствую себя бесконечно одинокой. Наверное, у меня не было привычки к одиночеству.

Скорее всего, я была матерью большой семьи и жила вместе с детьми в доме, наполненном голосами и звуками. У меня было полно забот, но я забывала о них ради своих детей. Присутствие детей делает твою жизнь насыщенной. Дети – это молодость, которая распахивает твою дверь и врывается в твой дом подобно порыву ветра. Я лучилась счастьем, когда они были рядом. И не находила себе места от беспокойства, когда они уходили, особенно по вечерам. Разве может быть спокойна мать, когда в мире столько насилия? Мне иногда виделся мой сын, лежащий на земле, жестоко избиваемый, истекающий кровью...

«Оставьте его в покое! Не трогайте его! Он вам ничего не сделал!»

Зачем столько насилия? Насилие подло, отвратительно.

«Послушайте меня, дети, вы не должны ни проявлять насилия, ни подвергаться ему, потому что...»

Интересно, говорила ли я такие слова своим детям? И были ли у меня дети? Да-да, что-то от материнства во мне осталось. Я правда жила в доме, полном голосов и звуков... Иначе, чем объяснить то, что я не люблю тишины и не выношу одиночества?

Я хотела завести собаку, просто подобрать на улице, одну из тех брошенных, что встречаешь на дороге, и они умоляюще смотрят на тебя. Главврач не разрешил. Если каждый пациент заведет себе животное, сказал он, клиника превратится в зоопарк.

Зато у меня появилась подружка, маленькая пичуга, она каждое утро прилетает и стучит в мое окно. Я насыпаю ей на подоконник хлебные крошки, она осторожно подсакивает и торопливо склевывает их, не упуская меня из виду. А я прячусь за занавеску, чтобы не спугнуть ее. Я смотрю на нее с любовью и тещу себя надеждой, что со временем она перестанет меня бояться и позволит мне быть ближе к ней.

Хотя вряд ли подобное случится. Птицы и звери боятся людей, потому что в течение многих веков человек приносил им только зло.

Я, как эта птичка, тоже боюсь людей, потому что из-за их подлости оказалась в таком состоянии. Я потеряла память от потрясения. Или из чувства самосохранения. Заставив себя забыть то, что случилось.

Неужели меня никто не ищет? Объявление в газете с моей фотографией... обращение по радио... заявление в полицию о моем исчезновении... Ничего. Такое впечатление, что никто не озабочен моей пропажей. Много людей пропадает, но с моими физическими данными, с моим цветом волос, с моим ростом... Ни одной пропавшей женщины в возрасте пятидесяти, чуть больше или чуть меньше. Никто меня не ищет. Я одинокая женщина. Кто будет озабочен пропажей одинокой женщины? Лавочники, которые продавали мне хлеб, мясо или сыр? Тысячи людей пропадают ежегодно. Исчезают, и никто ничего о них не знает. Их вычеркивают из жизни.

Но я не впадаю в отчаяние. Я не пролила ни одной слезинки. У меня всегда сухие глаза. Я упрямо держу себя в руках. Но дни проходят, а моя проблема не решается и надежда ослабевает.

Я спросила главврача, может ли память неожиданно вернуться. «Может. Такое бывало».

«А если память так и не возвращается, что делает человек?»

«Как правило, кончат дни в клинике».

Это мой удел.

Но это не может так больше продолжаться! Даже самый жестокий муж должен был заявить о моем исчезновении в полицию. Или сын. Если только они не сговорились поделить между собой мои деньги. Я ведь явно не простого происхождения. Во мне есть культура, есть понимание жизни...

А может, у меня не было ни мужа, ни детей, и это племянник захотел избавиться от тетки? Я растила его с такой любовью, когда он остался сиротой... маленький, белобрысый, похожий на цыпленка. Он жил со мной, пока не познакомился с девушкой, очень симпатичной, с веснушками, коротко стриженной, чуть курносой...

Хватит! Хватит! Хватит! Все это выдумки! Я не должна ничего придумывать. Я должна терпеть эту пустоту, что у меня внутри, принять ее, привыкнуть к ней. Хоть это нелегко.

Почему я так разволновалась?

Я не знаю, кто я, откуда и куда иду. У меня нет ни имени, ни адреса.

Ну и что? Разве тот факт, что женщину зовут Мариэтта Бьянки или Марчелла Росси что-то меняет? Главное, что никто не знает, с какой целью она появилась на этом свете.

Допустим, меня зовут Джульетта Пульетти из Доминедо... или Эльвира Салати из Корнаккини... О чем говорят их имена? Изменится ли роза, если назвать ее другим именем, как спрашивал Шекспир? Значение имеют не имена, а чувства, мысли, поступки.

Я свободна быть тем, кем хочу. У меня нет воспоминаний? И не надо, так еще лучше! Даже самые прекрасные воспоминания бесполезны, если ты не можешь вновь пережить то, о чем они.

На этой земле мы пилигримы, мы проходим, мы можем быть полезны, но мы никому не нужны. Неизвестно, для чего мы появились на этот свет и когда уйдем без следа.

Кто жил в этой комнате тридцать лет назад? А двадцать лет назад? А год назад? А передо мной?

Я спрашивала, и мне отвечали:

«Какая-то пожилая синьора».

«Как ее звали?»

«Как звали?.. Мы уж и забыли».

Забыли, потому что имя не играет никакой роли. Я страдаю потерей памяти, но и другие, знаете ли, ею не блещут. Нет, конечно, можно помнить имена исторических персонажей, великих артистов, знаменитых художников. Но как долго? Несколько веков. Даже несколько тысячелетий. А потом все равно их забываешь. Как звали архитекторов, построивших греческие храмы? Авторов многочисленных римских скульптур? Всем на это плевать. Людям намного интереснее знать, что я делала, сидя на раскладном стульчике на обочине шоссе.

А что, это, действительно, так важно? Вот вы, синьора, что вы делаете, сидя под колпаком фена в парикмахерской после того, как вам покрасили ваши седины?

А вы, барышня в рюшечках, когда усаживаетесь за карточный стол?

А вы, зажигающая с трибуны толпу заготовленными фразами и обещаниями, которые ими и останутся?

Знаете ли вы все, что творите, кто вы такие, откуда пришли и куда уйдете?..

Господи, до чего мне хотелось бы узнать, как меня зовут!

Я больше не могу пытаться себя, стараясь что-то припомнить! У меня уже голова раскалывается. Может быть, я забыла свое имя из протеста... чтобы не вспоминать... чтобы не быть обязанной вспоминать что-то...

Вспоминать что?

Девочку во всем белом, которую родители по воскресеньям водили гулять в парк?.. У девочки мечтательные глаза, она еще доверяет миру, любит цветы, музыку, краски... верит в гуманизм и его ценности... верит в то, что все ее любят... в то, что существует всеобщая любовь...

Эта девочка – я? Помню ли я, как была той девочкой?

Все девочки были, есть и пребудут наивны и доверчивы. А потом вырастают и страдают.

Ведь я тоже была влюблена в улыбчивого мужчину с живыми глазами и сильными руками...

Нет, не хочу вспоминать. Я устраиваю себя такой, какая я есть. Никаких воспоминаний! Меня зовут Джузеппина Феррагатти. Пятьдесят лет. Не замужем. Да? Да.

Джузеппина Феррагатти, девица, никогда не бывшая замужем. У меня есть имя и фамилия, я знаю, сколько мне лет, и я знаю все о себе и своей жизни.

Для того, чтобы жить, надо обязательно иметь имя? Пожалуйста. Джузеппина Феррагатти. Почему нет? Имя как имя. Джузеппина Феррагатти.

Джузеппина Феррагатти, что ты делала на обочине шоссе?

Смотрела на машины. Разноцветные машины, которые проносились мимо меня по серо-голубому асфальту на фоне полей со спелой пшеницей с пятнами красных маков. И темными пятнами деревьев, а надо всем этим голубое небо... Краски. Буйство красок.

Краски – это воспоминания, которые не доставляют боли.

А я не хочу боли.

Я слишком часто ее испытывала.

Так мне кажется.

Я устала, я хочу спать.

На мне была зеленая блузка и юбка из джинсовой ткани. А на шее – бусы из красных камешков. Теперь их нет. Я их потеряла. Как память. Жаль. Это были красивые бусы. Куда они запропастились? Они, действительно, были на мне?

Извините, вы не видели бусы из красных камешков?

Нет, но я видел женщину, сидевшую на раскладном стульчике, которая кого-то ждала на обочине автострады.

Кого она ждала?

Я не знаю.

Что она ждала?

И этого я тоже не знаю.

Может, это была девица Джузеппина Феррагатто?

Может, и она, девица Джузеппина Феррагатто.

Может, она просто ждала, когда пройдет и закончится жизнь?

Может быть. Она выглядела очень спокойной, как человек, который знает, что жизнь однажды закончится. Моя тоже когда-то закончится.

Да. И ваша тоже закончится. И моя.

Как скоро?

Кто знает!

Вам сколько лет?

Пятьдесят. Чуть больше или чуть меньше.

Чуть больше чуть меньше чуть больше чуть меньше чуть больше чуть меньше...

На обочине шоссе... на раскладном стульчике... среди буйства красок... желтой, зеленой, голубой, оранжевой, синей...

Краски... краски... воспоминания... краски... воспоминания...

Воспоминания?! Какие воспоминания?

Воспоминания... воспоминания... воспоминания...

Наталья РЕЗНИК

ОДНОСТИШИЯ, МНОГОСТИШИЯ И ПРОЗА

Пишу роман. За деньги перестану.

Сосед – собака и, что странно, сука!

Детям – цветы, а бабам – как обычно.

Муму всплывет, Герасим, вот увидишь!

Беременеть старалась непорочно.

Брак по расчету: взяли за полтинник.

Куда уехал цирк? Где депутаты?

Мне двадцать семь! (плюс 20 минус 8)

Желаю... У-у! Да вам уже желали...

Вампиры обнаглели: просят закусь.

Проснулись утром. Глядь – кровать украли!

Мы с мужем записались в феминистки.

...но и постель не место для дискуссий...

Кормящим матерям на водку скидка.

Обидно: импотент в командировке.

За миллион продать бы Перельмана...
Ни дня без строчки в петербургском лифте...
Мы с вами под забором не встречались?
Дешевые духи! Придется выпить.
Скорей бы старость, смерть, а там посмотрим...
Бордель закрыт в субботу. Все кошерно.
И принц в двенадцать превратился в тыкву!
Не выспаться никак во время секса.
«Война и мир» полгода не кончалась...
По-моему, у вас украли совесть.
Опять голосовали мимо урны...

Меланхолическое

Милая сторонка,
Лужа у дверей...
Как сказать ребенку,
Что и он еврей?..

Воспоминание

Мы спирт разбавили компотом,
Что приготовлен был заранее.
...Как жаль, что этим эпизодом
Кончается воспоминание.

Собственно говоря...

Собственно говоря,
Если б были культурней,
Жизнь прошла бы не зря,
А пропала бы втуне.

О русской женщине

Проснулась как-то баба Ната,
Глядит: ужасная фигня!
Враги сожгли родную хату,
Угнали старого коня.

И воеет Ната, как белуга,
И как же бабе слез не лить!
Куда войти в часы досуга?
Что на скаку остановить?

Женское эротическое

Готовим, гладим, вяжем, шьем,
Но все напрасный труд.
Мы почему-то им даем.
Они же нас берут.

«Где унижения края?»
Шепча в ночную тьму,
Решила: буду я не я,
Но я сама возьму!

Брала, брала до искр из глаз,
С ладонями в поту.
Брала за каждую из нас,
За общую мечту.

В конце, ночам утратив счет,
Затихла на краю.
И слышу: «Ну, давай еще!»
...Теперь опять даю.

Склероз

Я помню: все чего-то ищут.
Не победил меня склероз.
Врач-дерматолог ищет прыщик,
Врач-лор разыскивает нос.

Развратник ищет гонорею,
Суворов – крепость Измаил.
А русский – в поисках еврея,
Который бы его споил.

Емеля вдруг отыщет щуку.
Военкомат найдет дурак.
И лишь одно в ужасных муках
Припомнить не могу никак.

Не вспомнить. Хоть бери уроки,
Хоть колотись об стенку лбом.
Что ищет парус одинокий
В тумане моря голубом?

Ностальгическое

Десятый класс, а ты и в ус не дуешь.
Целуешься и пьешь, когда нальют.
В семнадцать лет и жабу поцелуешь,
Чтоб быть, как все. Иначе засмеют.

Уже и бюсту тесно в школьной форме,
И макияж заметен за версту.
Нас очень плохо и невкусно кормят,

Но я, как все, стремительно расту.

Портвейн не иссякает тридцать третий,
Бутылочку вращают день за днем.
И хмурит брови Энгельс на портрете,
Поскольку знает: мысли не о нем.

...

Черт, все проходит! Возвратить хотя бы
Минуту, миг у времени сорвать.
Но скоро снова поцелуешь жабу,
Коль жаба даст себя поцеловать.

Рыбалка

Случайно познакомились в торговом центре с супружеской парой средних лет. Они недавно переехали в Колорадо из Калифорнии. Работают в этом же торговом центре, она – в магазине, он – охранником. Ей в Колорадо не нравится – скучно. Он спрашивает:

- Ребята, а что вообще здесь можно поделывать? Пойти куда-нибудь?
- А вы в горы ездили?
- В горы? А что там?
- Красиво.
- За красотой в горы ехать?!
- Ну, вы можете съездить в Колорадо-Спрингс, там тоже много красивых мест. Сад Богов, например.
- Да что я, один поеду?
- Почему один? С женой.
- С женой? Да с ней скучно. А еще что есть?
- А вы в университете были?
- Да, был, конечно! Мимо проезжал раз.
- Ну... здесь театр есть.
- Не, ребята, в театры я не ходок.
- Музеи...
- Да что я, музеев не видал!
- А что вы любите?

– Что люблю? Ну, рыбалку.

– Но мы про рыбалку ничего не знаем, ничем вам помочь не можем.– Да на что мне ваша помощь с рыбалкой! Я про рыбалку и сам тут уже все знаю. А вот делать в вашем Колорадо нечего.

Так и разошлись.

Господа и госпожи

Почему-то продавец в русском магазине обращается к покупателям именно так: «господин» или «госпожа». Например:

– Вам что, господин?

Или:

– Берите, госпожа, сало! Свежайшее. Сам я сала не ем, но другие господа говорили...

Сначала я от такого обращения вздрагивала, а потом привыкла. Главное – понять, что продавец всего лишь пытается казаться культурным. А что же в этом плохого? Наоборот, приятно видеть, как люди тянутся к культуре. Каждый по-своему. Тяга к культуре наблюдается и в манере составления ценников. Например, на ценнике пишут не «киевская колбаса», а «колбаса из города-героя Киева». Знают, что Киев город-герой, а знания прятать ни к чему. Над фисташками написано «писташки». Тоже культурно, на английский манер, то есть почти *pistachios*. Мой муж, прочитав «писташки», обратился к продавцу:

– У вас ошибка в ценнике. Это слово пишется через букву “д”.

Думаю, исправят.

Тупые американцы

То, что американцы тупые и серые, известно всем и каждому. Серость их проверяется легко: «Драйзера читали? Нет?! Кошмар!» Тем, что они читали в те времена, когда мы читали Драйзера, обычно никто не интересуется. Опять же, всем известно, что американцы не просто необразованные, а необразованные по сравнению с нами. Мы все, в отличие от американцев, очень умные и образованные. Чтобы в этом убедиться, достаточно прийти на концерт Вилли Токарева или Александра Малинина в Денвере и послушать разговоры в фойе.

– Ты не знаешь, Израиль где находится, в Африке или в Азии? Вчера глядела, глядела на эту их карту – ничего не разобрать!

– Концерты – это все-таки не очень... Вот что я люблю, так это хорошее кино! А у них тут один Голливуд. Небось про нашего Эйнштейна они и не слышали.

– Вам три билета по 40 долларов? Да не лезьте вы со своим кэшем! Дайте я достану калькулятор и сосчитаю как следует.

Недавно я рассказала своим американским сотрудникам, что в школе нас учили собирать и разбирать автомат Калашникова, а также стрелять из винтовки. Они поверили не сразу, но, с тех пор как поверили, смотрят на меня с опаской. Тупые, что с них взять! А мы, если что, можем отстоять собственную образованность и с оружием в руках.

Человек-оркестр

Все мы в той или иной мере пытаемся найти оправдание собственному существованию. Некоторым удается найти смысл жизни в детях. Кому с детьми не везет, те пытаются реализоваться в профессии. Но профессию надо еще правильно подобрать... На поэтическом фестивале я познакомилась с финалисткой турнира поэтов И.С. Она сразу же протянула мне свою визитную карточку, на которой я прочитала: «Прозаик, поэт, автор 2200 стихотворений, редактор литературного альманаха, композитор, певица, заслуженная артистка России, кандидат социологических наук, член Союза писателей России, врач.»

Надо сказать, что все ее заслуги и регалии были документально подтверждены. В частности, она действительно является профессиональным литератором, поскольку закончила литературный институт, о чем повествует ее стихотворение, посвященное Евгению Рейну:

*В литературном институте
Есть класс один, не класс – музей,
В него ведут друзей маршруты.
В музее восседает Рейн
И давит нас авторитетом,
И давит личностью своей.*

*Спасибо Господу за это,
Что на земле поэт есть – Рейн.*

Является она также и композитором и певицей. Ее клипы демонстрировались на разных телевизионных каналах. Один из клипов мне посчастливилось увидеть. В принципе, не хуже Анжелики Варум, но Анжелика Варум поет в трусиках, а И.С. уже из возраста пения в трусиках вышла, что серьезно ее песням вредит и не дает подняться до уровня Варум. То есть Варум в трусиках лучше И.С. в джинсах при прочих равных условиях. Проверить способности И.С. в социологии и медицине возможности не представилось, но что-то подсказывает мне, что и в этих областях она настоящий профессионал и, по крайней мере, значительно превосходит в них Варум с Агутиным вместе взятых.

Фестиваль прошел в июне, а недавно я поискала И.С. на интернете и обнаружила, что она является автором уже 2700 стихотворений. Если Гегель был прав, то количественные изменения должны перейти в качественные, а если нет, то у И.С. всегда остается возможность переключиться на врачевание. Трудно сказать, что безвреднее.

Пожарная собака

В прошлом году мне позвонила незнакомая женщина:

– Мне сказали, что у вас есть ребенок младшего школьного возраста.

– Да, моему сыну шесть лет.

– Мы организовали русскую школу. Пока занятия у меня дома. Приходите.

Мы пришли. На первом этаже стоял большой стол. Собралось человек десять детей. Потом пришла учительница. Туфли белые, носки зеленые, блузка розовая, бюст огромный. На бюсте брошка в виде бабочки, поверх – крестик. Интересующимся родителям разрешили во время занятия посидеть наверху, в спальне. Дали чаю. Снизу доносилось:

– Дети, кто мне скажет, как звали Толстого? Нет, не Лев! Лев Николаевич. Повторяем за мной: «Лев Николаевич». Нет, не Кола-

евич! Николаевич! Николаевич не значит не Колаевич, Николаевич значит сын Николая. Нет, не не Колай, а Николай. Это такое имя. Повторяем: Лев Николаевич. Ни-ко-ла-е-вич.

Одна мама рядом со мной поперхнулась, и чай у нее изо рта полился обратно в чашку.

Внизу переключились на другую тему.

– Дети, какой самый главный рассказ у Толстого про собаку? ...Нет, не про войну, про собаку! Как? Никто из вас не знает?! Никто не знает рассказ Толстого про пожарную собаку? Как же вам не стыдно! Что же вы дома читаете?

Та же мама рядом со мной покраснела, и я поняла, что она тоже не знает рассказа Толстого про пожарную собаку.

Урок продолжался.

– Следим по распечатке! Белеет парус одинокой... Не болеет, а белеет. Он белый. Поэтому он белеет. Под ним струя светлей лазури. Что такое лазурь? Лазурь – это... Неважно. Спросишь дома маму или папу.

– А теперь все запишем домашнее задание! Выучить отчество Толстого и отчество Лермонтова. Выучить наизусть «Белеет парус одинокой». Прочитать рассказ про пожарную собаку.

Уже в дверях учительница внезапно обратилась ко мне:

– Это ваш новый мальчик? Очень хорошо вливается в коллектив.

Я подошла к хозяйке дома и сказала:

– Вы нас извините, но мы, пожалуй, больше не придем.

– Это вы из-за учительницы? А вы знаете, что она профессионал! Она всю жизнь проработала в школе.

Я сказала:

– Да, я почувствовала.

Мы туда не вернулись. А рассказ Толстого «Пожарные собаки» я наконец прочитала. Только что.

Наталья Резник родилась в Ленинграде, окончила Политехнический институт, по образованию – инженер. С 1994-го года – в США, в штате Колорадо.

Призёр ряда конкурсов, в их числе – «Пушкин в Британии», «Эмигрантская лира», «Болдинская осень в Одессе».

Публикуется в бумажных и сетевых журналах, таких, как «Новая юность», «Нева», «Иностранная литература», «Интерпоэзия», «Чайка», «Пролог», «Окно» и др. Автор стихотворного сборника «Я останусь» (Центр книги Рудомино, Москва, 2011).

Наталья Резник – поэт не по диплому, эмигрант более чем с 20-летним стажем и просто человек с большим опытом. В своих одностишиях, многостишиях и рассказах она не шутит, а пишет серьёзно и с блестящим юмором, ничего не придумывая, а всего лишь пропуская жизнь через себя.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Ирина Одоевцева

«Елисейские Поля. Собрание прозы»

Лениздат

В настоящее издание включены рассказы писательницы, заслужившие некогда лестный отзыв самого Бунина, и все пять романов, принадлежащие ее перу. Это «Ангел смерти», «Изольда», «Зеркало», уже известные читателю, а также романы «Оставь надежду навсегда» и «Год жизни» – первые книжные публикации знаменитых произведений.

«Оставь надежду навсегда» среди романов Одоевцевой занимает особое место: одной из первых в мировой литературе она заговорила о новой советской действительности и о том, что происходит с душой, сознанием и самой жизнью граждан советской страны. На русском языке книга вышла в Париже в 1954 году, а на родине впервые была опубликована в журнале «Октябрь» только в 1991 году. «Год жизни» издавался лишь за границей в журнальной публикации (Париж, 1957).

Марина Завада и Юрий Куликов

«Белла. Встречи вослед»

Изд. «Молодая гвардия», Москва

Эта книга о Белле Ахмадулиной в жизни. В ней нет литературоведческих и филологических изысканий, хотя есть никогда не печатавшиеся стихи, проза, письма. Все это органично вплетено в ткань бесед, в жанре которых и написана книга.

Разговоры происходили в России, Франции, Италии, Швейца-

рии. Собеседниками авторов стали Владимир Войнович, Юрий Рост, Азарий Плисецкий, Марина Влади, Михаил Шемякин, Лора Гуэрра, Зоя Богуславская, Евгений Евтушенко, Жанна Андреева, Всеволод и Феликс Россельсы, Мария Банкул, дочери поэта Елизавета и Анна.

В книге, начинающейся беседой с самой Беллой Ахмадулиной, без замалчиваний и прикрас показан сложный и трагический образ гениального человека, которому тяжело справляться с громадным даром, тяжело жить, при всех дружбах ощущая свою отдельность, инаковость.

«Встречи вослед» завершают обнаруженные авторами неопубликованные дневники молодой Беллы Ахмадулиной, которые она вела в 1961-1963 годах, живя в Красной Пахре.

Дмитрий Быков

«Один. Сто ночей с читателем»

Изд. Редакция Елены Шубиной

Дмитрий Быков часто выступает с лекциями о литературе, всякий раз удивляя необычностью подхода, взгляда, подвергая пересмотру устоявшиеся литературные репутации, часто переворачивая все с ног на голову, вызывая возмущение, споры и восторги.

Фишка книги «Один» в том, что разговоры о самых разных писателях, литературном быте, забытых именах и прочем происходят спонтанно, «по заказу». Слушатели «ночных разговоров» с Быковым на «Эхе Москвы» сами предлагают тему. А он – ОДИН НА ВСЕХ – включается тут же, в режиме онлайн – и это придает особый нерв общению с большой и невидимой аудиторией.

Иосиф Бродский и Алексей Иванов, Александр Галич и братья Стругацкие, Осип Мандельштам и Геннадий Шпаликов, Юрий Трифонов и Томас Манн, Фёдор Достоевский и Людмила Улицкая – такая вот «литературная кадрили». Сам Быков сравнивает своих слушателей-заказчиков со случайным ночным спутником в купе мчащегося поезда,

Лиана Алавердова

«Наши за границей, или русские эмигранты в Америке»

Изд. «Млечный Путь», Иерусалим

Из авторской аннотации:

«Хотелось бы, чтобы моя книга помогла прояснить взгляд на Америку эмигранта, человека с другого берега Атлантики. Слишком много мифов и вранья, недопонимания и тумана приходят в соприкосновение друг с другом по обе стороны океана. В наш век невероятной скорости коммуникаций правда не всегда доступна. Некоторым она не интересна: они слишком убеждены в своей правоте и стереотипах. Иные никому не верят. Тогда они и этой книге не поверят. Я пишу для третьих: тех, кто открыт к восприятию новой информации, принимает иной взгляд на реальность, чем тот, к которому привык».

Книга – своего рода рентгеновский снимок эмигрантской жизни в США. Автор охватила, пожалуй, все основные ее аспекты. В тексте вы не найдете банальностей, поверхностных описаний и выводов – то, о чем пишет Алавердова, казалось бы, известно, но она находит интересные повороты тем, делает тонкие обобщения. Особенно интересны ее сравнения американской и «русской» психологии, нравов, традиций. Отсюда и наша непохожесть.

Любопытен раздел «Литература в эмиграции». Автор задает отнюдь не риторический вопрос: что читают русские люди? Опираясь на практику своей работы в библиотеках, она приходит к неутешительному выводу: читают мало и избирательно, предпочитая легкие жанры. К тому же «русский язык в неволе не живет...» Неволю следует понимать, естественно, не в прямом смысле, а как констатацию факта – английский язык и литература на английском ближе, доступнее и понятнее молодому поколению эмигрантов.

Луиза Л. Хей, Шерил Ричардсон

Вас ждет только хорошее

Изд. ЭКСМО

Часто ли вам кажется, что вас преследуют неудачи, что обстоятельства складываются не в вашу пользу? На самом деле все зависит от вашего внутреннего настроя! Стоит переключиться на «нужную волну» – и разрешатся проблемы со здоровьем, финансовые неурядицы, уйдут душевные тревоги. Изменить жизнь к лучшему можно, последовав советам Луизы Хей.

Впереди вас ждет только хорошее – в этом уверены сама Луиза, одна из основательниц движения самопомощи, автор бестселлеров в жанре популярной психологии, и ее соавтор, известная журналистка Шерил Ричардсон. Шаг за шагом следуя по страницам книги, вы научитесь управлять настроением и мыслями, воплощая свои мечты в жизнь. Полезные советы ярко иллюстрируются историями из жизни Луизы Хей, которые доказывают эффективность ее метода.

В книге множество рекомендаций на все случаи жизни, среди которых непременно отыщутся нужные вам именно сегодня.

Ю Несбё

«Жажда»

Изд. «Азбука, Азбука-Аттикус», Санкт-Петербург

Любимый герой миллионов читателей Харри Холле возвращается в новом романе Ю Несбё «Жажда».

Получают продолжение события, начавшиеся ещё в бестселлере «Полиция». В новой книге Харри возвращается на службу в полицию Осло, чтобы начать охоту за серийным убийцей, нападающим на людей, которые назначают свидания через сайт знакомств. След преступника приведёт детектива к его собственному мрачному прошлому.

«Жажда» – одиннадцатый роман в суперпопулярной серии криминальных триллеров Ю Несбё. Книги о Харри Холле переведены на 50 языков и проданы мировым тиражом более 30 миллионов экземпляров.

Диана Акерман
«Жена смотрителя зоопарка»
Изд. «Азбука», Санкт-Петербург

Диана Акерман с блеском, юмором и бесконечным сочувствием к своим героям воплотила подлинную историю войны и величия человеческого духа. В ней рассказывается о героической чете Жабинских, владельцах Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны прятали в разоренных вольерах людей из еврейского гетто и таким образом спасли около трехсот жизней. Это ошеломляющий и трогательный рассказ о людях и животных, о глубинных связях между человеком и природой; гимн красоте, тайне и неистребимости жизни.

«Перед нами подлинная история – об истинной человечности и ее противоположности, – и она одновременно мрачная и жизнеутверждающая, мудрая и озорная. Акерман рассказывает потрясающую повесть и рассказывает ее изумительно».

Washington Post Book World

«История о несказанной храбрости с фантастической дозой исторических реминисценций на тему Ноева ковчега... Книга Акерман — трактат о благородстве: это слово характеризует некоторых людей и всех без исключения животных».

USA Today

Недавно на экраны мира вышел одноименный фильм (англ. *The Zookeeper's Wife*) режиссёра Ники Каро с Джессикой Честейн и Даниэлем Брюлем в главных ролях. Сценарий создан по мотивам книги Дааны Акерман.



Екатерина Салманова родилась в Санкт-Петербурге, окончила Литературный институт им. Горького. В Америке преподавала русский язык и литературу в системе the City University of New York (CUNY). Автор сборника повестей и рассказов «Белый шарик» (СПб., 2007г.), а также многочисленных очерков и новелл.

МОЖЕТ ЛИ ВЫИГРАТЬ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ СЕКРЕТАРША, ПОДАВШАЯ В СУД НА СВОЕГО БОССА — ПРОФЕССОРА КОЛЛЕДЖА — ЗА СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ?

До последних страниц книги читатель не знает, чем же кончится судебное разбирательство. Роман основан на схожих фактах, случившихся в реальной жизни. Любители книг с хорошо закрученной интригой, как и поклонники психологических триллеров, с интересом будут следить за развитием сюжета.

Триллер Е. Салмановой также освещает радикальное развитие американской юриспруденции в наши дни. На каком основании конституционные права граждан недействительны на территории кампуса?



Цена книги **\$17.95**

Пересылка бесплатная

Liberty POB 1058
New York, NY 10024
Tel: 212-213-2126



**Liberty
Publishing
House**

LibertyPublishingHouse.com

«Сьюзан Вудкок против Логан колледжа и лично Рэймонда Кента, администратора университета».

Помощник Генерального прокурора Стив Бернштейн неохотно раскрыл лежащую перед ним толстую папку. Дело об изнасилованиях Бернштейн не любил. Здесь редко удавалось расставить точки над «и». Улики как правило бывали лишь косвенные, свидетели давали конфликтные показания: ни на что толком не опереться, не выстроить красивой защиты. Вот нарушение трудового договора, взяточничество, несоблюдение рабочего кодекса – с этим работать гораздо приятнее.

Екатерина Салманова

Сбегали капли как по лезвию –
по глади листьев дождь хлестал.
Я поутру опять порезался
о кромку чистого листа.
Я вздрогнул – гневный крик отчаянья
возник, разросся и упал.
И палец, словно знак молчания,
поднёс к испуганным губам.

Владимир Батшев

На этом участке пути конвоиры не окружали колонну заключенных как обычно, а пропускали ее вперед, чтобы самим замыкать шествие. Если и всегда-то они были больше погонщиками, чем охранниками, то при подъемах на сопку превращались уже исключительно в погонщиков, притом невероятно свирепых.

Георгий Демидов

Мы, русские писатели, напоминаем собой проститутку публичного дома с той лишь разницей, что они торгуют своим телом, а мы душой; как для них нет выхода из публичного дома, кроме голодной смерти, так и для нас.

Владимир Фрумкин

Пишу роман. За деньги перестану.
Сосед – собака и, что странно, сука!
Беременеть старалась непорочно.
Куда уехал цирк? Где депутаты?
...но и постель не место для дискуссий...
Мы с вами под забором не встречались?
Скорей бы старость, смерть, а там посмотрим...

Наталья Резник

